

Астра

**ИЗВЕРГ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА,
ИЛИ
ЖИЗНЬ ПОТОМСТВЕННОГО ДВОРЯНИНА,
ПЕРВОГО РУССКОГО АНАРХИСТА
МИХАИЛА БАКУНИНА**

роман-биография

Москва
Издательство «БПП»
2009

Пролог

Отец, Александр Михайлович Бакунин

Проснувшись по-деревенски рано, Александр Бакунин, лишь вчера приехавший в родительское имение Прямухино из Санкт-Петербурга, ощутил утренний прилив счастья и вскочил с постели. Деревня! ... деревянные стены, дощатые полы, зеленая свежесть за распахнутым окном... как непохоже на его петербургское холостяцкое жилье, богатое, достойное его нынешнего чина, но столь казенное!

Пройдясь по анфиладе тихих комнат, Александр оказался на крыльце. О, что за воздух! В медовый аромат зацветающей липы вплелись запахи ромашки, ночной фиалки, струйка тысячелистника и даже цветущей гречихи с полей, и мокрого камыша из болотистой старицы, потерянного когда-то руслом Осуги.

Ясно-малиновый диск солнца только-только показался над сизой кромкой дальних лесов. Нежные лучи его озарили холмистые поля, рощи и перелески, розовым блеском отразились в тихой Осуге; навстречу им, словно застигнутые врасплох в росистых низинах и ложбинах, уже подымались и таяли ночные слоистые туманы.

В обширном деревянном барском доме, купленным батюшкой почти двадцать лет назад у премьер-майора Шишкова, он, Александр, можно сказать, никогда не жил: посланный в девятилетнем возрасте в Италию, он возрастал в стране всевозможных искусств и наук под присмотром влиятельного родственника-дипломата. Дядя отнесся к воспитанию мальчика со всевозможной ответственностью, держал в строгости и постоянном труде, в особенности же следил как за тем, чтобы в круг чтения Александра непременно попали все великие произведения человечества, воспевающие честь и благородство знаменитых людей древности, так и за тем, чтобы собственные размышления отрока о прочитанном были подробно изложены им на языке подлинника. По прошествии немногих лет, следуя семейной традиции в

государственной службе, юный Бакунин поступил в канцелярию русского посланника в Турине. Вскоре он окончил университет в Падуе по факультету натуральной истории, получил диплом доктора естественных наук, преуспел в ботанике, географии, освоил все европейские языки. Служа переводчиком при императорских миссиях в мелких итальянских государствах, Александр широко пользовался свободой путешествий, совершая деловые поездки по Европе.

Ах, Италия! Испания, Франция!

«Кто не жил во Франции до революции, тот не знает наслаждения жизнью!»- со вздохом говаривал на склоне лет премудрый лукавец Талейран!

Объемистые тома французских энциклопедистов, Вольтера и Руссо заполняли кабинет молодого чиновника. Под страстным воздействием передовых европейских умов любимыми думами его тоже стали идеи всеобщей справедливости. «Человек рождается свободным! Братство, равенство, свобода!» — повторял он, пылко отзываясь на веяние времени. Начало революции застало его в Париже. И весьма скоро охладило пыл молодого вольтерьянца, своими собственными глазами узревшего, по его словам, «кровавые неудобства перехода верховной власти в руки людей, не обладающих другими качествами, кроме свободомыслия». Беспорядки, свидетелем коим стал он по воле случая, стрельба и озлобленные толпы парижан на баррикадах, и разрушение Бастилии отрезвили юношу на всю жизнь.

Указом Екатерины II Александр Бакунин был произведен в коллежские асессоры, а в 1790 году, образованный, многое повидавший, молодой, двадцатидвухлетний, он вернулся в Россию и обосновался в Санкт-Петербурге. За плечами его был уже немалый жизненный опыт и определившееся политическое мировоззрение. Честность и разумная твердость отличали его в делах. Принятый в самых родовитых домах, рослый, красивый, европейски образованный, он вошел в лучшие слои общества. Собственные же интересы молодого человека простирались на поэзию, на литературу, историю, он стал своим человеком в литературном кружке Державина — Львова, самом изысканном собрании того времени. И Николай Львов, и Гаврила Державин были, к тому

же, его дальними родственниками по ветвистой родне, которая обитала в тех его же краях. Пробовал Александр Бакунин свои силы и в сочинительстве, но, главным образом, внимал любимым и великим современникам...

Указом Павла I Александр Бакунин назначается советником Гатчинского городского управления. Блестящая дорога российского государственного мужа открывалась перед ним. «Наслаждениям жизни», казалось, не будет конца!

Но...

Летом 1797 года на его квартиру в Петербурге пришло письмо от родителей. Его вызывали в Прямухино. В этом не было ничего необычного, он и сам собирался провести свое семейство, как делал почти каждое лето. А потому тотчас помчался из Санкт-Петербурга по пыльному тракту среди лесных и озерных просторов прямо в Тверь, оттуда дорожками поплосе в Торжок, а там и в Прямухино.

Родителей нашел он постаревшими и нездоровыми, особенно отца, страдавшего болезнью глаз и ног, а троих сестер – по-прежнему незамужними, крепкими телом и духом, коротавшими свой век в молитвах, постах и чтении священных книг. Вечер прошел в долгих беседах. Михаила Васильевича, екатерининского вельможу, тайного советника и вице-президента камер-коллегии в отставке, в первую очередь интересовали петербургские порядки, заведенные новым императором. Сидя в глубоком «вольтеровском» кресле, он осуждающе качал головой, слушая о чудачествах нового государя Павла I. Матушку, Любовь Петровну, занимали подробности жизни родственников и дворцовые хитросплетения.

За всеми расспросами Александр не мог не ощутить дальнего, скрытого смысла своего вызова в родительский дом. Доверчивый и почтительный сын, он не ждал ничего дурного. Поэтому и поднялся так счастливо на зорьке, и отправился, сломив тонкий ивовый прутик, горьковатый и свежий, на прогулку, разрубая со свистом воздух, вдоль росистого бережка чистой, прихотливо выющейся речки Осуги, в тихих струях которой резвились пескари и колыхались длинные зеленые водоросли.

За завтраком все объяснилось.

— Сын наш Александр, — не без торжественности произнес батюшка. — Пришло время сказать тебе отцовское слово. Преклонные лета и тяжкие хвори не позволяют нам надлежащим образом печься о благоустройстве дел всего семейства. Поместье требует неусыпных трудов. Пятьсот душ, под присмотром старосты, должны иметь властную и твердую направляющую руку. Объявляем тебе нашу родительскую волю.

Отец повелевал сыну подать в отставку и поселиться в Прямухино. Возможность подавать в отставку по собственному желанию была дарована еще императрицей Екатериной II в «Указе о вольности дворянства», отменившем закон о сорокалетней государственной службе.

Молча выслушал Александр громом поразившее известие, так же молча подошел к родительской ручке, после чего удалился в свою комнату.

Через час с небольшим со двора усадьбы выехала шегольская открытая коляска, запряженная двумя лошадьми. Правил ими сам молодой хозяин. Потрясенный неожиданным поворотом в своей судьбе, Александр Бакунин спешил к Львову за пятнадцать верст, в имение Никольское-Черенчицы. В душе кипело и пылало возмущение «родительским деспотизмом», в глазах стояли слезы.

«Это невозможно! Невыносимо! Это... это пулю в лоб!» — безмолвно возмущался он.

— Сашенька! — окликнули его. — Ждать ли тебя к ужину?

О нем беспокоилась Татьяна Михайловна, любимая сестра. Она стояла у ворот, приложив руку ко лбу от солнца, и понимающе улыбалась. Сдержав резкие слова, он помахал ей легкой полотняной шляпой и ответил с примирительной усмешкой.

— Я задержусь у Николая Александровича дни на два, на три. Не скучай, Танюша!

— Привет Львову и его семье! Счастливого пути! — за ласковыми словами Татьяна не сумела скрыть томительного желания умчаться со двора так же свободно, как это позволено ему, мужчине.

Сытые добрые кони легко понесли вдоль широкой деревенской улицы, по дороге к березовой роще, дальше, дальше.

Широко, бесконечно расстилалась вокруг равнина. Зеленые пологие холмы, засеянные рожью, пшеницей, овсом, ячменем, редко гречихой, привольной чередой нарушали ее ровность. Земля родила небогато, на красноватых суглинках почти никогда не созревали тучная жатва, редкому крестьянину хватало хлеба до нового урожая. Этого не мог не знать и не видеть молодой хозяин. Возделанные поля перемежались с перелесками, и чем дальше от имения, от деревенских серых изб, тем ближе и гуще подступали леса, пока, наконец, не сомкнулись вдоль влажной грязной дороги сплошной темной чашей.

«Батюшка прав, — думал Александр по трезвому размышлению, — хозяйство на пороге разорения. Нужны скорые меры, строгий надзор. Если бы не это, ужели бы он решился запереть меня в глуши? Жестокие, жестокие обстоятельства!»

Вновь засветлели перелески, показались ближние и дальние поля, пары, болотистый ручеек и низкая пойма с луговинами, стогами сена, зарослями ивняка. Блеснула синевой ленивая река с обрывистыми желтыми берегами.

Коляска миновала одну за другой еще две серые деревеньки, пустынные в эту страдную пору. Отсюда до имения Николая Александровича оставалось три-четыре версты.

Оно показалось в отдалении, на возвышенном холме, прекрасный дом в классическом стиле, с портиком и колоннами. На возвышении виднелся мавзолей с колоннами, античный круглый храм, перекрытый куполом, розовая лестница, цокольный этаж из дикого камня грубого окола, наверху же блестел золоченый шар с ясным крестом. Александр на мгновение прикрыл глаза — столь явственно и больно возникли в душе виды Италии. Неужели все кончено? Неужели участь его отныне — деревянный дом, отчеты старосты и глушь, глушь... «О, деспот, деспот собственных детей!» — воскликнул он про-себя, не решаясь, однако, отослать упрек в точный адрес.

Николай Львов, как истинный представитель екатерининского просвещения, успел проявить себя во многих областях культуры. А между тем даже читать его не обучили в родном доме! Как поэт, он был известен стихами и поэмами, издал целый сборник русских народных песен, а как архитектор, Львов стал

одним из основателей русского классицизма. Им были построены Невские ворота Петропавловской крепости, здание Кабинета, Почтамт, жилые дома в Санкт-Петербурге, возведены храмы и соборы во многих городах России.

... Обогнув мраморный фонтан, колеса зашуршали по мелкому гравию просторного подъезда и остановились.

— Александр! — Львов сам выбежал под узорчатую тень свода, поддерживаемого колоннами над парадным крыльцом. — Как я рад! У меня как раз в гостях Гаврила Романович да Михайло Муравьев. Уж собрались гнать посыльного к тебе в Прямухино, ан глядь, сам собой молодец явился. Хвалю, Сашка, хвалю.

— Легок на помине, — невесело улыбнулся Бакунин. — Здравствуй, Николай. Мои домашние шлют тебе добрые пожелания.

— Благодарствуй, друг! Да с тобой-то что стряслось, какие тучи? Пойдем, пойдем, поделишься, посоветуешься. Рад, очень рад тебе.

Несмотря на цветущий мужской возраст, сорок пять лет, Николай Львов был хрупок, как юноша, с тонким, почти женской красоты лицом, с подвижными, ласковыми, всегда одухотворенными глазами.

По лестнице, устланной светло-зеленым ковром, они поднялись на веранду второго этажа.

Здесь, за накрытым столом, уставленным легкими закусками, хрустальными бокалами и темной бутылкой шампанского в серебряном ведерке с полурастаявшим льдом, сидели великий поэт и вельможа Гаврила Романович Державин и Михаил Николаевич Муравьев, широколицый мужчина лет сорока, спутник Львова в юношеских путешествиях по Европе, учитель русского языка и истории при наследнике Александре Павловиче, «Басни», «Переводные стихотворения» составили Муравьеву в недалеком прошлом скромную известность среди любителей словесности, в последнее же время он увлекался «записками, которые бы упражняли размышление наше» и не печатал почти ничего.

— Ба, ба, ба! — загудел Гаврила Романович, легко подымаясь с места, чтобы обнять молодого Бакунина. Зоркие глаза его тут же заметили тень печали на лице новоприбывшего.

Он набрал воздуху в грудь.

Забуть и нам всю грусть пора,
Здоровым быть
И пить:
Ура! ура! ура!

— зычно прокричал он отрывок своего еще юношеского стихотворения. — Садись, садись напротив, смотри, как надо жить!

Высокий, носатый, сухощавый, в широкой белой, тонкого полотна расстегнутой рубаше с кружевом и вышивкой на груди и рукавах, в светлых коротких панталонах цвета сливок, с серебряными пуговицами на манжетах ниже колен, он выглядел свежее и моложе своих пятидесяти трех лет. От него припахивало не только шампанским. Судя по закуске в одной из его тарелок, розовой ветчине с дрожащим желе-студнем, и графинчику с лимонной настойкой поблизости к ней, великой поэт наслаждался жизнью с разными напитками. Гаврила Романович был женат на свояченице Николая Львова, а супруга самого Львова приходилась племянницей Любви Петровне, матери Александра Бакунина. Отчасти и поэтому все тут друг друга любили и почитали.

Приветливый Муравьев, широко улыбнувшись, крепко пожал новоприбывшему руку и пробормотал что-то приятное.

Окна с цветными стеклами были распахнуты. В них открывались виды на дальние вереницы все тех же пологих зеленых холмов, косые желтые поля, извивы рек и ручьев, по которым скользили тени от кучных, озаренных и медлительных облаков. Вокруг них широко ниспадали на землю солнечные лучи, над дальними лесами висели темные полосы дождей.

Александрю принесли умыться с дороги, поставили четвертый столовый прибор, налили шампанского. Вина в этом доме выписывались по особенным картам из Франции и Италии и хранились в глубоком погребке, по годам, каждый в своем месте. Там же стояли бутылки и бочонки попроще, привезенные из Румынии, Крыма, Малороссии.

— Что Соколик наш невесел, что головушку повесил? — улыбнулся чуткий хозяин дома.

Александр незаметно вздохнул. Вино отозвалось в груди грустной отрадой. Захотелось утешения, не жалостливого, но изысканно-поэтического.

— Гаврила Романыч, — промолвил он, повернувшись к поэту с изяществом, усвоенным с детства в гостиных Европы, — сделай милость, почитай начало «Видения Мурзы». Душа просит.

Державин устремил на него пронизательный взгляд. Помолчал и кивнул головой.

— Изволь.

Все приготовились слушать. Просьба была обычна, в этом кружке постоянно читались стихи, поправлялись неудачные места в сочинениях, обсуждались возможные направления творчества каждого.

Державин поднялся, откачнул голову назад и сложил на груди руки. Медленно, нараспев, словно выводя просторную песню, стал читать.

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.
Сон томною своей рукою
Мечты различны рассыпал,
Кропя забвения росю,
Моих домашних усыплял;
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт в берегах своих сверкал;
Природа, в тишину глубоко
И в крепком погруженна сне,

Мертва казалась слуху, оку
На высоте и глубине;
Лишь веяли одни зефиры,
Прохладу чувствам принося.
Я не спал, — и, со звоном лиры
Мой тихий голос соглася,
Блажен, воспел я, кто доволен
В сем свете жребием своим,
Обилен, здрав, покоен, волен
И счастлив лишь собой самим.....

Бакунин слушал, погружаясь в каждый звук. Вот она, высота прозрения, высота смирения...

Поэт смолк. Все молчали. Александр поклонился Державину.

— Благодарствуй, Гаврила Романович.

— Угодил? — усмехнулся тот.

— В самый раз... «И счастлив лишь собой самим». Теперь, укрепленный духом, я могу поведать вам, друзья и наставники, мою заботушку, с каковою прибыл.

Он поднялся и стал смотреть в окно.

— Батюшка приказывает мне оставить службу, подать в отставку и поселиться в Прямухино.

Наступило молчание.

— Важная перемена, — наконец, отозвался Львов. — Эдак сразу и не охватишь... И ты сгоряча наворотил, что Прямухино — не место для такого героя, как ты, с твоим воспитанием и талантами?

— Каюсь, — наклонил голову Бакунин.

— Сколько лет ты на государевой службе?

— С пятнадцати годов, считай, четырнадцать лет.

Державин, успевший опрокинуть рюмку лимонной настойки, весело посмотрел на Бакунина.

— Я в твои годы, Сашок, тянул солдатскую ляжку. Бил Пугачева под командованием его сиятельства графа Суворова, был кое-как отмечен и несправедливо отставлен от армии. Легко ли?

Все присутствующие знали его историю. Как добивался признания бедноватый дворянин и сирота, как случайно попала его поэма «Фелица» на глаза Екатерине Дашковой, а та показала ее императрице. И как помчалась горбатыми дорогами судьба российского гения Гаврилы Державина.

— Стихи, стихи возвысили меня. «Фелица» моя, государыня-императрица Екатерина II, подарила золотую табакерку с червонцами, сделала губернатором Олонецким, потом Тамбовским. Нигде я не ужился, со всеми переругался. Воры, мздоимцы, препоны, доносы! И засудили бы, да, слава Богу, Сенат заступился. Я, друг мой, уже и с Павлом поссорился. Ха!

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

Упершись ладонью в колено, Александр дипломатично взглянул на поэта. Он знал и эту историю, и еще многие, будучи не последним лицом в Гатчинском управлении.

— Зачем же так, Гаврила Романович? Вас, я слышал, приблизили, чин немалый дали. Служить-то надобно же. На благо отечества?

Державин насмешливо и горделиво хмыкнул.

— Моя служба — поэзия и правда! Похвальных стихов, курений благовонных никогда не писал. С моих струн огонь летел в честь богов и русских героев. Суворова, Румянцова, Потемкина! Я не ручной щегол, я Державин! Ха!

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой,
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

— Стыдись, Александр! У тебя есть состояние, сиречь независимая жизнь, а ты печешься о клетке. Не дури! Отец-то прав. Так ли, Михайло Никитич? — обратился Державин к Муравьеву.

Тот помолчал. Потом ответил со вздохом.

— Нелегко возражать, «когда суровый ум дает свои советы». Государственная служба есть первейшая обязанность дворянина. Однако и родительская воля должна быть почитаема и принимается во внимание. Тут многие размышления надобны.

В ответ на осторожную его уклончивость Державин вскочил, упер руки в бока и пустился мелкими шажками по веранде, притопывая в пол каблуками и приговаривая.

Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если мир за то бранится,
Что иду прямой стезей?

Пусть другие работают,
Много мудрых есть господ:
И себя не забывают
И царям сулят доход.

Но я тем коль бесполезен,
Что горяч и в правде черт, -
Музам, женщинам любезен
Может пылкий быть Эрот.

Утром раза три в неделю
С милой музой порезвлюсь;
Там опять пойду в постелю
И с женою обоймусь.

Он запыхался, хлопнулся на свой стул и орлом глянул на всех из-под густых бровей.

— Я телом в прахе изгниваю,
— Умом громам повелеваю,
— Я – царь, я – раб, я – червь, я — бог!
— Я — Державин!

Раздались рукоплескания.

— Продолжим в саду, друзья мои! — мягко пригласил всех Львов.

Сад и прилегающий к нему парк в этом имении также несли печать тонкого художественного вкуса его хозяина и создателя. Каких только пород деревьев из ближних и дальних земель не произрастало тут, каких цветов не красовалось и не благоухало на клумбах! Весело и отраднo было на дорожках, огражденных цветущими длинными газонами, подстриженными кустами, рядами фруктовых и редкостных заморских деревьев. В затейливом чередовании, где раньше, где позже, зацветали-отцветали всевозможные растения, постоянно услаждая вкус цветом и ароматом, и даже осенние, еще далекие от нынешней поры, пышные краски увядающих деревьев были обдуманно посажены в сочетании друг с другом, чтобы и в грустные дождливые дни творить в саду волшебную сказку.

Другой примечательностью был каскад прудов, устроенных выше и ниже по склонам, с водопадами и гротами, фонтаном, где плавали золотые рыбки, беседкой, откуда можно было любоваться красотами, изобретательно превратившими обычный лесной холм в произведение живого искусства.

К разговору об отставке Бакунина больше не возвращались. Указы Павла I, его странности, незабвенные времена Екатерины, новые переводы Карамзина, и последнее приключение с поэтом Иваном Дмитриевым заняли внимание гуляющих.

— Наш Иван Дмитриев вышел себе в отставку в чине полковника, вознамерившись посвятить свой талант поэзии, — рассказывал Александр Бакунин, бывший самым осведомленным, — как вдруг его хватают чуть ли не посреди ночи, везут и судят, как зачинщика подготовки покушения на Павла I.

— Как это? — не поверил Державин, — ужели сие возможно?

— Сие даже весьма просто, Гаврила Романыч! Увы. Но слушайте, слушайте! В скорое время ошибка обнаруживает себя сама. И царь, желая извиниться перед Дмитриевым, и не воображая себе ничего превосходнее военной лямки, возвращает того на службу и дает чин обер-прокурора Сената! Славно?

— Славно, — отозвался Муравьев. — Теперь пойдут ему чин за чином что ни год. Помяните мое слово.

— С ним ведь Карамзин дружен? — спросил Львов.

— Он его и открыл, в своем «Московском журнале», — сказал Державин. — Я там премного помещался. А хороша проза Карамзина!

Пой, Карамзин! — и в прозе
Глас слышен соловьян.

— А кстати, — проговорил хозяин имения, — завтра придет к нам Василий Васильевич Капнист. Мы продолжим труды над стихами и баснями нашего незабвенного Хемницера. Царства ему небесного!

— Аминь!

Все перекрестились.

Иван Иванович Хемницер умер тринадцать лет назад, не дожив до тридцати девяти лет. Друг и спутник Львова по заграничным путешествиям, он писал прелестные басни и сказки, пронизанные светом его личности. Жил одиноко и любил повторять горькие слова Дидро: «трудно и ужасно в наше время быть отцом, потому что сын может стать либо знаменитым негодяем, либо честным, но несчастным человеком». Таким человеком был сам Иван Хемницер. По совету и хлопотами Львова в 1782 году его назначили генеральным консулом в турецкий город Смирну. Отъезд оказался роковым. Поэт болезненно переживал свое одиночество. Незадолго до смерти он иронически писал о себе: «Жил честно, целый век трудился, и умер гол, как гол родился». Эти стихи были вырезаны на надгробном камне его могилы.

— Все его произведения надлежит издать в полном виде. В трех частях, — повторил Львов. — Все, все, что осталось в бумагах — сочинения, письма. Мы с Василием Васильевичем почти все уже собрали и поправили... В этом мой неотложный долг перед ним.

Глаза Николая Львова увлажнились. Он считал себя невольной причиной несчастья.

Все помолчали. В тенистом парке было прохладно, журчание чистых струй, бегущих мелкими водопадами по круглым, уже замшелым валунам, настраивало на возвышенно-философский лад.

— Где-то он сейчас, наш Иван Иванович? Нет его с нами, одни стихи.

— «Иль в песнях не перейду к другому поколению? Или я весь умру?» — тихо вздохнул Муравьев. — Как же в молодости страшился я смерти! Ныне, с возрастом, не так уже. Страх и надежда суть два насильственные властители человека, и нет от них убежища в жизни.

Львов повернулся к Державину.

— Ты, Гаврила Романович, должен бы согласиться с Михаилом.

— Пожалуй. Молодые страсти жгут огнем, — задумчиво откликнулся тот.

Помолчал, вспоминая, и прочитал с поэтическим чувством.

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.

— Это я в тридцать лет. Сейчас, в пятьдесят, другой уж я.

Все суета сует! я, воздыхая, мню,
Но, бросив взор на блеск светила полудневный,
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бре-
меню?
Творцом содержится Вселенна.

— Дай поживу еще двадцать лет, что-то скажется? Негоже на творца сваливать, самому понять надобно. Что-то пойму?

Друзья достигли округлой беседки-ротонды и разместились на ее скамьях. «Прекрасен мир» по-прежнему простирался перед взором в широкой и светлой красе.

— Уходит столетие, — проговорил Михаил Муравьев. — Сколь блистательное для Российской государственности! Сколь славное для русского оружия! Придут ли, родятся ли в девятнадцатом веке великие умы, подобные тем, что явлены были в нашем отечестве в осьмнадцатом веке? «Еще кудаю взор — и все бежит и тьмится».

Александр Бакунин, прищуря голубые глаза, тоже словно всмотрелся в будущее.

— Будучи свидетелем ужасного возмущения парижан, разрушивших в озлоблении старинную Бастилию, нахожусь я в опасении, как бы пример их не оказался пагубным соблазном для соседей в Европе и в России. Новый Пугачев, новый Разин, дикое воодушевление толпы... — он передернул плечами.

— Толпа предводится чувствованием, — согласился Муравьев.

— А кто зароняет в юношество опасные неотразимые мысли? Лучшие умы человечества! Чудо! Я сам подпал под их обаяние, пока не увидел баррикады. Воспитание юношества — вот важнейшее дело родителей и государства, — с чувством говорил Бакунин. — Предчувствие мое тревожится. Не минуют меня будущие грозы...

— Рано всполохнулся, ты и не женат еще. Наперед знать никто не может и кликать беду не надобно. Приготовляйся загодя, ищи невесту благородного происхождения, здесь ты прав. Грозы будущего никого не минуют, в тишине не проскочишь жизнь свою, дорогой Александр.

Державин и Львов молчали. Первый, кивая головой, вспоминал свою единственную боевую кампанию против народных армий Емельяна Пугачева, где отличился, повесив на воротах двух мятежников, другой благодушно смотрел на друзей, подумывая, чем бы занять их к вечеру, после обеда. Богато одаренный и разнообразно талантливый, он был еще и тонким музы-

кантом, и собирался посвятить музицированию тихий светлый вечер.

Михаил Муравьев уловил его душевную светлоту.

— Прекрасно общежитие достойных людей! — с наслаждением вздохнул он. — Сколь мило существовать вместе! Сирая вселенная есть понятие, огорчающее человека.

— Уединение тоже благо, — с улыбкой возразил Львов.

— Поскольку изоощряет в нас ощущение нужды быть вместе.

Разговор вновь принимал обильное философическое направление, но тут Гаврила Романович, нетерпеливо повернулся к Львову и легонько ударил его по плечу.

— А я, Николай, подобно тебе, пустился в Анакреоновы луга. Что, в самом деле? Жизнь есть небес мгновенный дар, любовь нам сердце восхищает. А посему:

Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

— Браво, — рассмеялся Львов, — это направление мало известно в русской словесности. Любовь и жизнь... как их разнять? Поэзия наша в долгу перед ними. Вот, кстати, последний перевод из Анакреона.

Напиши ее глаза,
Чтобы пламенем блистали,
Чтобы их лазурный цвет
Представлял Паллады взоры;
Но чтоб тут же в них сверкал
Страстно-влажный взгляд Венеры,
И с приветствием уста
Страстный поцелуй зовущи.

— Прехвально, Николай. Ужо порезвлюсь я в лугах анакреоновых, чует сердце. Однако, по мне, русская Параша во сто крат милей и краше его Паллады с Венерою.

Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни — клад.

... Через неделю Александр Бакунин отправился в Петербург хлопотать об отставке. В конце осени того же года он навсегда поселился в Прямухино.

Глава первая

Мишель отвернулся от зеркала, поглядывая в которое рисовал свой автопортрет, и быстрыми умелыми движениями карандаша стал накладывать тени на воротник и отвороты куртки. С листа бумаги смотрел лобастый кудрявый подросток с крупным ртом, высокими скулами и требовательным взглядом внимательных глаз. Сходство уже получилось, остались мелочи отделки. Оттенив плечи и фон, Мишель поставил дату 1827 год и подписал: «Портрет не кончен, так как я и сам еще не кончен».

— Папенька, — побежал он через весь дом в кабинет отца, — посмотрите на мой портрет. Похоже, да?

Александр Михайлович, уже седой, полноватый, с мягкой улыбкой взял портрет, и далеко отнес его от глаз, внимательно рассмотрел. Это была уже третья проба сына в рисовании самого себя, и каждый раз он заметно прибавлял в общей схожести, и все более терял в усидчивых завершающих подробностях. Но поскольку Мишель и сам заметил это в своей подписи, да обернул недостаток в достоинство, отец, с легким вздохом полюбовавшись работой, не стал выговаривать сыну о пользе прилежания.

— Изрядно получилось, — сказал он. — А теперь поди к сестрам, почитайте вместе «Робинзон Крузо». Книгу прислали недавно, на английском, весьма поучительное и интересное чтение. Поди.

— Папенька... — Мишель нерешительно посмотрел на отца.

Много раз он смотрел так, желая узнать о своей «тайне», но папенька, словно перехватывал взгляд и поспешно отсылал его прочь.

— Поди к сестрам, Мишель. Почитайте до обеда, — уклонился он и на сей раз.

... Александру Михайловичу было уже за пятьдесят. Много произошло в его жизни за протекшие тридцать лет. Он жил в царствование уже четвертого царя.

В первые же годы, приняв на себя ведение хозяйства, он твердой рукой взял бразды правления, употребив весь ум и образованность на пользу своему семейству. И столь успешно повел дела земледельческие, что в скором времени смог приступить к делам строительным. По совету Львова одел камнем деревянный дом, украсил его новыми окнами, портиками и колоннами. Старая деревенская обитель приобрела благородно-классические очертания, не уступающие лучшим творениям усадебной архитектуры. По проекту же Николая Александровича поставил и красавицу-церковь. И, разумеется, взрастил прекрасный сад с редкостными породами растений, частью позаимствованными у соседа и друга, частью заказанными на дальней стороне. Благоухающая красота окружила дом, расположилась на ближнем холме. Не оказались забытыми и пруды, гроты, ручейки. И, наконец, беседка, любимое место для вдохновенного уединения!

Прямухино преобразилось.

Сии труды составили Бакунину славу рачительного и властного хозяина, процветающего помещика. Не довольствуясь сельскими радостями, Александр Михайлович далеко успел и на государственной службе. В царствие Александра Благословенного, которого он любил за то, что его любила бабка его, Великая Екатерина, вошел он в Тверское дворянское общество и много пригодился отечеству своим дипломатическим умом, образованием, честностью, за что был удостоен избрания губернским Предводителем дворянства.

Главнейшее же событие в его жизни свершилось в 1809 году.

Тогда приехал к нему старинный приятель Павел Маркович Полторацкий. Заехал он запросто, по-соседски, всего-то на две недели, но зато в обществе своей падчерицы Варвары Муравьевой. Юной красавице было всего восемнадцать лет. Она принадлежала к обширному роду Муравьевых, своей обильностью оправдывающих свою фамилию. Кого только не вмещало их родовое древо!

Подобно всем молоденьким девушкам, Варваре Александровне нравилось испытывать свои чары и кружить головы столичным молодым людям, гвардейским офицерам. Ах, ах, сколько их увивалось вокруг нее на зимних балах в Санкт-Петербурге! Ах, ах!

Александр Бакунин был уже немолод. Любовь поразила сорокалетнего холостяка, словно удар молнии. Он вспыхнул, как факел! Он обезумел. Вокруг нее столько молодых красавцев! У него нет ни малейшей надежды! Он ослеплен, он не владеет собой, жизнь без любимой женщины теряет для него ценность. Возраст, проклятый возраст! Он вдруг ощутил себя стариком! Никогда, ни разу не происходило с ним ничего подобного, он не представлял, что *такое* вообще возможно, и что он, Александр Бакунин, способен на *такое* в свои годы, в своей давно расчерченной жизни!

Пожар разгорался. Мучимый безнадежной страстью, он потерял грань самоознания, он чуть не застрелился в порыве отчаяния. Он, он, сын века просвещения!

К счастью, все эти беспорядки происходили на глазах его бдительной сестры.

— Александр, — недоумевала Татьяна Михайловна, — что с тобой творится? Объясни мне, прошу тебя, дорогой брат!

— Я погиб, Танюша, я пропадаю безвозвратно!

— Что за глупости, мой друг! На все есть манера.

— Я в огне, я готов на все... Без Варвары Александровны жизнь мне не мила.

— Опомнись, брат. Грех-то какой! Ступай к себе и будь покоен. Я позабочусь о твоём счастье. Бог милостив. Ничего не предпринимай до моего возвращения.

Не медля ни минуты, она устремилась к Полторацким. И там уговорила, умолила, убедила Варвару Александровну принять предложение брата, а ее родню согласиться на этот брак.

О, чудо!

Стараниями родственников дело уладилось к свадьбе, и два старинных рода соединились в счастливом браке.

В первые годы молодые часто навещали в Тверь. Там в Путевом дворце располагался двор великой княгини Екатерины

Павловны, сестры императора, и ее мужа принца Ольденбургского. Будучи женщиной просвещенной, имея вкус к поэзии и истории, Екатерина Павловна ценила общество людей высокообразованных. Частым гостем ее двора был Николай Михайлович Карамзин, он читал здесь главы своей «Истории государства Российского» самому Александру I. Бывал и Державин, уже выпустивший в свет игривые «Анакреонтические песни». Они приоткрыли новые пространства для русской лирики, но так и не ответили его духовным исканиям: « Не то, не то!», — отмахивался он. Бывали здесь и Капнист и другие члены кружка Львова, осиротевшие после его смерти в 1803 году. Здесь Александр Михайлович вступал в почтительные споры с Карамзиным, в особенности, когда речь заходила об истории Европы.

Но после военной грозы 1812 года Бакунины и зимой перестали покидать Прямухино.

За тринадцать лет у них родилось одиннадцать детей. Сначала две девочки, Любинька и Варенька, потом сын Михаил. Осмотрев новорожденного мальчика, доктор качнул головой, быстро взглянул на отца. Тот прикусил губу. Младенец мужского пола, первый сын его, оказался с изъяном по мужской части. Свершилось! Что за характер, что за судьба ждет такого человека?..

— Характер необузданный и скачущий, энергии необъятной, вобравший порывистые наклонности обоих родов. Брак в будущем возможен, но потомство — ни в коей мере. Многие осторожности надобны при воспитании этого младенца.

" Какие осторожности? — захолонуло сердце встревоженного отца. — С кем можно советоваться?". В умных книгах его библиотеки на всех языках не оказалось ни единой строчки о том, что стало насущной необходимостью для главы семейства.

«Не навреди»- решил он и не стал вмешиваться вообще.

В последующие годы родились Танюша и Александра, потом пять мальчиков, здоровеньких, полноценных. Последней появилась на свет Сонечка, умершая во младенчестве.

Семейное счастье было долгим-долгим. Александр Бакунин оказался прекрасным отцом-пестуном, святость родительского долга была для него законом.

«Не быть деспотом своих детей»- пометил он в « Записках для самого себя», помятуя о характере родителей, и, может быть, зная свой собственный.

Физику, географию, космографию, литературу, рисование, живопись, ботанику, все, что знал и читал на пяти языках, что продумал, написал — все передавал он ясноглазым быстроумным отпрыскам. Он стал для них богом, справедливым, терпимым, бесконечно любящим. Мать учила музыке и пению, ей помогали учителя, гувернеры и гувернантки. Поэму «Осуга» пели стройным детским хором. Ее сочинял в течение всей жизни в Прямухино, словно вел семейный дневник, сам Александр Михайлович. Сколько прекрасных лет провела вместе эта семья, сколько восхитительных незабываемых событий сохранили в памяти дети!

В 1816 году пришла весть о кончине Гаврилы Державина. Позже дошло и последнее стихотворение. Оно завершило долгое борение его духа с мирозданием.

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

«Мудрец должен жить долго, — задумался тогда Александр Михайлович в своей беседке. — Через него задает свои вопросы человечество. Жизнь не озабочена ни славой, ни памятью, она есть нечто совсем иное... Поживи-ка великий Державин еще двадцать лет, глядишь, и благословил бы каждое мгновение своего пребывания на земле».

В двадцатых годах грянули небывалые тревоги. Троюродными братьями приходились Варваре Александровне четыре будущих декабриста: Никита Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы и Артамон Муравьев, двоюродными братьями — другие Муравьевы — Александр и Михаил. Александр стал основателем первого тайного общества — «Союза спасения».

Их голоса и речи стали раздаваться в Прямухино.

— Пестель, Пестель, его «Конституция» — источник зла. Как совладать с Пестелем?

В борьбе двух крайних мнений при основании «Союза спасения» и при становлении устава «Союза благоденствия» Александру Михайловичу пришлось употребить все свои дипломатические способности.

— Необходимость изменения образа правления, — терпеливо убеждал спорщиков живой свидетель падения Бастилии, — существует только в воображении весьма небольшого кружка молодежи, не давшей себе труда взвесить всех бедственных последствий, которые неминуемо произойдут от малейшего ослабления верховной власти в стране, раскинутой на необъятное пространство. Усиление, а не умаление власти может обеспечить развитие народного благосостояния в нашем небогатом и редко населенном государстве.

— Но демократия! — горячился Сергей Муравьев. — Примеры Греции и Рима, участие в управлении всех свободных граждан! Разве история ничему не учит?

Александр Михайлович потуплял взор, вздыхал и со всевозможной мягкостью охлаждал горячие головы заговорщиков.

— Всенародное участие в управлении страной есть мечта, навеянная нам микроскопическими республиками Древней Греции. В странах теплых, богатых и густонаселенных ограниченные монархии еще могут существовать без особого неудобства; но при наших пространствах, в суровом климате и ввиду неустанной Европейской вражды, мы не можем переносить атрибуты верховной власти в руки другого сословия. Самодержавие представляется у нас не столько необходимостью или нужностью для интересов династических, сколько потребностью для народа и безопасности государственной.

Устав «Союза Благоденствия», который способствовал образованию умеренного крыла декабризма, был целиком разработан в кабинете Александра Михайловича Бакунина, не без влияния его старомодного консерватизма. Это смягчило участь многих декабристов.

Печальная судьба Муравьевых и сам исход декабрьского восстания 1825 года стали потрясением для его семейства. Когда страшная весть достигла Прямухина, все затихло в просторном доме. Ночью хозяин именина жег письма, дневники, черновики. Пошли аресты. Слухи наводнили окрестности. «Того взяли, схватили, привезли из деревни..». Родители трепетали за детей. Траур и панихиды по казненным были запрещены. Живой памятью о братьях Муравьевых остался дуб, посаженный их руками.

Зато весело шелестела листвою молодая липовая аллея. Деревьев было одиннадцать, они были названы именами детей.

Не драгоценная посуда
Убранство трапезы моей, -
Простые три-четыре блюда
И взоры светлые детей.

Кто с милою женой на свете
И с добрыми детьми живет,
Тот верует теплу на свете
И Бог ему тепло дает.

Когда вечернею порою
Сберется вместе вся семья,
Пчелиному подобно рою,
То я щастливее царя!

Поэма «Осуга» тех благословенных лет светится миром и благодатью. Дети еще малы, родители здоровы, а сам Александр Михайлович незаметно для самого себя преобразился во вседержавного и всеведающего патриарха, окруженного любящей и покорной паствой.

Мишель, старший сын, беспокоил его. Глубокая уязвленность подростка уже давала о себе знать неровностями его нрава, а бунтарская самоистребительная кровь молодых Муравьевых да собственные деспотичные бакунинские порывы добавляли огня. Лет с десяти-одиннадцати он вдруг стал убегать из дома на целые сутки. Когда это случилось впервые, переполошился весь дом, но

потом уже не беспокоились. Отец просто посылал человека с теплой одеждой для сына. Что делал оскорбленный ребенок в тверских лесах? Пенял на судьбу? Почему, почему именно его наказала она? Младшие братья, рождавшиеся один за другим, домашние коты, псы, жеребцы — все были полноценными, не обездоленными судьбой. Пусть никто-никто не знает об этом, но знает мать!

Она виновата! Она! — непосильные переживания для детской души. Он падал в траву, рыдал горько и безутешно. Все виноваты, весь мир виноват перед ним, разрушить, опрокинуть его жестокость и несправедливость! Никакой пощады этому миру!!

Мать, с юных лет обремененная многодетностью, навряд ли проникалась тайнами душевной жизни любимых чад. Ее стараниями все были здоровы и прекрасно воспитаны. Зато отец, мужчина, мог бы объясниться с ребенком! Но... избегал, тянул, старался не вспоминать. Так никто и никогда не поговорил с Мишелем всерьез и спокойно о том, что огнем терзало и калечило юную душу, не нашел точных слов, чтобы разъяснить мальчику его особенность, умиротворить глубинные страхи и обиды.

Едкая, едва заметная трещина змеилась между родителями и старшим сыном.

Однажды он лежал в траве и смотрел в небо. Бурные рыдания его стихли, слезы просохли. Недавно, в мае, ему исполнилось уже двенадцать лет, он многое слышал о своих казненных и сосланных родственниках, посмевавшихся выступить против власти.

— Все неспроста, — засветилась мысль. — Быть может, я отмечен свыше. Не для меня тихие радости семейной жизни, я не буду жить для себя.

Подросток вскочил на ноги. Новая сила входила в него.

— Сам Бог начертал в моем сердце судьбу мою. *«Он не будет жить для себя!»* ... Вот оно что!

Мишель гордо посмотрел вокруг. Пусть. Теперь он *знает*.

Четырнадцати лет Михаил Бакунин был определен в Императорское артиллерийское училище близ Санкт-Петербурга и на долгих пять лет покинул райскую жизнь среди возлюбленного семейства.

— Варенька, — настороженно окликнула племянницу Татьяна Михайловна, встретив ее на пороге гостиной. — Ты придешь нынче ко мне читать Четьи-Минеи?

Варенька, стройная темноволосая и темноглазая девушка шестнадцати лет, отрицательно качнула головой. Это был отказ. С невнятным бормотанием тетка сердито взглянула на нее и махнула обеими руками.

Не отвечая ни слова, девушка проскользнула вперед, скрылась в своей комнате и заперлась изнутри. Бросилась на постель, лицом в подушку, и, задыхаясь, стала рыдать, тихо, чтобы не слышали. До каких пор? Сколько, сколько раз за последние годы с нею происходило одно и то же! Все началось с того, что в тринадцать лет во время поста она прочитала книгу St. — Francois de Salle. Это было подобно удару грома! От испуганной веры в Бога, от ужасного разлада между долгом перед Ним и своими «грехами» она чуть не зарезалась. Душа горела как в огне. Когда мучения оставляли на миг ее душу, она оглядывалась по сторонам и удивлялась, что вокруг все спокойно. Как они живут, и может ли она жить так, как они? Никто не понимал ее, от нее отшатывались.

Детские и отроческие душевные невзгоды у детей Александра Михайловича происходили на редкость драматично. Но к папеньке, любящему, всезнающему, холодно-отстраненному собственным совершенством, никто подойти не решался. Матери же и вовсе не удавалось стать доверительной отдушиной для собственных чад, к ней испытывали почему-то даже тайную нелюбовь.

Варенька пережила все сверх всякой меры. После испуганной веры в Бога другое, противоположное, дикое и ужасное, *подозрение в небытии Бога* адским огнем прожгло душу.

«Кому ты молишься? — кричало оно. — Бога нет!! Ты сойдишь с ума от сомнений!»

Это были непосильные мысли для юного существа. Девочка едва уцелела. Отчаяние, ужас и безнадежность рождали в глубине существа вопль, от которого выступала испарина и шевелились волосы.

«Бога нет! Нет! Почему же меня отталкивают? Почему называют сумасбродной девчонкой? Пусть! Я — отверженное творение, я не верю в бога, я урод, я не такая, как все!»... — все ли человеческие существа проходят через подобные потрясения?

Понемногу, вместе с отрочеством отступили и эти порывы. Никто из взрослых, и менее всего величественный Александр Михайлович, так и не узнали, что пережила в глубине души эта смелая веселая девушка.

... Отплакавшись, она уселась за столик возле окна, выходящего во двор. Вот проехала подвода к хозяйственным постройкам, вон с парадного крыльца спустились братья, все пятеро, окружая папеньку. Конюх, держа под уздцы смирную старую лошадь под широким седлом, ожидал их у ворот.

Стало совсем легко, будто все, что накопилось в душе, вырвалось вместе с рыданиями. Она любила в себе эту ясность. И сейчас оглянулась вокруг твердым и светлым взглядом. Пусть ничего не понятно, но можно жить дальше. Причесала гребнем густые вьющиеся волосы, уложила их на макушке и легким шагом вышла в гостиную. Там села за фортепиано, взяла для начала несколько аккордов, потом заиграла этюд нового польского композитора Шопена, который выучила на прошлой неделе. После отъезда Мишеля, исполнявшего худо-бедно партию скрипки, она играла только фортепианные пьесы и аккорды.

Ах, Мишель, любимый брат! Вот кто понимал ее! Как давно его нет! Зато его письма наполняют всех такой радостью!

Услыша музыку, вошла с рукоделием в руках и опустилась на стул у окна Любаша, старшая сестра. В противоположность мятежнице-Вареньке, Любаша была светленькой, хрупкой, словно воздушной, и всегда-всегда ясной, словно бы никакие сомнения никогда не касались ее совершенной души.

— Пойдем в сад, Любаша, — Варвара захлопнула крышку фортепиано.

— Я хотела это предложить.

— Лишь захвачу письма Мишеля.

Они миновали столовую, где сидели две младшие сестренки, Танечка и Саша. Они рисовали цветной тушью собранные на берегу цветы и травы, выделяя каждый лепесток, жилочку и вор-

синку — старательно, не дыша, держа за образец картинку в толстой немецкой книге по ботанике, где каждая гравюра была исполнена с непостижимой тщательностью и переложена полупрозрачной тончайшей бумагой. Девочки молча посмотрели вслед старшим сестрам. После рисования, через сорок пять минут, им предстояли занятия с папенькой немецким языком, перевод и заучивание наизусть лучших стихотворений Гете, а перед ужином маменька усадит их за фортепиано.

Теплый майский день незаметно перешел за четыре часа пополудни.

Выйдя за ворота, девушки обогнули луг, где пятеро братьев под надзором отца и с помощью конюха осваивали верховую езду, и пошли по аллее вверх. Весь сад был в цвету. В начале мая выпали холода, задержавшие очередность цветения, и теперь распустились враз все фруктовые деревья, черемуха, сирень, лесные и луговые цветы. Их ароматы струились в воздухе как райские грёзы. Пение птиц и кваканье лягушек слышались отовсюду снизу и сверху.

— Тетенька опять обижается на тебя, да? — спросила Любаша.

Варенька кивнула головой.

— Ну и что? Я не виновата, — строптиво ответила она. — Я не могу верить вслепую...

— Папенька велит верить, не рассуждая.

Варенька передернула плечами.

— Пусть мне докажут! Если тетенька так верит в вечную жизнь, почему она сама не умирает? Вся религия — от страха. Я тоже боюсь, но честно.

— Ты бунтуешь, Варенька, ты хочешь понять умом. А вера — это озарение, это божественная благодать. Это тайна. Постичь ее разумом невозможно, — тихо говорила сестра. — Как странно. Который год мы с тобой ведем эти разговоры, еще при Мишеле, а папенька даже не догадывается, что у нас на душе.

— Мы все обожаем папеньку и никогда не выйдем из его родительской воли, но... Любаша, миленькая, разве ты не видишь, что мы — в золотой клетке? Я часто думаю о мире, окружающем Прямухино, о барышнях Твери, Москвы. Они другие.

Помнишь княгиню Дашкову восемнадцати лет, с саблей в руках посреди крамольной толпы солдат! Вот какие они. А наша тетенька Екатерина, фрейлина императрицы, во дворце! Вот где жизнь! О, как я хочу вырваться отсюда!

Любаша не отвечала.

На высоком насыпном холме, в беседке, откуда открывался вид на дальние-дальние покатые холмы, покрытые лесами, девушки уселись на скамейку и положили на стол письма брата. Третий год семья жила без Мишеля. Его письма из мальчишеских, полных жалоб на грубость товарищей и на строгость офицеров, «перед которыми никогда не бываешь прав», превратились в юношеские, они дышали лукавством и живыми картинками. Их читали и перечитывали.

Большинство их было написано убористо и мелко по-французски, русский же пестрел ошибками и помарками. Много уже помнилось наизусть, но читать хотелось снова и снова.

... Я узнал черную, грязную и мерзкую жизнь, во мне совершенно заснула всякая духовность. Как холодно в этом чуждом окружении!... Мне предстоит побороть еще много недостатков, как, например, нерадивость, чревоугодничество, даже леность, которая иногда посещает меня. Но с помощью терпения и доброй воли я надеюсь отделаться от них... Учение довольно трудно, но для меня это единственное средство честно прожить и стать полезным моему отечеству и моим родным.... Я был подвергнут аресту за то, что с улыбкой сказал «Ого!», в то время как полковник угрожал заслать моих товарищей туда, куда Макары телят не гонял....

Поначалу мальчиков держали взаперти, но года через два юнкерам разрешили посещать родственников и знакомых в Санкт-Петербурге. Вот когда пригодились обширные связи Бакунина-старшего! В лучших великосветских гостиных молодой человек набирался необходимых манер и новых знакомств.

Булгарин, Греч, Пушкин! Я встречаю всех этих писателей у Дмитрия Максимовича Княжевича. Одно сочинение Пушкина, соединившее в себе черты трагедии и романа, взбудоражило весь город. Это «Борис Годунов». Ты пишешь мне, любезная Любинька, что немецкие писатели ставят ее наряду с лучшими

шиллеровскими трагедиями. Здесь мнения разделены. Иные говорят, что эта трагедия есть лучшее произведение Пушкина. А вот мнение нашего учителя словесности: он говорит, что Пушкин никогда еще так высоко не стоял, но что он также часто упал, описывая характер Годунова по Карамзину.... Пушкин сочинил прекрасные стихи «Клеветникам России», они полны огня и подлинного патриотизма. Вот как должен чувствовать русский! Русские — не какие-то французы, они любят свое отечество, они обожают своего государя, его воля — закон для них, и между ними не найдется ни одного, который поколебался бы пожертвовать самыми дорогими своими интересами и даже жизнью для его блага и для блага отечества... Сегодня тринадцатое мая, а у нас выпал снег. Как должно быть хорошо сейчас в Прямухино! Думаю, там теплее, чем здесь, и, вероятно, все в полном цвету.... Я нахожусь в лазарете, почти совершенно выздоровел, хотя еще несколько слаб. Не пойду в лагеря, а проведу около двух месяцев у тетки на даче.

«У тетки на даче...». Знали бы сестры, каким способом получено право на лазарет и теткину дачу! А было так. Однажды Мишель, напившись вечернего чаю, вышел во двор, разделся до пояса и лег на талый жесткий снег. Простуда не замедлила. И это была не единственная хитрость Мишеля. Несмотря на благие порывы и уверения, дела и поступки юного Бакунина все чаще расходились с общепринятыми правилами. Но сестры не видят, они обожают брата, и все, что он пишет, находит самый умиленный отзвук. И о странных недопустимых поступках, которые совершает их Мишель, о лжи, о денежных долгах. Нелегко оправдать их юношеской неопытностью.

... Управляя мной совершенно, он довел меня до того, что я стал просить денег у Княжевича. Товарищ посоветовал дать вексель на 2500 рублей. Вексель и другие долги заставили меня обманывать всех. Дал вексель еще на 1000 рублей, разносчику на 1300 рублей, чтобы подождал.

Папенька был очень расстроен этим письмом. Деньги были посланы, но Александру Михайловичу пришлось написать сыну весьма резкие слова.

Да, Александр Михайлович недаром хмурился и недовольно качал головой. Блаженное время «маленьких деток — маленьких бедок» уходило в прошлое, перед отцом подымались вопросы насущного устройства и пропитания огромного семейства. Гвардейская будущность старшего сына должна была украсить род и развязать узлы наследства, и в глубине души родители уже считали его за отрезанный ломоть. Однако святой завет дворянина «Береги честь смолоду!», беззаботно нарушаемый их отпрыском, кривизна и загрязненность его нравственной природы, столь чуждые благородному сословию, больно тревожили отцовское сердце.

Но не сестер!

У нас вчера был великий князь Михаил Павлович: он приехал к нам в лазарет и заметил, что во время болезни я ужасно вырос. Я с ним мерился, и он, увидя, что я выше него, сказал: «Молодые люди растут все вверх, а мы, старики, растем уже вниз». Великий князь сделал смотр нашей школе и остался чрезвычайно доволен; он поцеловал правого флангового и велел всем передать... Император распорядился нас закрыть. Холера — настоящая причина нашего заточения. Теперь, когда я под замком, у меня не может быть более приятного времяпровождения, чем с вами, моими лучшими друзьями. Как вы добры, милые сестры, что так любите меня! Чем я это заслужил?...

А вот и первая любовь. Ах! Она — Мария Воейкова. На двадцати четырех листках французского письма описаны мельчайшие переливы чувства и отношений. Нет слов, это увлечение встряхнуло его, соскоблilo с души казарменную ржавчину, пробудило к духовности, но зачем делиться восхитительными подробностями с дочерьми А.Ф. Львова, автора гимна «Боже, царя храни!»? Ах, ах! Они шушукаются по уголкам о его любви, уверяют друг другу горести и радости, они близки, как подружки! Брат девушек, жандармский офицер, поражен немужским поведением Мишеля, его недоумение выражается по-мужски резко и насмешливо. Мишель задет.

Я вкусил все счастье любви, все ее надежды. Одно слово брата, который счел смешной нашу близость, и все было кончено. Любовь для меня больше не существует.

Ах, они его понимали! У сестер к этому времени были и свои маленькие душевные тайны. Они уже танцевали на балах в Твери, общались с молодежью соседей: Вульфами, Лажечниковыми, Львовыми, Дьяковыми, Беерами, к ним нередко заезжали молодые офицеры из расквартированных поблизости полков. Любинька, кроткое хрупкое создание, одаренная душевной красотой и изяществом духовной природы, где спокойствие и грация были отличительными чертами ее в высшей степени святого и благопристойного существа, нравилась многим из них, но планка ее запросов, обязанная к тому же и необыкновенному воспитанию, была столь высока, что соответствовать ей брался не всякий.

Варенька уже поняла это и решила по-своему.

— Я не собираюсь ждать человека, способного сделать меня счастливою во всех отношениях, — рассудила она про-себя. — Такого нет! Пусть «Он» будет хотя бы приятен и добр. Зато сейчас же после обручения я потребую безотлагательного заключения брака, ибо, если буду долго тянуть, я боюсь, мне придется изменить свое намерение и взять обратно свое слово.

Долгие майские сумерки спускались на равнину. В кустах раздалась первая трель соловья, подхваченная сразу несколькими певцами. В ответ им полилась русская песня «Дивчина моя». Обнявшись, сестры пели ее на два голоса.

Милого нет!
Ах, пойду за ним вослед;
Где б ни крылся,
Ни таился,
Сердце скажет мне путь...

Часы, которые будущий император Николай I простоял с семьей в домово́й церкви, в то время как на Сенатской площади развернулись в темное каре войска, руководимые заговорщиками, тот смертный страх, испытанный 14 декабря 1825 года, ужас уподобления обезглавленным королям английскому и французскому, навсегда врезались в его память.

Месть царя тяжелой пятой легла на Россию. Отныне любая вольность пресекалась на корню, а люди, преданные ее образу, исчезали бесследно.

Дольше всех продержался Московский университет. Со всех концов съезжались в его стены даровитые юноши, чтобы учиться на его факультетах, общаться с профессорами и между собой, философствовать, спорить, кутить. Но после истории с поэтом Александром Полежаевым и здесь ощутились студенческие сквозняки реакции.

Александр Полежаев был внебрачным сыном богатого помещика. Поэтический дар его был несомненен, в университетском студенческом братстве стихи его читались и распевались на всех пирушках, а поэма «Сашка» переписывалась во многих списках. Это было озорное, полное непристойностей, стихотворное переложение «Евгения Онегина», сочиненное тем же блистательным размером. Во все времена возникают подобные поделки, лишь добавляющие блеска их образцам; они легкомысленны и недолговечны, повзрослевшие озорники очень скоро отрекнутся от них, как от неловких шалостей горячей юности.

Не так получилось с Полежаевым. К несчастью, список поэмы попал в руки попечителя университета, затем к министру народного просвещения. Юношу, по обыкновению всех полицейских служб, разбудили далеко за полночь, велели одеться в студенческий мундир, проверили наличие всех пуговиц и повезли прямо во дворец. Был пятый час утра, но в приемной уже сидели сенаторы. Один из них, полагая, что юноша чем-то отличился, предложил ему должность учителя при своем семействе.

Царь бросил на вошедшего испытующий взгляд.

— Ты ли сочинил эти стихи? — спросил он.

— Я, — отвечал Полежаев.

— Вот, князь, — усмехнулся государь, обращаясь к попечителю, — вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать.

— Я не могу, — сказал он.

— Читай! — закричал Николай I.

Этот крик вернул ему силы. Никогда не видывал он своего «Сашку» переписанного столь красиво и на такой славной бумаге.

Сначала робко, потом одушеваясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких Николай делал знак рукой министру. Тот закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил царь по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату! Это все еще *следы, последние остатки*, я их искореню! Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал, какого он поведения, но в нем проснулось что-то человеческое.

— Превосходнейшего поведения, ваше величество.

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:

— От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне писать, — и поцеловал его в лоб.

Александр Герцен, поведавший эту историю, говорил, что раз десять заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе. Тот клялся, что так и было. Несколько лет спустя Полежаев умер в солдатской больнице. Ни одно письмо его к государю ответа не имело.

Вскоре настал черед и самого Александра Герцена. Идеи французской политической философии были дороги его сердцу и близки его друзьям-студентам, объединившимся вокруг него. Юноши расхаживали в бархатных беретах и трехцветных шарфах, устроили шумный протест против профессора Малова, когда тот неуважительно отнесся к одному из студентов. В университетской «маловской» истории принимал участие и Лермонтов, никому не известный юноша. Александр Герцен и его друг Огарев, едва окончившие курс, были арестованы и сосланы в глубинную Россию на пять лет.

Но ранее их испытал гонения студент Виссарион Белинский, казенно-коштный студент.

Белинский родился в городке Чембаре в бедной семье армейского лекаря в 1811 году. Вечно пьяный отец бывал неразборчив и буен во хмелю, с кулаками гонялся за женой. В восемнадцать лет Виссарион отправился в Москву поступать в университет. Первый же встреченный город, Рязань, очаровал впечатлительного юношу. Оказывается, в России есть прекрасные города!

Наконец, за много верст, словно в тумане, засветилась колокольня Ивана Великого. К ней долго ехали. Москва-река была запружена барками. Златоглавая белокаменная Москва показалась сказкой.

На заставе его остановили.

— Кто таков?

А свидетельства о происхождении у него нет, отец забыл дать его сыну!

— Беглый?

Кое-как, сказавшись лакеем графа Ивана Николаевича, молодой человек миновал стражу. Быстрым шагом отдалившись на расстояние полуверсты, он свернул за угол в переулок, отыскивая глазами укромный непыльный уголок, чтобы отдохнуть от пережитого страха. Он был боязлив, слабого здоровья и ощущал себя совершенно беззащитным. И вдруг увидел приближающуюся к нему духовную особу в замызганной рясе, служителя алтарей. Поравнявшись с Белинским, тот снял шляпу и словно старинному знакомому пожелал доброго здоровья, после чего «проблеял козлиным голосом».

— Милостивый государь! Пожалуйте отцу Ивану на бедность две копейки.

Виссарион догадался, что в кармане почтенного отца Ивана обреталось только шесть копеек, и, следовательно, не доставало двух. Молча подал он два гроша и проследил взглядом, как тот бегом пустился в ближайший кабак.

В ту же минуту новое приключение ожидало его. Опустившись на траву, бледный, худой, с воспаленными прыщами на шее, он расположился было на краткий отдых, как вдруг над ним раздалась медовая цыганская скороговорка.

— Открою тебе всю судьбу, соколик. Не пожалей копеечки.

Молодая женщина в пестрой юбке протягивала руку. Он достал из кармана копейку. Всей душой стремился он в университет, и цель была так близка, что стало страшно. Пусть скажет что-нибудь хорошее.

— Ты идешь получить и получишь, хотя и сверх чаяния. Люди почитают тебя за разум, тебе многое послано. Только языком не сшибайся, — пропела цыганка, глядя прямо в глаза, и ушла, качнув пестрыми юбками.

Через две недели, получив по почте «Свидетельство...» и пройдя собеседование, Виссарион Белинский, «казеннокоштный» студент словесного отделения, уже сидел на лекциях в университетской аудитории.

— *С живейшей радостью спешу уведомить вас, дражайшие папенька и маменька, что я принят в число студентов Императорского Московского университета. Теперь я состою в XIX классе, имею право носить шагу и треугольную шляпу. В нашем пресловутом Чембаре очень удивляются, что я принят в университет? О, Чембар, пресловутый Чембар! Ежели меня не умели ценить в Чембаре, то оценили в Москве... Здесь на сто рублей можно купить такое количество книг, которое по настоящей цене стоит пятьсот... В моем номере двенадцать человек. Постельное белье снежно-белое, переменяется каждую неделю. Завтрак в семь часов состоит из булки и молока. Обед по будням в два часа, по праздникам в двенадцать часов по звону колокольчика. Стол по будням состоит из трех блюд: горячего, холодного и каши. Горячее бывает следующее: щи капустные, огуречные, суп картофельный, суп с перловыми крупами, лапша и борщ попеременно. Из горячего говядина вынимается и готовится на холодное или жаркое. Хлеб всегда ситный и вкусный, и кушанья приготовляются весьма хорошо. По воскресеньям и прочим праздникам сверх обыкновенного бывают пироги, жаркое и какое-нибудь пирожное. Столы всегда накрываются скатертями, и для каждого студента особенный прибор: тарелка, покрытая салфеткой, серебряная ложка, нож и вилка. У каждого стола, коих 14, прислуживает солдат. Порядок в столовой чрезвычайно хорош. Увидя столы, накрытые снеговыми скатер-*

тями, на которых поставлены миски, блюда, карфины с квасом, приборы в величайшем порядке, можно подумать, что это приготовлен обед для гостей какого-нибудь богача. Миски у нас оловянные на поддонах, блюда такие же, тарелки каменные. Миски и блюда блестят, как серебряные. Такая чистота во всех отношениях наблюдается... Я пролежал в больнице две бесконечные недели по причине жесткого кашля... Какая разница между казенными и своекоштными студентами! Первые всегда на глазах у начальства, вторые живут один в комнате, могут сидеть ночь и спать день. Сердце обливается кровью, как поглядишь — как живут своекоштные...

Михаил Лермонтов занимался на том же курсе. Или разница в положении своекоштных и казеннокоштных была неодолима для молодого самолюбия, или у каждого был свой круг, но «друг друга они не узнали».

Виссарион стал центром «Литературного общества 11-го номера». Мечты о сочинительстве кружили голову. Виссарион чувствовал в себе священный пламень. О, наивность начинающего! В драме «Дмитрий Калинин» его благородный герой смело попирает сословные границы ради любви и свободы. «Одиннадцатый номер «был в восхищении».

В простоте душевной Белинский вознамерился напечатать драму в университетской типографии и даже поправить за сей счет свои ужасные финансовые дела. Шесть тысяч рублей снились ему чуть не каждую ночь!

«Осмелюсь льстить себя сладкой надеждою, что мое сочинение, несмотря на свои недостатки, как первое в своем роде, не будет лишним в нашей литературе, столь бедной литературными произведениями, и удостоится внимания Вашего, как первый опыт молодого студента», — написал он и, замирая душой, смущенно принес рукопись в деканат. *Споспешествовать успехам отечественной литературы* стремился отважный автор.

Там прочитали. Отношение к нему сразу ужесточилось.

— Заметьте этого молодца. При первом же случае его надобно выгнать, — распорядился ректор.

Белинский ужаснулся. Он дал себе клятву все терпеть и сносить.

Как раз в это время в университете сменился попечитель. Новая метла вымела за ворота последние остатки вольного преподавания. Увидев это, Михаил Лермонтов без сожалений оставил и студенческую скамью, и Москву, закутил, загулял в Санкт-Петербурге в новом окружении Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где, по слухам, преподавание литературы еще окрыляло молодые умы. Но не тут-то было. В тот же год император потребовал и в Школе всячески стеснять умственное развитие молодых питомцев!

Белинский, стиснув зубы, терпел все, даже когда казенно-коштных студентов стали запирают на ключ в их комнатах на двенадцать человек.

Но дело было решенным. Случай, очередная хворь, пропущенный экзамен, злодейски подвернулся почти на самом выходе. Переэкзаменовки ему не дали и уведомили об увольнении из университета. Лишившись всех надежд, он совершенно опустил.

«Все равно» – опасное безразличие овладело им.

Спас его Николай Станкевич, тоже студент университета. Услышав, что кого-то исключили за сочинительство, он, сам писавший стихи, попросил привести беднягу в свой эстетический философский кружок, собиравшийся по субботам в доме профессора Павлова на Дмитровке, где Станкевич снимал квартиру с прислугой и пансионом.

Белинский скоро оценил этот щедрый, не враз раскрывшийся, подарок судьбы. Их общение стало плодотворным и судьбоносным для всей русской литературы. Станкевич обладал умом необычайной ясности и тончайшим слухом к прекрасному, слова его отзывались в душе Белинского возвышенными развернутыми картинами. Виссарион стремительно рос в драгоценном общении кружка. Гениальность Станкевича была для него очевидна.

— Всяша, ты читал «Старосветских помещиков»? Это прелесть!... Прочти. Как здесь схвачены прекрасные чувства человеческие в пустой ничтожной жизни, — из этих слов Станкевича родилась на свет великолепная статья Белинского о творчестве молодого Гоголя.

Философское и литературное мировоззрение Станкевича, развитые Белинским в его статьях, поразили Россию. Редактор

журнала «Телескоп» Надеждин, у которого часто печатались студенты университета, где печатали стихи и Станкевич и члены его кружка, стал поручать Виссариону рецензии и самостоятельные статьи о русской литературе.

Имя «Виссарион Белинский» мало-помалу становилось известным русскому читателю.

Сам Николай Станкевич оканчивал в то время Московский университет. В высшей степени благородный романтик, он и наружно обращал на себя внимание изящной и грациозной фигурой, тонким одухотворенным лицом, обрамленным длинными и густыми черными волосами. Взор его был ласков и весел, нос с горбинкой и подвижными ноздрями придавал лицу необычную утонченность, губы с резко означенными углами всегда таили улыбку. Его дед был родом из Сербии, отец был богатым воронежским помещиком. Живость характера проявилась в нем с детства, это был настоящий *enfant terrible*, девяти лет от роду из шалости сжегший целую деревню. Для хороших натур богатство и даже аристократическое воспитание очень благотворны, они не связывают волю и дают ширь развитию и духовному росту, не стягивая молодой ум преждевременной заботой.

В первое время своей юности Николай любил общество, танцы, новые знакомства и людской говор, у него была редкая способность становиться с первого раза в прямые, открытые и благородные отношения с людьми. Ему всегда было необходимо видеть много людей, так же как необходимо и много мыслить про-себя. Он писал стихи, даже драму «Василий Шуйский», но печатал мало и не любил, чтобы о нем говорили как о литераторе.

В Москве Николай Станкевич бывал частым гостем в семействе Беер. Состояло оно из матери, болезненно-нервной, впрочем добродушной и приветливой дамы, двух дочерей и двух братьев, старший из которых учился в университете. Жили они поблизости, и в доме постоянно толпилась студенческая молодежь. Старшая из девушек, Наталья, возбудимая, нервная, вообразила себя влюбленной в Николая. Узнав о ее чувстве к нему, Станкевич был огорчен.

Нет, для Натальи Беер Станкевич был недостижим.

Судьба, однако, состояла в том, что имение семейства Беер в Шашкино было деревенским соседом бакунинского Прямухина. А домосед Александр Михайлович Бакунин уже давно собирался показать Москву своим дочерям.

Над военным лагерем спустилась ночь. После долгого дня, заполненного пушечными стрельбами, баллистикой и фортификацией, юнкера Императорского артиллерийского училища спали под белыми пологам палаток. На подступах к орудиям несла охрану караульная служба. «Слуша-ай!»- доносился временами их сторожевой окрик.

Не всех свалил усталый сон. Кто-то перебирал струны гитары, кто-то сидел у костра, иные затеяли ночное купание под обрывом в речушке, что огибала мягким полукольцом возвышение, приспособленное под военный учебный полигон.

Растянувшись на походной койке с подставленным в ногах березовыми чурбаками для удлинения ложа, Мишель курил в темноте. Он только что отложил томик Веневитинова, погасил свечу, и размышлял о письме поэта к графине NN. Оно произвело на него сильное впечатление. В коротеньком послании Веневитинов с изящной простотой и ясностью старался дать представление о задачах и возможностях философии, как науки, в духе после-кантовского идеализма. Все это почему-то было внятно душе Мишеля, распахивало такие пространства, что дух захватывало, словно в полете; хотелось вдумываться и напрягаться изо всех сил и размышлять, размышлять.

« Он прав! — Мишель обострял мощные, далеко не задействованные, он ощущал это, возможности своего мышления. — Я тоже бьюсь беспрестанно над выработкой миросозерцания, которое могло бы решить главный для меня вопрос — вопрос о назначении человека. Мне представляется, что можно многое сделать на этом направлении. И пусть, пусть не позволено мне судьбою всецело погружаться в обыкновенные радости жизни, — юноша вздохнул и покусал губы, — пусть. Мое призвание далеко в иной стороне. Я человек обстоятельств, и рука Божья начертала

в моем сердце священные слова, которые вновь и вновь обнимают все мое существо. «Он не будет жить для себя!»

В палатке противно зудели комары. Убив одного-двух на щеке и на лбу, Мишель вскочил, набросил на плечи одежду и, пригнувшись у полотняной двери, босиком вышел вон.

Светила луна. Длинные, полупрозрачные, озаренные ее сиянием, светились близ нее волокнистые облака. Такие же облака волнами лежали по низинам, вдоль речного русла, густо стояли внизу, почти скрывая темный кустарник и пасущихся на лугу коней. Пахло травами, речной сыростью.

«Слу-ушай!»- прокричал в тишине караульный.

С удовольствием ступая по росистой траве, Мишель обошел палатки, постоял у догоравшего костра, прикуривая от головешки.

— Не спится, Миша? — прищурился один из трех юнкеров, засидевшихся за полночь. — Али красные девки снятся?

В словах его как будто не содержалось ничего обидного, но в армии нет секретов... Михаил, морщась одной щекой, поскорей отошел прочь.

« В один миг они разрушили иллюзию, дававшую мне счастье. Как мучительно терять иллюзии! Они испаряются и открывают истину во всей наготе и суровости, повергая сердце в удушьяющий едкий дым, в ужасное страдание».

Усевшись на пенек над самым обрывом, он постарался справиться с собой. Это было нелегко. После возвышенного строя мыслей, после мечтаний о грядущем высоком поприще горизонт будущего был покрыт мрачными тучами, а душа, низвергнутая в мрачную темницу, больно терзалась. Все казалось мертвым. Эти состояния, когда они настигали, бывали мучительны... Неужели вся жизнь есть тягостный переход от обольстительных грез к ужасным пробуждениям?...

Мишель сцепил длинные руки на колене и откачнулся назад, в позу равновесия.

Итак, философия. Только она способна помочь ему справиться с собою, спасти его дух от жгучих упаданий, она будет способствовать его усовершенствованию. Должно лишь углубиться в созерцание своей души, чтобы познать ее природу... Да,

на этом направлении можно найти ответ, от которого станет легко и неустрашимо идти по жизни.

Глядя на темную равнину, неравномерно укутанную белыми пеленами, Мишель стал думать о высшем в себе и в мире.

Мало-помалу прекрасное состояние вновь охватило его. Душа, словно вырвавшись из бранных преград, разлилась по всему пространству, обнимая целое мироздание, ему было хорошо, легко, все предметы, каждое растение, каждый цветок говорили языком любви, в каждом из них он читал особенную мысль, особенное чувство, гармонирующее с чувством беспредельной любви и с высокой мыслью о причине всех миров!

«Как бесконечно блажен я сейчас, когда чувствую всемогущие силы для того, чтобы жить, чтобы достойно носить великое звание человека и постигать цель бытия своего!»

Он обожал в себе это чудо, оно вознаграждало его за все перенесенные унижения.

Через несколько дней лагерная жизнь кончилась. Впереди предстояло производство в офицеры, выпускные экзамены и назначение в гвардию.

А в промежутке... О, в промежутке полагался месячный отпуск домой. Домой! Впервые за пять лет!

За пять лет! Боже великий!

... Что с ним происходило, когда он подъезжал к Прямухино, и когда вдруг увидел за купами деревьев родной дом! В нетерпении он выскочил из коляски и что есть духу пустился бегом.

Так, с разбегу и очутился в зале.

И сразу увидел всю семью. Шел обед, все сидели за обеденным столом. И семья увидела его — высокого, румяного, с безмерным счастьем в голубых глазах.

— Ах!

Все повскакали с мест, объяты, слезы, поцелуи... Что тут началось! Мишель подошел к отцу.

— Здравствуйте, папенька!

— Ты вернулся, — дрожащим голосом заговорил отец, всматриваясь и обнимая сына. — Взрослый мужчина. Я рад, я рад.

Мишель был на вершине блаженства. Пять лет он мечтал об этой минуте! Пять лет! Сколько раз за эти годы, загнанный, одинокий, он сжимался под одеялом в огромной казарме, плача в подушку о тесном, теплом и безопасном братстве, о потерянном рае! Как больно томилась душа в толпе ровесников, чуждых малейшей духовности!

Зато теперь! О, теперь его окружали прекрасные незнакомки — Любовь, Варвара, Татьяна, Александра и целый выводок братьев. Он был ошеломлен. В одну минуту вновь получил он то, что потерял, кажется, целую вечность назад, о чем тосковал в казенных стенах. Что? Теплое безопасное братство людей, близких не только по крови, но и по духу. О, счастье! Эти минуты обретения он запомнит на всю жизнь.

Всей гурьбой они обошли дом, сад, пруды, излучины Осуги, Кутузову горку, все места, милые сердцу.

— А помнишь, Мишель, как ты спрятался, а мы искали, искали? А помнишь, как Варенька провалилась в снег, и ты ее вытаскивал? А помнишь, а помнишь... О, Мишель, как чудесно, что ты опять с нами! А знаешь, папенька уже много ушел в поэме за этот срок, мы научим тебя, когда станем петь. Скоро начнутся балы в Твери, ты станешь сопровождать нас?

И Мишель не верил самому себе. Как прелестны его сестры! Как смыслены мальчишки, как им нравится старший брат и его военный мундир! Как велика семья! Неужели все они любят его?

— Безумный, я искал мнимого счастья вне моего семейства! Я люблю вас более, чем когда-либо. Мы все созданы для счастья высокого, основанного на любви. Наконец-то я нашел верных друзей, которые меня понимают.

А вскоре, к изумлению и радости восхищенной родни, у старшего брата обнаружился поразительный дар слова. Такого в Прямухине еще не слыхивали. Размахивая длинными руками, словно загребая ими, Мишель брался рассуждать обо всем на свете, и делал это с таким блеском, что заслушивался сам себя и увлекал за собою свое окружение. Он и выстраивал многосложную логическую цепочку, и замыкал и размыкал ее, и делал скидки в сторону, отступления, переходы, он далеко уходил от темы и вдруг возвращался к ней с новым взглядом. Высокий металличе-

ский голос его отдавался в воздухе, словно серебристый колокольный звон. Конечно, строгий логик нашел бы в его речах и несообразности, и полет воодушевления, и обычную хитрость, но благодарной стайке сестер и братьев все было в новинку, они потрясенно внимали необычному воздействию его слов, отдавались хаосу и пропасти чувств, искрами воспламенявшими их сердце и голову, с восторгом давали увлечь себя в лабиринты без руководящей нити...

Воистину, Мишель был вознагражден за все. Он сам не чаял свалившегося на него богатства. Его превосходство было бесспорно, влияние неограниченно. Чистая молодежь Прямухина с восторгом предалась старшему брату. И сильный ум его коварно обещал свои необыкновенные владения, полученные в одночасье, ни за что и даром: восхищение сестер и братьев, почти богомольный порыв любви, свежий ток их светлой духовной энергии, неизмеримо усиливающий мощь его собственного существа.

Это было ново. И это понравилось.

Сам седой патриарх Александр Михайлович, поддавшись общему настрою, с умилением взирал на семейную идиллию.

— Может быть, все образуется, — вздыхал он, имея в виду тяжелые события, предшествовавшие приезду Мишеля. — Дай-то Бог.

Не ведал премудрый Александр Михайлович, какие беды и потрясения обрушит на его голову старший сын! Предчувствия тридцатипятилетней давности сбывались нетвратимо.

Бакунин-старший приближался к семидесяти годам, глаза его слабели, но созидательный дух был ясен по-прежнему. С помощью жены он властной рукой вел многосложное хозяйство, и воспитывал подрастающих сыновей. О дочерях говорить было нечего, они выросли, они ожидали достойных женихов.

О том, что происходило здесь несколько месяцев подряд, никто вслух не упоминал, тем более при Мишеле. А он, упоенный блаженством всеобщей любви к нему, не видел, не замечал тревоги в глазах Любиньки, не слышал невольных обмолвок. Слово глухарь на току, он был поглощен лишь своим собственным неожиданным счастьем.

Точно волшебный сон, пролетел месяц отпуска. Мишель прощался с семейством, уезжая в офицерские классы. Не надолго! Через месяц-другой он заедет на побывку перед назначением в гвардию. Он окрылен. Теперь у него такая поддержка, какой нет ни у кого на свете! Он счастлив и силен ею.

В Прямухино вновь полетели его письма. Но что это? Они превратились в длинные диссертации-поучения с требованием отчета о всех движениях души, о всех помыслах сестер и братьев. Он требовал полной искренности, и сам разливался соловьем, исповедуясь перед сестрами до самого доньшка. Он звал вперед, к неведомому совершенствованию, к которому стремился всем существом. Без колебаний Мишель деспотически назначил себя духовным руководителем своих родных.

— На мне, как на старшем сыне и брате, лежит ответственность за все семейство, — заявил он с захватывающей дух серьезностью, бесцеремонно оттесняя старого отца. — Указывать близким путь к истине — честолюбие не знает другой цели!

И поразительно, как эти «близкие» доверчиво подчинились ему, пошли за ним с радостью, без малейшего сомнения.

— Ты открываешь нам новую жизнь и самих себя, наш дорогой Мишель. Пиши, пиши нам, любящим тебя, — отвечали сестры, захваченные его вихрем.

Между тем, в Прямухине назревала драма. Началась она прошлой осенью, когда в имение приехал один из сводных братьев матери Александр Полторацкий, достойный и благовоспитанный молодой человек. Время тогдашнее текло по-иному, в гостях жила подолгу, неделями, месяцами, даже годами, и за такие сроки вполне становились членами семейства.

Стояли прекрасные сентябрьские дни. Деревья в полной красе увядания улаждали взор золотом, багрецом и темной зеленью, доцветали хризантемы, качались над травой последние луговые цветы. Длинные косяки и быстрые стаи перелетных птиц потянулись к югу.

У матери семейства Варвары Александровны и у ее брата было о чем поговорить, повспоминать, слишком многое про-

изошло в жизни дорогих им людей. «Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет..». Но очень скоро внимание молодого человека переместилось на молодых племянниц. Таких девушек он еще не встречал! И не то, что они говорили на пяти языках, играли на фортепиано... В усадьбах, разбросанных по русским просторам, почти все барышни болтали по-французски и бренчали на клавишах. Нет, не это.

Одухотворенность, искренность, простота, готовность к самоотречению поражали в них. Особенно, в Любаше, нежной, как ангел.

Юноша не сводил с нее глаз. К своему ужасу Бакунин-старший стал замечать, что и дочь его благосклонно принимает это внимание! Все закружилось в его воображении! Брак между дядей и племянницей был невозможен, кощунственен, противен природе и христианской религии!

Пресечь, прекратить! Быстро, немедленно!

Александр Михайлович потерял себя от волнения.

— Жена, что нам делать? — в панике вопрошал он, словно воочию видя уже случившееся несчастье. — Что, если она вспыхнет, загорится, как я двадцать лет тому назад? Как сладить будет? Моя кровь-то, моя...

Варвара Александровна оставалась невозмутима.

— Успокойся, Александр. Подобных повторов не бывает. Любаша сдержана, воспитана, она не допустит даже мысли.

Легко сказать «успокойся»! А молодые люди бродят по саду, сидят в беседке... Теперь все силы его души были направлены на спасение, на предотвращение беды, которая, это было ясно как день! нависла над фамилией.

Вновь, словно двадцать лет назад, Александр Михайлович потерял голову. Страх лишил его обычной рассудительности, ему и впрямь казалось, что он спасает семью от неминуемого позора, призрака которого стоял перед ним днем и ночью.

— Замуж, отдать ее замуж! Срочно!

Замужество — выход слишком известный. Имея на руках четырех повзрослевших дочерей, невозможно не думать об этом, не присматривать женихов, не предпринимать надлежащих шагов! В женихах недостатка не было, они постоянно крутились

вокруг. Но отдать Любашу, нежную хрупкую, возвышенную, как ангел, срочно отдать в первые попавшиеся руки, без любви и ее согласия, значило погубить Любашу.

Боже сохрани!

К несчастью, страх, словно черный змей, поселился в душе Александра Михайловича, изглодал тревогой, лишил трезвого разума. К тому же, к старости он *обнищал* зрением, оно впервые стало изменять ему, на мгновение, на два... Все стало еще страшнее, жутко! Четыре дочери, и ни одна не замужем, а он слепой старик! А время идет!...

Скорее всего, это было нервное возрастное расстройство, вызванное временным потрясением, но кто бы осмелился сказать об этом «дорогому папеньке»? С упорством и настойчивостью маньяка старый отец принялся устраивать судьбу Любаши, своими руками потрясая до основания внутреннюю гармонию премухинского мира, вдохновенно и мудро возведенную им. Гуманнейший из людей, взрастивший дочерей в земном раю любви и добра, искусства и просвещения, Александр Михайлович принял-ся бесцеремонно искать претендента на руку Любаши, требуя от дочери ужасной жертвы.

Можно представить душевное состояние семейства! В Прямухине воцарилась полная безысходность. Слово отца по-прежнему оставалось для них безусловным доказательством истины, а сам он — чем-то великим, выходящим из ряда обыкновенных людей. Своей английской снисходительностью Александр Михайлович умудрился воздвигнуть такую преграду между собой и детьми, что наглухо отгородился от их живой доверительности.

«Мы воспитывает своих дочерей, как святых, а выводим на рынок, как кобылиц»... — печально заметила Жорж Санд, замечательная французская писательница тех времен.

А вот и жених, как черт из табакерки! Это Ренне, дворянин из захудалого литовского рода, офицер расположенного неподалеку кавалерийского полка. Нечистый гуляка, картежник и прочее. В своей недалекости он даже не смог оценить, в какое семейство занесла его игривая фортуна, кем была его невеста! Следуя низости своей натуры, он позволял себе замечания и кучерские

насмешки над сестрами, клеветал на них родителям. Пошлый грязный мир вторгся вдруг в премухинские пределы.

Не в правилах семейства было обсуждать решения отца, но Варенька, набравшись храбрости, сделала попытку заступилась за сестру. Высоко подняв голову, пылая румянцем, она остановилась на пороге его кабинета.

— Папенька! Выслушайте нас хоть единственный раз. Любаша не вынесет брака с Ренне, она ненавидит его, она умрет от отвращения, — произнесла она по-французски.

Ответ отца поразил всех.

— Пусть умрет, но исполнит долг свой.

Старик был не в себе, его «занесло», душа его пылала, он был болен, но как было знать об этом восемнадцатилетней девушке! Качнувшись, она упрямо схватилась за дверной косяк.

— Папенька! Распорядитесь, чтобы он уехал. Папенька, ну, пожалуйста! Его присутствие убивает ее.

— Если Ренне уедет, я уеду вместе с ним, — капризно сказал отец.

В тот же день прямо за столом стало плохо матери, потом и ему, отцу семейства. Это потрясло Любашу. Ради спокойствия родителей она решила принести себя в жертву.

А что же Мишель? Занятый офицерскими экзаменами, он рассеянно приветствовал помолвку сестры и будущего родственника. И лишь заехав на побывку, узнал правду.

— Тебя неволят, Любинька? — ахнул он.

Его лицо стало страшно. Казалось, он был готов разрушить весь мир.

— Мишель, я умоляю, не говори ничего папеньке! — испуганно спохватилась Любаша. — Он может умереть от огорчения!

Мишель испытывающе всмотрелся в сестру.

— Значит, ты любишь своего жениха?

— Я его не выношу... и он... я боюсь его.

— Он так высокомерен, так пренебрежителен, Мишель! Ты бы видел, как он с нами разговаривает! — воскликнула Варенька. — Как с низшими существами.

Неистовый гнев опалил Мишеля.

— Да как он смеет! Я убью его на шести шагах!

— Молчи, Мишенька, молчи! — Любаша закрыла лицо руками. — На все божья воля.

— Нет, Любаша, я не замолчу! Я не могу снести мысли о том, что ты будешь несчастна. Понимаешь ли ты муки обожающего тебя брата?

Мишель безусловно взял сестру под свою защиту. В пылком воображении молодого человека рисовались убийственные картины надругательства над невинной девушкой, сердце наполнялось сладостной борьбой за справедливость.

Спасение пришло, как ураган. В поведении дочерей появилась неизвестная отцу твердость. Он правильно определил ее источник. Тишина в Прямухине была взорвана в одночасье. Гром и молнии потрясли родовое гнездо. Вся молодежь Прямухина оказалась на стороне старшего брата.

Глава семейства впервые принужден был отступить.

Помолвка была расстроена.

Но через неделю Александр Михайлович отыскал следующего жениха, тоже офицера, Загряцкого. Все повторилось. Страх за четырех незамужних дочерей по прежнему терзал Александра Михайловича.

С помощью старшего брата успешно отбили и эту атаку. Загряцкий исчез.

Образ непогрешимого демиурга-папеньки таял на глазах. У сестер, наконец-то, родились сильные сомнения насчет его безусловной правоты во всем. Зато у Вареньки укрепился собственный взгляд на свое будущее.

«Если хоть одна из нас выйдет замуж, папенька успокоится и прежний мир вернется в Прямухино» — решила она.

Тем временем офицерские экзамены Мишеля шли своим чередом. С его способностями они не представляли ничего сложного, назначение в гвардию было почти в кармане. И как-то вечером, в приподнятом настроении, помахивая веточкой, он вышел прогуляться, одетый или застегнутый не совсем по форме, и, как говорится, *нарвался*.

Генерал имел фамилию Сухозанет.

— Уж если надел ливрею, то носи ее как полагается, — не удержался он от замечания, с издевочкой называя мундир ливре-ей.

Бакунин вскипел.

— Никогда не надевал ливреи и надевать таковую не думаю.

За эту дерзость его отчислили с офицерского курса. Вместо гвардии он был зачислен прапорщиком в одну из армейских артиллерийских бригад в западном крае.

Отец узнал об этом из «Инвалида».

Спустя полторы недели прапорщик Михаил Бакунин в должности взводного командира оказался в заброшенной белорусской деревне под Вильно. Он ничуть не расстроен. Офицерская карьера вообще не привлекала его. Целыми днями он валялся в палатке и читал все, что удавалось достать. Историю России, «Идею философской истории человечества» Гердера, статистику Литвы, Адама Смита, романы Руссо... Деятельный ум искал пищи. Бакунин бросился в серьезное чтение со страстью, и ощутил себя выросшим в собственных глазах. Счастье на земле — только в познании!

Дома же, в Прямухине, все понемногу успокоилось. Началось благотворное сближение Александра Михайловича со своими собственными детьми. Они разглядели в нем обыкновенные человеческие слабости, он признал их право на собственные решения.

— Если бы ты знал, Миша, как отраднo чувствовать, что мы можем быть чем-нибудь для него, мы почти беспрестанно с ним, и он так нежен, так добр. И это счастье, друг, ты нам дал, — благодарила брата Татьяна. — Без тебя мы бы навсегда остались в том тяжелом отдалении, в которое воспитание наше поставило нас. Ты первый заговорил с ним, высказал перед ним свои и наши чувства и сблизил нас. Видишь, Миша, причиной всего нашего счастья, всех наших радостей — всегда ты. Твоя сила с нами.

Сестры боготворили его более, чем когда-либо.

... Медленно тянулось время. Не охотник до карт и кутежей, Мишель смотрелся белой вороной среди офицеров полка. Лишь полковник, умный развитой человек, приглашая его к себе на

шахматную партию, становился его собеседником. В шахматах Мишель уходил в те же просторы и глубины, что и в тех размышлениях, что он называл «наукой». Мысль его давно уже выломилась из рамок обыденности, охватывая извечные «проклятые вопросы», место «Я» в мироздании. Ощупью, в полном одиночестве, ведомый путанными тропками случайных книг и общений, он кружил и петлял в поисках ответов.

И совсем одичал, валяясь с трубкой на соломенной постели. От нечего делать, он читал и записывал все подряд, не забывая издали руководить своей паствой.

— Какие теперь пошли-с огромнейшие дни-с, — приветствовал его помещик Бурляев, владелец восьмидесяти душ.

Мишелю было так смешно, что он записал это приветствие. И сам продолжил в том же духе.

— Все сие время была жара неносная, и колосья озимого, так почти и ярового созрели почти не налившись, что, кажется, не подает надежды на хороший урожай в здешних краях... Общество доброго и простого русского мужика, всегда почти одаренного здравым рассудком, гораздо приятнее для меня, чем шумные и бестолковые беседы безмозглой шляхты... Прелесть совершенного уединения, проповедуемая женеvским философом, есть самый нелепый софизм. Человек рожден для общества, самовольное уединение тождественно эгоизму... — и назидательно добавляет. — Мы прочитали ваш дневник, и он нам не понравился... P.S. Говорят, в дамском письме главной цели следует искать в P.S. Следуя этому примеру, напоминаю о деньгах.

Длинные письма-диссертации по-прежнему путешествуют между ним и сестрами. Он доверчив и многоречив.

Тем более обожгла его новость из Прямухина. Варенька, преданная душа, вышла замуж, словно ухнула головой в прорубь! После всех потрясений, насмотревшись, она привела в действительность свое давнишнее решение. Николай Дьяков, сосед по имени, простой и добрый мальчик, дворянин, улан, стал ее мужем. Он горячо полюбил свою жену. Одна беда: он не обладал «высшими устремлениями».

Мишель взбесился. Он поклялся, что разъединит их и вернет беглянку под свою руку...

— Ваше благородие! — не заходя в палатку, постучал по шесту посыльный. — Вас вызывает его превосходительство господин полковник.

Удивившись, Мишель отложил книгу. Что за спех? Он привел себя в порядок и направился в деревянный домик, где квартировало начальство. Только вчера они сыграли четыре партии на-равных, поговорили, обсудили слухи о том, что по-осени полк направлялся в Варшаву под командование генерала Паскевича.

— Садись, Михаил, — запросто обратился к нему полковник. — Что, как тебе нравится служба?

Бакунин смотрел на него молча. О чем это он? Разве не знает господин полковник направление мыслей своего взводного?

— Знаю, знаю, — вздохнул полковник. — Решусь, однако, напомнить тебе накануне марша в Варшаву, что надобно или служить, или идти в отставку.

— В отставку? — блеснуло перед Мишелем. — Разве я имею возможность получить отставку?

—хлопотное сие дело и не вдруг сладится, но ежели там по болезни, или для опеки над стариками-родителями... Отчего же не выйти?

«По болезни, — ухватился румяный, кровь с молоком, двадцатилетний офицер. — В отставку! Ура!»

В доме Бееров было, по обыкновению, шумно. В столовой, за накрытым к чаю столом сидела молодежь: сестры Наталья и Ольга, брат и несколько друзей, в том числе Николай Станкевич. Он приходил почти поневоле, по требованию Натальи, которая изводила его резкими записками. Сейчас, сидя напротив, она не сводила с него глаз. Умная, дерзкая, несдержанная, она, как и все молоденькие девушки, мечтала только о любви, но еще ни разу не испытала взаимности. Она пылала. Раньше ей нравился его друг Алексей Ефремов, потом Неверов, а сейчас ее лишал покоя Николай, его ласковые темные глаза, мягкий свет, мерцающий в их глубине.

«Любви, любви», — молили ее взгляды.

В передней раздался звон дверного колокольчика, слышались голоса. Мать из своей комнаты поспешила навстречу гостям.

Это приехали Бакунины. Поднялся маленький переполох. Гости раздевались, слуги вносили баулы и коробки. Александр Михайлович поцеловал руку хозяйке дома, отечески чмокнул ее молоденьких дочек, сына. Любаша и Татьяна тоже обнялись с соседями, которых не видели с прошлого лета.

— Ах, как выросли! Ах, как похорошели!

Новоприехавшим представили молодых людей.

На столе появились мед и сыр, дары из Прямухина. Обогащенная ими трапеза продолжалось.

Станкевич безмолвно смотрел на девушек. На Любашу. Созерцая ее, он словно безмолвно беседовал с ее душой. Их взгляды встречались, и тоже словно беседовали, переливая друг в друга удивительный свет.

Это не ускользнуло от ревнивого внимания Натальи. Вспыхнув, она выскочила из-за стола, хлопнула дверью своей комнаты. Нервически походила из угла в угол и вдруг порывисто воодушевилась новой мыслью.

В столовой убрали посуду, все перешли в гостиную. Звучала музыка, за фортепиано сидела Ольга.

— Николай, — она очутилась возле Станкевича. — Знаешь ли, что я подумала? Угадай.

Он мягко улыбнулся.

— Не берусь сказать. Увольте.

— Я уверена, что Любаша могла бы быть тобою любима. Вот! Не беда, что она чуть старше, всего-то два года. Она же тебе понравилась, да?

— Любовь Александровна — удивительная девушка, — едва нашелся с ответом Станкевич.

Со смехом отойдя от него, Наталья приблизилась к Любаше и стала секретничать с нею. Девушка вспыхнула.

Бакунины пробыли в Москве две недели. Все дни были заняты посещениями родственников и знакомых. В каких домах и с каким теплом принимали их! В каких дворцах! И фрейлина императрицы Екатерина Бакунина, родственница, оказавшаяся в

Москве, та самая, в которую в лицейские годы был влюблен юный Александр Пушкин и которую пытался обнять в темных переходах дворца, и ошибкой обнял старую княгиню, девственницу,... ах, ах, что такое, месть?!... Царь Александр I с улыбкой еще пошутил тогда, что, де, старая-то княгиня, чай, не в обиде на оплошность молодого человека?... А сейчас, в эти дни, Екатерина Бакунина оказала им щедрое гостеприимство. И везде дочери Александра Михайловича производили неизъяснимо-прекрасное впечатление. А, казалось бы, так просты, незатейливы!

Станкевич дожидался их у Бееров. Он пригласил Белинского, чтобы скрывать волнение и чтобы Висяша, Verioso (Неистовый), как любовно прозвал его Николай, тоже увидел эти прекрасные женские существа.

В 1835 году о Виссарионе Белинском в Прямухине, конечно же, было известно, как и во всей России. Его литературные обзоры и рецензии в журналах, посвященные стихам Пушкина, Баратынского, Бенедиктова, повестям Гоголя уже сделали его влиятельным критиком, а статья «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» врезалась в память читателям тем, что стала буквально убийственной для репутации журнала и его главного редактора профессора Шевырева.

У Бееров Виссарион был частым гостем. Несмотря на взрослость, двадцать четвертый год, перед женщинами он краснел и бледнел, но видеть их было для него насущной необходимостью. Конечно, на стороне, в «тех самых заведениях» за ним числились немалые подвиги по женской части, но душа его тянулась к совершенству в образе женщины.

Увидев сестер Бакуниных, Виссарион замер с открытыми глазами.

— Николай! Это ангелы, — он вцепился в его руку, потерявшийся от смущения. — Кто они? Как свеж близ них самый воздух...

— Смелее, Висяша. Смелее.

Опрометчивые слова Натальи усложнили все. Застенчивый, полный переживаний, Станкевич избегал теперь прямого общения с Любашей, боясь, как бы она не забрала в голову, что он влюблен, да еще и по указке. Любинька была еще осторож-

нее. Она берегла себя. Возможно ли мечтать о счастье после грозы, прогремевшей в Прямухино!

И все же... то взгляд, то словечко, то случайная встреча наедине в коридоре.

С Натальей Беер начались нервные припадки. На ее глазах зарождалась любовь. Бедная, она не знала цены жертвы, которую принесла!

Видел это и Александр Михайлович. Прощаясь перед отъездом, он пригласил молодого человека погостить осенью в Прямухино. Его, но не Белинского. Потомственный дворянин, Александр Михайлович уважал и оберегал свое сословие.

Лето выдалось ветреным, с ураганом. Хлеба полегли, но потом поправились, луга налились. Отошла страда луговая, полевая, огородная.

На Святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на Святой Руси.

Два приятеля, Станкевич и Ефремов, ехали из Москвы в Тверскую губернию. Ехали долго, с ночлегами. Мягким теплом заливало бабье лето лежащую вокруг равнину, убранные поля, зеленые, чуть желтеющие леса. Покачиваясь в рессорной коляске, поглядывая по сторонам, друзья беседовали обо всем на свете.

«Путешествуй с теми, кого любишь» — с улыбкой потянулся Станкевич, растягивая усталые члены, и заговорил о последней своей находке, о работе известного немецкого философа Шеллинга, его книжечке «О принципах трансцендентального идеализма», которую в подлиннике читал накануне отъезда. Ясный ум Станкевича увидел в ней новое слово философии.

Ямщик, везший их, поначалу вслушивался в разговоры молодых людей, потом, помотав головой, затаил под нос дорожную песню.

— По его мысли, — излагал Николай, — реально то, что не может быть создано одним только мышлением. В то же время природа в своей высшей потенции есть не что иное как самосоз-

вание. Субъект и объект непосредственно едины в нем, где представляемое есть и представляющее, а созерцаемое — созерцающее. Получается, что совершеннейшее тождество бытия и представления — в самом знании. Как изящно и просто!

Для Алексея Ефремова в его рассуждении не брезжил ни единый луч. Он тоже окончил университетский курс, но философия сумрачных немцев не привлекала его. «Птичий язык!» — улыбнулся он про-себя, чтобы не обижать Николая.

Тот продолжал.

— Смотри-ка, чего еще набрался я у Шеллинга. «Я» есть объект для самого себя, это способность созерцать себя в мышлении, различать себя в качестве мыслимого и в качестве мыслящего, и в этом различении вновь признавать свою тождественность. «Я» — понятие самообъективации, вне его «Я» — ничто. Это чистое сознание. Все, что не есть «Я» — объективно и созерцается извне. «Я» есть чистый акт мышления, принцип всякого знания. Но между чистым созерцанием и полным разумением лежит природа. Согласись, это мысли гения!

Закрыв глаза, товарищ молча улыбался. Станкевич смущенно кашлянул.

— Друг мой, душа моя! Извини. Я в полной мере чувствую, какое ты звено в моей внутренней жизни! Не сердись. Я тоже не считаю философию моим призванием, она, быть может, ступень, через которую я перейду к другим занятиям. У меня нет ученического трепета даже перед Шеллингом, я хотел бы только понять его, ясно увидеть ту точку, до которой мог дойти ум человеческий в свою долговременную жизнь.

— Как твоя диссертация? Геродот?

— Я бросил писать диссертацию. Прочтя шестнадцать его томов, я объяснил себе несколько этот предмет и доволен. Геродот любопытен, но его детская болтовня несносна. Он рассказывает событие и вплетает в него историю всех мест и народов, участвующих в нем, что развлекает внимание, интерес и чувство, единством которого хотел бы я обнимать каждое событие. А между тем, вставки эти иногда важны и сами по себе, но их, право, невозможно упомнить, ища главной нити в описываемом происшествии. Мой интерес к истории принял другой оборот, я ищу в

ней истину, а с нею и добра. А, право... — Станкевич вздохнул и провел рукой по груди. — Душа просит воли, ум пищи, любовь — предмета, жизнь — деятельности — и на все это мир отвечает: нет или подожди!

— Почему, Николай? Ты же говорил, что совсем здоров.

— Это Баре говорил, доктор. Он уверяет, что грудь моя обещает, по крайней мере, семьдесят лет жизни, что болезнь моя уходит... Я и сам того же взгляда, и все же трепещу при мысли, что энергия моей жизни погибнет безвозвратно, мысль, что я ничего не сделаю для людей, убийственна для сознания. Сухо, скучно и досадно. Но веселее, веселее, мы подъезжаем.

Впереди показалась березовая роща, ряды крестьянских домов с огородами, за ними сад, над деревьями которого уже светлел большой барский дом.

— У Бакунина четыре дочери? — спросил Ефремов.

— Четыре. Одна, кажется, замужем.

— Любаша Бакунина может ждать тебя? Как сердце чует?

— Не уверен. Волочиться я не способен, а для любви невысшей... о, условий слишком много.

... Та осень в Прямухино оказалась богатой на переживания. С первой же минуты, едва вошел он в дом с анфиладой комнат, с простым дощатым полом, портретом Екатерины II в гостиной и часами с боем времен Очакова, едва увидел лица, лица, молодой говор, смех и пение, устремленность к прекрасному — он стал здесь своим. Николай открылся навстречу, он искал единения с ними. О, как многое можно было сказать им, и встретить нежное веселое понимание, как радостно было смотреть на них!

Поэзия ясных осенних дней была разлита повсюду.

— Когда нет особенных причин быть серьезным, должно дурачиться от всей души. Тогда свободнее и серьезнее примешься за серьезное, не правда ли, Любинька? — с ясной улыбкой говорил он, раскачивая доску качелей. — Особенно когда все вместе, когда чувство любви располагает, тут надобно беситься, сколько благопристойность позволяет. Вы согласны?

Она была согласна, но предпочла промолчать. С той последней встречи, в сельской тишине любовь ее разгорелась. Увидя Николая, Любаша едва справилась со своим сердцем. Но его

приезд опередили сплетни из Шашкино. О них потихоньку рассказали Ефремову, а тот, конечно, открыл все другу.

— О тебе тут распространилось такое выгодное мнение, что Варвара советует сестрам беречься, как бы ты не обманул их.

— Господи! — поразился тот. — Да из чего же?

Он ничего не понимал. «Боже! — вспомнилось ему нервные усмешки Натальи. — Что происходит? Быть может, страшные угрызения совести готовятся мне на всю жизнь!»

Он был растерян. Он почувствовал себя добычей мечты и отчаяния, проходя ежеминутно через тысячи разных ощущений. Видимое равнодушие Любиньки мучило его. Он хоронил последние надежды. Потом стало легче, словно отлегло тонким слоем. И когда отчаяние уже не бушевало в душе его, он полюбил смотреть на ее ангельское лицо, хотя и не к нему обращалась она со своей небесною улыбкой. Но надежда, лукавый предатель, теснилась в душе.

Невозможно было, узнав Станкевича ближе, питать темные подозрения.

— Мы были введены в заблуждение, Николай, не сердитесь на нашу осторожность, — Варенька первая повинилась перед ним.

Она ожидала ребенка, была весела, спокойна, муж боготворил ее. Ах, если бы не разгромные письма Мишеля! — счастье было бы полным.

— Как поживает ваш друг Белинский? Мои сестры хвалят его, — продолжала она, идя возле него в обществе старшей сестры. — Его последние критики слегка запальчивы, вы не находите?

— Нахожу, Варвара Александровна, вы правы, — отвечал он, кинув взгляд на Любиньку. Она шла левее сестры, в голубом платье и синей, расшитой цветами шали, в светлых волосах аллеи цветы, искусно сделанные из шелка. — Я не одобряю слишком полемического тона у Белинского, литература — не поле боя, но если бы вы знали, сколь добра его душа и светел ум!

Варенька передернула плечами.

— В статьях своих он беспощаден.

Станкевич и тут согласился с нею.

— У него выстраданное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы. Его конек — отступления, разбираемая книга служит ему лишь точкой отправления. Стихом из «Онегина» «Родные люди вот какие..». он готов вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. А как он дразнит и терзает мелкое самолюбие литературных чиновников! Мне приходится удерживать его, когда страсти Verioso выплескивают через край.

— Виссарион Григорьевич совсем не похож на громовержца, — промолвила Любаша. — С нами он был тих и сердечен. У него особенное обаяние, оно в его глазах.

Николай с благодарностью наклонил голову.

— Я рад, что вам это открылось. Увы. Виссарион застенчив и самолюбив. Он не верит в возможность для себя семейного счастья, ему вошло на ум, что оно не для него. А между тем цыганская, кочевая, одинокая жизнь губит его.

— Он мучает себя напрасно, — Любаша задумчиво качнула головой и волосы ее, прохваченные солнцем, качнулись, как нимб. — Он соединяет в себе все условия, что быть любимым женщиной с душой.

Николай посмотрел на нее теплыми лучистыми глазами.

— Вы позволите передать ему ваши слова? — нежно проговорил он. — Для него они станут целительным бальзамом.

Варенька от избытка чувств поцеловала его в щеку.

— Вы и сами достойны любви, Николай. Поверьте мне. Я не видела вашего друга, но уверена в ваших словах. Он обещает представить читателям нового поэта, Кольцова. Вы знакомы с ним?

— О! — с восхищением произнес Станкевич. — Это дивная история.

— Расскажите же. Мы ждем. Правда, Любинька?

Станкевич посмотрел на Любашу, как бы проверяя, интересен ли разговор? Любаша встретила его взгляд и с улыбкой кивнула головой. Бог знает почему, она продолжала держаться в рамках холодноватой вежливости, сквозь которую изредка сияла ее любовь, немедленно вспыхивавшая в душе Николая. Для него это были священные и мучительные мгновения.

Варенька с негодованием корила сестру за ее сдержанность, когда оставалась наедине с нею. Для нее было очевидно, что Николай и Любаша — пара божьей милостью, и грешно, воздвигать глухую стену на пути высокого радостного сближения.

— Любаша, откройся ему, он ждет, он смотрит лишь на тебя, разве это не чудо!?

— Я вижу, но робею, боюсь слова «любовь». Я не смею, Варенька.

— Он — само совершенство! Неужели ты не видишь?

— Ах, я не смогу справиться со своим сердцем. Не торопи меня, сестра, все само скажется...

— Не скажется, будь смелее. Любаша, ты упустишь, упустишь свое счастье. Он — твоя жизнь, это же видно, явственно для всех! Приблизь его, сестра моя!

Они завернули за широкий овал, устроенный из валунов, среди которых бурлил фонтан, бывший из невидимой трубы, в которую был на минутку заключен сбегающий сверху ручеек.

— В бытность свою в Воронеже, — заговорил Николай удивительным светлым голосом, — захаживал я иногда в тамошнюю библиотеку за книгами. Там встречал бедного молодого человека простого звания, скромного и печального. Я сблизился с ним. Это был прасол, он перегонял скот и продавал его. Отец его держит в руках это дело. Сам Алексей оказался большой начетчик и любил поговорить о книгах. Я приголубил его. Вскоре застенчиво и боязливо признался он, что и сам пробует писать стишки, и, краснея, решился показать свою тетрадку.

Станкевич помолчал, слегка покачав головой. Лицо его светилось поэтической задумчивостью.

— И что? — не удержалась Варенька. — Как они?

— Я обомлел перед громадным, не сознающим себя, не уверенным в себе, талантом. Привез его в Москву. Белинский влюбился в него тотчас же и безоглядно, как один только и умеет. Сейчас он готовит о нем статью, спешит представить обществу. Пусть Россия услышит, наконец, свои чудные кровородные песни, чтобы не изошел ими певец в одиночестве, в пустых заволжских степях, через которые гоняет свои гурты.

— Ах! — умиленно вздохнула Варенька. — Как хорошо ложится на сердце! Хотелось бы услышать хоть одну его строку.

— Извольте.

Сосредоточившись, он посмотрел вокруг. На аллею, по которой они шли, на ручей, на красивую беседку в отдалении, окруженную кустами и деревьями, само увядание которых составляло новый улаждающий узор. Везде видны были созидательные труды Александра Михайловича.

Николай поднял глаза к небу, вздохнул, припоминая.

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Свою молодость
Ни на что губить?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Иль боится он
В чужих людях быть,
С судьбой-мачехой
Сам-собою жить?...

— У нашего Verioso слезы навернулись, едва он услышал.

— Да, да, — проговорила Варенька, — у меня тоже. «Иль у сокола крылья связаны..». Это мои мысли. Улететь далеко-далеко, в другую жизнь...

...Так они и бежали, веселые дни. Проводили в тверскую гимназию четырех мальчиков, всех в один класс. Старший после Мишеля, Николай, уже давно учился в военном училище. Дома оставались сестры.

Приближался отъезд. А Любаша словно в забытьи решила, что Николай останется с нею навечно просто так, без объяснений, без встречного шага с ее стороны. Николай же, видя ее ровную

приветливость и молчание на его прозрачные вопросы, прощался с последними надеждами.

Почти накануне, за полторы недели до отъезда появился Мишель.

С какой любовью встречала его семья!

Даже Станкевич был изумлен. Мишеля он видел впервые, но, разумеется, много слышал о нем здесь, в Прямухино. Однако, такое благоговение к старшему брату видел впервые, хотя в своем собственном семействе также был старшим братом.

Перед его взором предстал высокий веселый офицер с чистыми голубыми глазами, громкой оживленной речью, искрящейся шутками и умом. Он прибыл по распоряжению командования в целях «ремонта лошадей», то есть закупки лошадей для своего полка.

... И Мишель увидел Станкевича. С первых же произнесенным им слов он внутренне вздрогнул, он узнал в нем близкую душу, и понял, что встреча эта — знамение неба. «Птичий язык», на котором изъясняются любомудры всего мира, возвестил это обоим. Впервые разговаривал Мишель с человеком, для которого нравственные искания были делом жизни. И они были ровесниками, всего полгода разницы, Мишель с четырнадцатого, Николай с тринадцатого года! Только представить! В то самое время, когда Мишель расстреливал свой дар мышления из артиллерийских орудий, блуждал в фантастических построениях, Станкевич успел окончить университет, прочитать бездну книг, продумать Монбланы мыслей и стать тем, за кем, как сразу ощутил Мишель, необходимо было следовать, чего бы то ни стоило!

Мишель почувствовал, что для него наконец-то наступает новая жизнь.

— Я не опоздал! Я надеялся, нет, я был уверен, что философия может способствовать моему усовершенствованию. Надежда — основание очень зыбкое, но я приложу все силы. Скажи, Николай, ведь философия не чуждается фактов?

— Что есть факты? *Действительность* далека от обыденности, и «*факты*» в понимании конечного разума...

— Э, нет! Даже Гердер, который писал не «Историю», но «Идею философской истории человечества», должен прибегать к

фактам, как к форме мысли, необходимой для самопознания абсолютного «Я».

Среди книг Станкевича были сочинения Канта и Шеллинга.

— Вот, почитай на первый раз. Не спеши, продвигайся потихоньку.

Вооружившись словарем, Мишель погрузился в чтение. Он знал немецкий не хуже французского, но терминология... уф! Сложно, невыносимо трудно.

— Я пробьюсь к пониманию, я догоню тебя, — хмурился Мишель, напрягая мышление. — Что есть их *действительность*? Тебе ясно?

— Отчасти, — улыбался Николай, уводя начинающего адепта в сторону от сложных понятий, что бы тот сгоряча не сломал себе шею. — Мы чудно созданы. *Действительность* беспрестанно дает нам знать, что она — *действительность*, а мы все ждем чуда.

— Я всегда жду чуда, — весело рассмеялся Мишель, обращая все в шутку. — Каждый раз, когда я возвращаюсь откуда-то домой, я жду у себя чего-нибудь необыкновенного.

Станкевич удивленно помолчал.

— В самом деле? А я стыдился этого. Мы похожи с тобой.

— Ты поможешь мне на первых порах?

— Охотно. Я рад, что ты выбрал одни занятия со мною. Мы будем переписываться очень серьезно насчет них. Но твоя служба... Возможно ли сочетать одно с другим?

Мишель оглянулся по сторонам. Они сидели в «дедушкиной» беседке на вершине холма. Моросил дождь. Равнина была скрыта низкими облаками и дождливым туманом.

— Скажу по-секрету, что в полк я больше не вернусь, — произнес он приглушенным голосом. — Мне нужна личная свобода. После философских яств нет пути к солдатской каше. Любыми способами подам в отставку, вырвусь Москву, вольнослушателем в университет. Именно здесь — моя стезя, а не... ремонт лошадей. Еще нехватало!

Станкевич смотрел на него.

«Чистая благородная душа, — представилось ему по обыкновению. — Он прав. При чем тут ремонт лошадей? Думать много о вещах такого рода, значит, стоять на низшей степени человечества».

Мишель деспотически захватил Станкевича, держал перед собою каждое мгновение, не оставив тому ни одной минуты для объяснений с кем бы то ни было. Любаша увидела, что Николаю не до нее. И обиделась. Но почему? Один взгляд, открытое слово, наконец, улыбка! Счастье, вот оно, ждет тебя, Любаша! ... Нет, нет, нет... роковое молчание нарушено не было.

Вскоре Станкевич и Ефремов уехали в Москву. Станкевич увозил в душе святой образ Любиньки, ее молчание, взгляд голубых глаз, в котором чудились ему любовь и светлое понимание.

Мишель расставался с ним неохотно. Только-только встретил единомышленника, увидел себя в обществе друга, которому давно ясно то, что гнетет и мучает душу Мишеля, и вновь остаться одному! О, как хотелось сесть в их коляску, говорить, спорить, вгрызаться в новые понятия, вслушиваться в идеи Канта и Шеллинга! Истины, истины...

Но они уехали. Динь-динь-динь... валдайские колокольчики, не те, почтовые-фельдгегельские, а свои, заказные.

Стихло.

Вокруг него была его семья. Мишель внимательно осмотрел свои владения.

Варенька была замужем. Это был явный брак-побег. Он знал ее мужа с детства. Николай Дьяков был далек от того, чем жили Бакунины. Простой честный, даже некрасивый, человек, каких большинство. Охота, картишки, пирушки... Жену любил искренне и верно, и Варенька казалась счастливой в браке. Поэтому Мишель уже не ощущал ее любви к себе, ее родному брату, ее присутствие уже не прибавляло ему мощи, как раньше. И уязвленный, он принялся издевательски играть с Дьяковым, дабы уничтожить его в глазах Вареньки. Щедрым вниманием и доверием он почти влюбил его в себя, заставлял ухаживать за собой, делал его смешным, жалким, неловким. Варенька не знала, куда деваться от унижения.

Брат скверно улыбался. Он не щадил ее.

— Ты видишь, он скот и таковым останется. Я освобожу тебя. Ты убиваешь свое будущее и будущее своего ребенка. Дай же мне твою руку. Полное освобождение — вот наша цель!

Меньшая сестра, Александра, хорошенькая девушка, тоже обратила на себя его удивленное внимание своим независимым характером. Непостижимо воспитание женщин! Только что кружева и бантики, куколки и тряпочки, — и вдруг неизвестно откуда является взрослое существо с твердой волей, зрелым разумом и готовностью к деятельной жизни. Он ахнул.

— В душе ее целая сокровищница любви. Уж я постараюсь с ней сблизиться.

Никто не должен был ускользнуть от братских чувств к нему! От них он становился сильнее, обретал крепость и мощь.

С братьями у него давно была полная взаимность. Четырем гимназистам он слал письма-воззвания к независимости и внутренней жизни духа, и был удовлетворен их ответами. Старший, казалось, тоже разделял его убеждения в своей юнкерской казарме.

Оставались Любинька и Татьяна. От Любиньки ровный свет шел на все семейство, тут все было ясно. Зато в отношениях с Татьяной он, похоже, попал в ловушку... Она была моложе на два года, для него она была лучше всех. Он боялся признаться самому себе. Здесь зияла пропасть, черная бездна. Его тянуло к ней, как когда-то к Марии Воейковой, он чувствовал в ней ответный жар. Ужасаясь, Мишель боролся с самим собой, проходил по лезвию, вставал и вновь упал, обессиленный.

Дни шли, время уходило. Отец удивленно посматривал на офицера-сына. А тот тянул и тянул. Наконец, поздним вечером, когда все разошлись по комнатам, он несмело вошел в кабинет отца.

Александр Михайлович, страдая глазами, уже давно не читал при свечах. Газеты, журналы, новые и старые книги читали ему дочери и жена. Но по вечерам он любил думать в одиночестве, сидя в старинном «вольтеровском» кресле при зажженных канделябрах.

Портреты предков темно глядели со стен. На широком, покрытом зеленым сукном, письменном столе, украшенном резны-

ми накладками черного дерева, с ящиками и полочками, снабженными медными витыми ручками и замочными скважинами, теснились в бокале гусиные перья, стояла серебряная чернильница с крышечкой в виде купола римского храма Святого Петра, лежали книги с золочеными обрезами, пестревшие цветными закладками, белели счета и докладные управляющего. За толстыми стеклами шкафов поблескивали золотым тиснением ряды томов на всех европейских языках.

Эти стены слышали хрипловатый голос старого екатерининского вельможи, тайного советника и вице-президента камер-коллегии Михаила Васильевича Бакунина, бывали здесь Державин и Львов, еще слышались возгласы благородных заговорщиков братьев Муравьевых и их несчастных товарищей.

Для детей отцовский кабинет был местом почитания и притяжения. Там папенька был наедине со своим добрым гением, и даже маменька редко переступала его порог.

Постояв у двери, Михаил набрал воздуха, словно перед прыжком в воду, и вошел к отцу. Седовласый старец пронзительно глянул на него.

«Вот сейчас», — понял Александр Михайлович.

Сердце его замерло, скакнуло и стало биться с неровными переборами. Он уже не ждал от старшего сына добрых вестей.

— Садись, Мишель. Рассказывай.

Тот опустился на темный кожаный диван. Глаза его уперлись в подлокотник отцовского кресла.

— Я, папенька, пришел сказать, что твердо решил подать в отставку.

Александр Михайлович чуть не потерял дар речи.

— Как в отставку? Ты желаешь подать в отставку? — переспросил он. — Ты в своем уме, Михаил? Посмотри-ка на меня.

Тот поднял глаза. В них сверкал вызов.

— Меня не привлекает офицерская карьера, — смело продолжал Мишель. — Это был не мой выбор. Дальше я хочу жить своею волею.

— Ты попадешь под военный суд.

— Я уже послал рапорт, сославшись на болезнь.

Александр Михайлович понял, что сегодняшнюю ночь он спать не будет. Новость была на редкость безотрадной.

— Поди, подумай до утра, — он невольно захватил сердце рукой. — Утро вечера мудренее.

— Давно продумано, папенька.

— Ступай, ступай. До завтра.

Пожав плечами, Мишель удалился.

Тяжелые сцены вновь сотрясли семейство. Отец и слышать не хотел о позорной для всего рода скоропалительной отставке сына. Он грозил судом и крепостью, он звал в свидетели великих полководцев своего времени... Мишель был непоколебим. Его доводы о духовной жажде, о стремлении к внутреннему развитию и полной свободе отец отметал, как незрелую блажь незрелого ума, видя в них лукавство и позорную леность. Мишель не уступал. Его пламенные цicerоновские речи и разящая логика камня на камне не оставляли ничего от нравственных доводов Александра Михайловича.

Нашла коса на камень. Делать было нечего. Рассудив на трезвом размышлении, Александр Михайлович, в недавнем прошлом Губернский предводитель дворянства, действуя через друзей, вытащил-таки сына из армии и даже доставил ему место чиновника по особым поручения при губернаторе Твери. За это место чиновный люд бился не на жизнь, а на смерть, в поте лица выслуживался годами усердия, с утра до вечера скрипя пером в «присутствии». А Мишель занял его играючи, просто так, даже не собираясь задерживаться в заштатном губернском городишке.

В Тверь выехали на зиму. На зимние балы для дочерей, и к сыновьям-гимназистам, временно порученным заботам тетушки.

Предчувствия Бакунина-старшего горестно сбывались. Очувтившись в «казенном доме» чиновником, в чуждом окружении, Мишель запил горькую на целую неделю. Он еще утаивал всю правду, но отец уже многое понял. После множества мелких уловок и нечестностей сына, он, увы, не доверял Мишелю, и, можно сказать, смирился, что «в семье не без урода», уберечь бы от него остальных членов семейства.

В Твери ему пришлось убедиться, что забота сия неотложна. Начать с того, что мальчишки-гимназисты, юные вольнодумцы,

подпав под влияние старшего брата, уже сбежали однажды из учебного заведения в знак несогласия с преподавателем. Шуму получилось на весь город. Почтенному предводителю дворянства пришлось улаживать неприятность с попечителем, испуганным возможными карами и проверками из столицы.

Дело замяли. В дворянском собрании начались балы, сестры, сопровождаемые красавцем-братом, были в центре внимания. Но недолго длилось и это затишье. Мишель рвался в Москву. Туда, туда, к духовному обновлению, к трудам на ниве философии.

В дни Рождества он выдал, наконец, и второй залп из своих орудий.

— Я не могу более жить в семье, — заявил он отцу по-французски, после очередного празднества с балами и увеселениями. — Мне нужна личная свобода. Я не желаю погибать духовно, ограничиваясь приемом гостей, шарканьем в гостиных и сопровождением сестер на балы.

У Александра Михайловича задрожали перед глазами радужные блики, предвестники головной боли. Он призвал на помощь всю свою выдержку.

— Что же тебе мешает в родной семье? — осведомился он.

Мишель увернулся, как угорь.

— То, что я не имею от вас никакого доверия. То, что не могу быть душой семьи и положительно действовать в ее пользу, — он темнил, подыскивая благовидные предлоги, чтобы не потерять лицо и будущий кредит.

Но Александр Михайлович, ослабевший зрением и здоровьем, видел сына насквозь.

— Доверия нашего ты никогда не имел, потому что заслужить его никогда не старался, — жестко расставил он все точки над *i*. — А быть душой... я переведу тебе это по-русски. Быть может, без ведома твоего, тайной побудительной причиной возникшего между нами несогласия есть желание господствовать в семействе, и тебе обидно, что не вступили в твое подданство. Положительно же действовать в пользу родных мог бы ты, исполняя волю нашу, а не твою собственную. Горячка в душе твоей продолжается, а сердце молчит. Опомнись, образумься и будь добрым послушным сыном.

— Это невозможно. Я перешел полосу жизни, для меня настало поприще деятельности.

— Позволь узнать твои настоящие намерения?

— Уехать в Москву, — с вызовом сказал Мишель.

Александр Михайлович качнул седой головой.

— Чем будешь содержать себя? Ввиду большой семьи ты не можешь рассчитывать на крупные средства, и со временем получишь не более семидесяти душ.

— Мне много не надобно. Я стану тратить лишь на необходимое, а средства добывать уроками математики.

Отец усмехнулся. Что за юношеский бред!

— Ты хочешь показать, что для материальной твоей жизни немного тебе надобно. Худо этому верю. Ты не бережешь и легко занимаешь деньги, не зная, чем и когда платить будешь, а куда как тяжки проценты!

Он вздохнул. Сын ускользал, летел стремглав в придуманную жизнь, и всей мудрости Бакунина-старшего не доставало вразумить заблудшего. И надо ли? «Теперь их черед вопрошать жизнь и бояться смерти. Cogito, ergo sum. Поиск истины жжет сердца молодых». Он вновь покачал головой. Оно бы и благо, когда бы не дух разрушения, так явственно обозначивший себя в поведении Мишеля. Это не сулило ему удачи. Несчастный человек, что его ждет?

— Сомневаюсь, чтобы ты уроками мог получить себе безбедное содержание, но дай Бог тебе полного в этом успеха, — отец слабо махнул рукой. — Передай от меня поклон графу Сергею Григорьевичу Строганову, попечителю московского учебного округа. Он выправит тебе разрешение на преподавание.

Мишель облегченно расправил плечи. Он снова был весел и беспечен.

— Где собираешься жить? — посмотрел отец. «Как с гуся вода» — подумал он.

В глазах его стояли любовь и жалость.

— У друзей. Либо на квартире.

— Остановись у Левашовых, в особняке на Старой Басманной улице. На друзей своих не слишком полагайся, будь осторожен. Вашу философическую дружбу малейшее несогласие во

мнениях, неосторожное слово не только разрушить может, но даже превратит в ненависть, а вечно друг другу потакать, всегда остерегаться невозможно.

— Спасибо, папенька.

— Тогда последнее. На дороге, которую ты избираешь, много кочек и ухабов. Я не запрещаю тебе ей следовать, но усердно прошу не сбивать с толку меньших братьев. Не просвещай их своими советами, и предоставь мне моральное их управление. Более мне нечего сказать. Совесть твоя все тебе доскажет.

Мишель поцеловал отца руку и вышел.

«Я разоблачен и нет нужды маскироваться. И моя ли вина, что я не могу обрезать свою душу условностями привычек, приличий и обязанностей? Будущее передо мной мрачно и таинственно, а на душе светло и ясно».

Глава вторая

Особняк Левашовых на Старой Басманной улице в Москве, окруженный скромным садом и чугунной решеткой с широкими каменными воротами, состоял из главного здания в два этажа и двух флигелей. Чета Левашовых, в особенности Екатерина Григорьевна, любившая общество умных людей, жила открыто, дважды в неделю принимала своем салоне литераторов и политиков, сводя зрелые поколения с передовой молодежью.

В левом флигеле жил Петр Яковлевич Чаадаев. В его покоях царил тишина, он редко покидал кабинет, где вызревали его резкие разоблачительные статьи, нигде до поры не печатаемые.

Мишеля встретили ласково. Сынок Александра Михайловича с его офицерской выправкой, барскими манерами, остроумием и способностью нравиться всем, кому хотел, стал поначалу украшением их гостиной. Их меньший сын был его первым учеником. Однако, весьма скоро гостеприимная улыбка на хозяйских устах побледнела. Как только кончились отцовские деньги, Мишель прибег к их щедрости и раз, и другой, и неоднократно, не отдавая старых долгов, набирал и набирал новые. Это было не

по-дворянски. И вообще, приглядевшись, увидели, что Бакунин-сын — человек в общении пренебрежительный, весьма высокомерный и непочтительный. Даже внешность Мишеля перестала свидетельствовать в его пользу. Хотя в облике его и манерах сохранялось барское воспитание, но густые вьющиеся волосы его неприлично отросли и торчали во все стороны, за что получили прозвище «Орлиное гнездо на Старой Басманной» и «Косматая порода». Многие не устраивало Левашовых в беспокойном их госте.

Но не Мишеля.

Явившись с рекомендательным письмом к попечителю московского округа графу Строгонову, он получил разрешение на преподавание математики. Доброжелательность графа к отпрыску Бакунина-старшего распространилась столь далеко, что он предложил Мишелю взяться за перевод немецкого учебника «Всеобщей истории» Шмидта. Это сулило неплохое вознаграждение, не менее десяти тысяч рублей, могших поддержать молодого человека в течение долгого времени.

— Я встаю в пять и работаю до полудня; с полудня до четырех — уроки, затем я снова свободен, — сообщил он отцу. — Вначале достал я всего один урок, у Левашовых, но скоро у меня будет двенадцать уроков в неделю, и даже больше, как только известность моя укрепится. Дай Бог, чтобы спокойствие, доставляемое моим отсутствием, вознаградило Вас за все огорчения, которым я был причиною.

Александр Михайлович в далеком Прямухине печально покачал головой.

— Не хочу лишать тебя нужной бодрости для прохождения тобою избранного пути, но посылка твоя от одного урока к двенадцати и от одной недели ко всем последующим кажется мне не совсем основательной, — отвечал он издали.

Сын снисходительно усмехался.

— Все мое — внутри меня. Отец не понимает моей высшей жизни. Я работаю за десятерых, я счастлив этой работой. Мне все равно, жить ли во дворце, или на чердаке, вкушать великолепный тончайший обед или питаться черным хлебом — для меня

все едино. Наконец-то у меня есть главное — друзья и философия.

Да, теперь он был не один. Станкевич свел его со своим кружком.

На Белинского Мишель произвел поначалу неприятное впечатление. Громогласная непосредственность офицера-аристократа решительно не понравилась застенчивому, краснеющему от пустяков Виссариону, борцовская страстность которого обнаруживала себя исключительно в его статьях. Но кипение жизни в этом «офицеришке», беспокойный дух, живое стремление к истине пленили его, как и Станкевича. «Совсем пустой малый в своей внешней жизни, этот человек — высокая душа, олицетворенная сила в своей жизни внутренней,» — с удивлением насторожился Белинский.

На первых порах Станкевич засадил Мишеля за «Критику чистого разума» Канта.

— Его надобно читать, ничего не пропуская, возвращаясь к непонятым местам. Я сам не очень тверд в Канте.

Мишель с воодушевлением принялся грызть гранит науки. Однако, « сумрачный немецкий гений» отбивал все его приступы. Даже Станкевичу он не дался с первой попытки, поскольку требовал знания в подлинниках всех его предшественников и сложнейшего понятийного словаря, которого негде было достать. В немецкой философии они, можно сказать, шли по целине, были первопроходцами, ведомые жаждой всепонимания, когда кажется, что вот-вот и ты сможешь объяснить смысл и жестокости жизни, еще чуть-чуть и ты окажешься в мире уверенности и блаженства, в мире истины.

— Что, Мишель, как идут дела твои с Кантом? Кто кого одолел? — любопытствовали друзья.

— Я боюсь трудности до ее наступления, — отшучивался он, — а когда она приходит, я с ней сражаюсь. Кстати, Николай, зачем Канту нужны суждения синтетические и аналитические? Первые называет он « расширяющими», вторые « поясняющими»?

— Этим он отрицает учение Лейбница о возможности аналитически вывести всеохватывающую систему знаний из первич-

ных априорных понятий, равно как утверждает, что подобная система может строиться лишь синтетически, то есть с обязательным включением эмпирического материала, органически соединяемого при этом с априорными элементами.

Мишель обалдело мотал курчавой головой.

— Ничего, ничего, идем вперед, — вновь приступался он, заглядывая в свой конспект, — «Пространство есть ничто, как только мы отбрасываем условия возможности всякого опыта и принимаем его за нечто, лежащее в основе вещей-в-себе. Время, если отвлечься от субъективных условий чувственного созерцания, ровно ничего не означает и не может быть причислено к предметам самим по себе». Как тебе такие суждения?

Николай кивнул головой.

— Пространство и время эмпирически реальны, имея значимость для всех предметов, которые когда-либо могут быть даны нашим чувствам. Это лишь явления. Как видишь, законы природы, по Канту, подчинены высшим основополаганиям рассудка.

— Тогда он противоречит сам себе. «Чувственность и интеллект есть два основных ствола человеческого сознания, которые вырастают, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня».

— Не вижу противоречия. Есть неизвестность, оправданная состоянием науки на данный момент.

Горячий Verioso, всегда готовый схватиться за новое, откуда бы оно ни исходило, нервно вслушивался в их разговоры. Он привык жить чувствами, гениальным художественным чутьем, но область чистой мысли, где парил Станкевич, была ему неведома, а сам он, «недалекий в языках и науках», по его убеждению, стеснялся задалживать друга руководством своим развитием. Что ни говори, а скудное провинциальное детство, неряшливое воспитание, глубокая болезненность никак не способствуют внутренней свободе человека. Мучительно биться за нее в одиночку, варясь в котлах ревности, зависти, самоуничижения, в тысячах темных страстей, и терпеть язвы тайных поражений, и вкушать плоды редких одолений, ступенька за ступенькой выпрастывая себя из-под гнета духовного рабства. В этом была часть его *действительности*.

Другое дело Мишель. Он несся вперед, словно конь, закусивший удила, уверенный, что все духовные сокровища мира доступны его мысли, схватывал на лету самые абстрактные построения, которые в тот же миг обогащал собственными, неведь откуда блеснувшими идеями. И немедля делал их достоянием всех окружающих. Толковал в салонах, писал диссертации в Прямухино, развивал перед сестрами Беер.

Белинский был заморожен его способностями проникаться и передавать чужое учение, едва коснувшись его. Станкевич улыбался, Мишель посмеивался.

Вскоре Станкевич протянул новичку книгу полегче.

— Это Фихте.

Мишель погрузился в учение Фихте, воинствующего религиозно-научного подвижника Германии. Эти одежды оказались более впору.

— Жизнь есть стремление к блаженству, — усваивал он. — Стремление к соединению с объектом влечения называется любовью. Кто не любит, тот не живет. Причина всякого знания есть самосознание. Принцип всякого самосознания есть абсолютное единство бытия и знания, полное тождество субъекта (познающего) и объекта (познаваемого), без чего не может существовать и само сознание. Абсолютная тождественность, составляющая основу самосознания и является истинно действительным бытием, Божественным или Абсолютом. Полное разделение субъекта и объекта есть состояние тьмы. Полное соединение, абсолютное тождество есть состояние света. Между тем и другим состоянием может быть бесконечное множество ступеней..

О, божественный Фихте! Но далее, далее!

« Я хочу знать, свободен ли я или я ничто, явление чужой силы? Сознание вещи вне нас не есть что-нибудь большее, чем продукт нашей собственной способности представлений. Теперь ты навеки искуплен от страха, уничтожавшего и мучившего тебя, теперь ты не будешь дрожать перед представлением, которое существует только в твоём мышлении. Я сам вообще не знаю и не существую. Моя воля является силой, принадлежащей мне и зависит от меня. Хорошая воля. Свободная воля. Жизнь дана для то-

го, чтобы приобрести твердую основу в будущей жизни. Принцип нашей жизни есть абсолютная свобода воли».

Ура-а! Ура-а! Ура-а!

Эврика!!!

Теперь Мишель и его семейство с упованием стали жить под знаком божественной любви. Действовать, действовать! Это то, ради чего мы существуем. Абсолютное «Я» есть нечто совершенное, безусловное и ничем высшим не определенное. Абсолютная свобода воли есть безусловный принцип нашей жизни. Речь идет только о себе самом. Мы — не бесцельные твари. Нравственный долг человека стать свободным и достичь этого благодаря своей активной нравственности, включая обязанность уважать свободу других.

Наконец-то!

— Миша, ради Бога, переведи «Наставление к блаженной жизни» и подари нам, — просила Татьяна. — Я не буду покойна, пока у меня не будет этой книги! Хочется ее тысячу раз перечесть, особенно последнюю лекцию.

Не отставала и Варенька. Она уже растила сыночка Сашеньку, но неделями, месяцами жила в родительском доме. Это не нравилось отцу, который обвинял Мишеля в том, что тот убил в сестре чувство любви к мужу, и непрошенными хлопотами о разводе разрушает семью. Но Николай Дьяков, сердечный добрый малый, все прощал и по-прежнему безоглядно любил жену.

— Мишель, я жду «Назначение человека» Фихте, ты обещал! — напоминала Варенька.

Любаша искала в его письмах сообщений о Николае. Ах, как сожалела она о напускной холодности, которой окружила себя в его присутствии! Они тянулись друг к другу через время и расстояние, возвышенные родственные души, но как подать весть, не нарушив приличий, необычайно строгих к благородной девушке, Любаша придумать не могла.

— Ты дал нам новую жизнь, Мишель, ты помог увидеть цель нашего существования, — писала она. — И тебя здесь нет, чтобы порадоваться на плоды своего труда, чтобы разделить с нами счастье, придать нам силы и храбрости, потому что, по правде сказать, немало препятствий предстоит нам побороть.

Твое малое стадо тебя ожидает. Только не отымай у нас религию, которая является самым драгоценным нашим благом на земле.

Его ответ звенел железом, словно удар меча.

— Опять сомнения? Что же, они никогда не кончатся? Ваша истинная жизнь состоит в дружбе со мной. Никакой пощады тем, кто ее не заслуживает.

Он переживал давно не испытываемую им полноту жизни. Друзья встречались часто, и были открыты друг другу со всем пылом юности.

— Подобные знакомства необходимы для того, чтобы не потерять веры в высокое назначение человечества, — рассуждал Мишель в присутствии друзей. — Я на своем пути. Я подружился с вами, и здание моей духовной жизни уже имеет прочные основания. Но отымите опору — оно упадет. Пойдемте вместе, бодро и смело.

После Левашовых он сбежал к Станкевичу, потом снимал квартиру, возвращался к Левашовым, жил у Белинского, и занимался, занимался, выходя из дома только на уроки, читал Гете, Шиллера, Жан-Поль Рихтера, Гофмана. Его интересы охватывали историю Греции, историю христианства, всеобщую историю, его убористые конспекты с собственными замечаниями превращались в самостоятельные труды по изучаемой теме. Еще никогда не наслаждался он таким чудным, таким полным покоем. Он ощущал рай в душе. Каким великим он чувствовал себя в иные минуты!

Молодые люди сходились после дневных трудов. И с улыбкой авгуров судили обо всем на свете!

— Фихте мечтает уничтожить Зло, и уверяет, что победа Добра обеспечена, несмотря на все препятствия.

— Откуда такая уверенность? Что есть Добро?

— Любовь, если следовать Фихте.

— Но он же заявляет, что для него в мире нет решительно ничего, кроме его «Я».

— Интересно, что думает об этом фрау Фихте? — Мишель сделал испуганное лицо.

Все расхохотались. Они сидели у Станкевича в опрятной квартире, в которой за двумя-тремя дверьми помещалась кухня и

прислуга. Вечерело. Николай сидел за фортепиано и тихонько наигрывал вальс Грибоедова.

За окнами крупными быстрыми хлопьями падал мокрый весенний снег.

Скатав длинными пальцами хлебный шарик, Мишель с изощренной точностью выстрелил им в пламя свечи, одной из трех в канделябре, стоявшем на дальнем краю стола. Пламя погасло. Мишель, потягиваясь и доставая в прыжке до потолка длинным средним пальцем, принялся ходить по комнате, заворачивая в коридор, возвращаясь. Облако дыма окутывало его косматую голову.

— Друзья мои! — говорил он. — Потеряв многие годы, я наверстываю огромными шагами, и скоро, скоро истина откроется мне. Мое «Я» божественно и сознает свой божественный источник! Я хочу быть сильным, ибо мне предстоит еще многое совершить и много пострадать. Вот почему, чтобы быть порядочным человеком, мне необходимо быть в беспрестанном соприкосновении с внутренним миром. Я жажду действительности, ищу бурь и штормов. О! Другие бегают ударов, а мне нужны удары! Мое самолюбие чисто внутреннее и не заботится о внешнем, поэтому можно указать на мой недостаток без опасения меня задеть. Висяша! Заметь себе это, и не завешивайся дымом. Вот моя грудь. Где твой критический меч?

Белинский тоже курил трубку, в воздухе плавали густые клубы дыма. Прочитавший днем горы стихов и прозы, поток самых разнородных, и сносных, и скверных книг, выходявших в России этой весной 1836 года, и написавший на них множество журнальных рецензий и статей, изнемогший от трудов, Виссарион молча внимал своим друзьям, наслаждаясь самим присутствием среди них в этой квартире.

Услышав последнее заявление, он прищурил глаза. Это не сулило продолжения самодовольного философствования, на которое был настроен Мишель. Белинский был резок, это давно ощутили все, кого коснулись его критики.

— Иными словами, — усмехнулся он, — желаешь ты сказать, что, мол, кто же мне скажет правду, если не друг? И говоришь о порядочности?

— Отвечаю — да.

— Изволь. Тогда скажи-ка, друг-Мишель, что думает твое божественное «Я» о необходимости быть честным человеком, которая для тебя более нежели для кого-нибудь насущна?

— Фактецов, фактецов, Висяша.

— Недалеко ходить. Ты, Мишель, составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего за чужой счет. Ты в долгах по уши. Левашовы отказали тебе в последний раз вовсе не потому, что у них нет, но потому, что ты берешь без отдачи.

— Я им отдам. Этот долг мучает меня, ты прав. Сколько опрометчивых поступков сделано за короткое время! — Бакунин запустил пальцы в волосы и закатил глаза.

— Так. Ты умеешь признавать свои недостатки. Это хорошо. А известно ли тебе, что матушка Ефремова, у которого ты взял шестьсот рублей, готова употребить твои записки к нему как векселя?

— И ему отдам.

— А Каткову?

— Всем отдам. Мне должны за перевод «Всеобщей истории».

— Вот и приехали. Ты взялся для графа переводить книгу, назначаемую для учебных заведений, следовательно, требующую труда честного, добросовестного, отчетливого. Так ли?

— Ну, так. А что?

— А то, что как я посмотрю, такого рода труды — не твое дело. Ты раздал книгу друзьям, сестрам, братьям, Аксакову, Каткову, из чего должен выйти перевод самый разнохарактерный, потому самый бесхарактерный. Долги твои растут, как снежный ком. Скажи, неужели это не мешает твоей внутренней жизни?

— Нисколько. Душа моя спокойна и сильна.

— В таком случае, ты слишком высок для меня, Мишель. Ты не хочешь слышать о гривенниках, но хочешь иметь их. Это бессмысленно.

Мишель добродушно посмотрел в глаза Verioso.

— А ты-то сам, Висяша? — с кошачьей мягкостью произнес он. — Признайся и покайся.

— Я еще хуже, — согласился Виссарион. — Но я тружусь и тружусь, я бедствую незаслуженно. На меня никто не смотрит, как на попрошайку, а на тебя это обвинение пало, как проклятие.

— Меня не интересует мнение других людей.

— И все потому, что ты не ...

В эту минуту музыка оборвалась, Николай встал между ними, с улыбкой направив от себя указательные пальцы.

— Керата — таурис! Рога — быкам!

Все рассмеялись. Был уже поздний вечер. Угощение давно остыло, тонкие ломтики рыбы и хлеба подсохли, бутылка легкого «Рейнвейнского» была пуста. Кликнув прислугу, хозяин распорядился обновить стол и поменять оплывшие под абажуром и в канделябрах свечи.

— Как-то поживают Бееры? — спросил он. — Давно я у них не бывал.

Белинский весело прищурился, прихлебывая ароматный сладкий чай.

— Можешь приходить без опаски. Теперь от Натальи бежит сам Бакунин, — кивнул он в сторону Мишеля. — Что молчишь, Дромадер?

Мишель откинулся на диване с довольной улыбкой. Наталья с Ольгой, наравне с его родными сестрами в Прямухино, давно стали его послушницами. Он проповедывал им каждую прочитанную и пришедшую в голову мысль. О любви истинной, любви божественной, небесной! И делал это с таким блеском, что девушки, в особенности легко воспламеняющаяся Наталья, с добровольным суеверием исполняли каждое его повеление. Разумеется, все оставалось в рамках приличий, на которые Мишель, в отличие от Натальи, почти никогда не покушался. Почти. Его мечта о тайном братстве духовно и кровно-близких людей, *сестер и братьев*, согревала глубины его души.

— Я собираюсь произвести переворот в сестрах Беер, — ответил он.

Белинский пожал плечами.

— Охота же тебе преследовать людей в качестве ментора! Ты и фихтеанизм принял как род робеспьеризма, и в новой теории почувствовал запах крови. Остановись, Миша!

Мишель замер. Как пронизателен Verioso! Ведь только вчера Мишель отослал с мальчиком длинное письмо Беерам и теперь выжидал, чтобы оно подействовало. Как-то они встретят его завтра!

— «Я вам пишу! — заключалось в том послание после исповедальных порывов и призывов к бескорыстному духовному подвигу. — Я вам пишу! Понимаете ли вы всю важность этого дела? Я! Михаил Бакунин, посланный провидением для всемирных переворотов, для того, чтобы свергнуть презренные формы старины и предрассудков, вырвав отечество мое из невежества и деспотизма, вкинуть его в мир новый, святой и гармонию беспредельности — я вам пишу! Ваша непоколебимая вера в меня придала мне силы, чтобы вести вас к истинной пристани!»

Пораженный словами Виссариона, Мишель вскочил и стал прохаживаться взад вперед в облаке дыма. Виссарион заглянул в него слишком глубоко, слишком! Это необходимо чем-то немедленно прикрыть. Вот! Вчерашняя встреча пришла на ум. Он было открыл рот, чтобы рассказать о ней, но его опередил Николай.

— Есть ли вести из Прямухина? — поинтересовался он. — Что пишут тебе сестры?

В осторожном его вопросе скрывались тайные смыслы, он хотел услышать о Любиньке, о том, помнит ли она, думает ли о нем? Но Мишель, столь чувствительный к сменам настроения внутри себя, был, в отличие от друзей, поразительно глух к душе чужой; в словах Николая он нашел лишний повод поговорить о себе.

— Сестры не понимают меня, — ответил он хмуро. — Они привержены долгу, и не могут понять, что долг исключает любовь. Отец же твердо уверил себя в том, что я эгоист, что считаю себя гением и не способен любить... Я-то знаю своих сестер и не ошибаюсь, но там опять сомнения! Я не доволен ими. Нужен долгий, полный, даже страшный разговор, который бы перевернул душу, потряс сердце и разрушил железную стену и железные двери, которыми они себя окружили.

Николай молча смотрел на него с дивана, куда пересел от фортепиано. В эти весенние сырые дни он чувствовал слабость, никуда не выходил, и лишь присутствие друзей исполняло его радостью.

— В твоих словах нет любви, — заметил он, отводя ото лба черную прядь волос, — это апостол Павел с мечом в руке. Они так любят тебя, Мишель! Я был поражен, как боготворят тебя твои сестры!

— Да, Дромадер, ты счастливчик, каналья, тебя любят чудные святые создания, — не без зависти поддержал Verioso. — Только не передавай им своих идей, не портить их. По-совести говоря, мы больше горды своими убеждениями, чем счастливы ими. Мысль не для женщины. Чувство — вот ее царство.

Мишель выбил золу из трубки, набил свежего табаку, наклонился и раскурил от свечи. В разговорах о сестрах его позиция всегда была самая выигрышная. Таких сестер не было ни у кого.

— Женщинам доступна вся полнота истины так же, как и мужчинам, — бросил он свысока. — А между тем, женщина всегда раба. На удивление!

— Мы говорим о любви, — порывисто возразил Виссарион. — В ней нет места рассудку. Женщина — поэт, когда любит. Мысль есть погибель для нее, уничтожение ее врожденной гармонии. Чувствовать, чувствовать должна женщина! — Белинский даже вскочил на ноги.

— Ты готов заковать женщин в цепи, Висяша! Женщины и так ограничены в своей свободе, *действительность* для них подобна тюрьме, — отбил Мишель. — Для них невозможно гулять в одиночестве, нельзя учиться, предаться мысли, чувству. Как выдерживают и ухитряются быть счастливыми мои сестры — самая непостижимая загадка!

— *Действительность* есть чудовище, вооруженное железными когтями и огромной пастью с железными челюстями, — с надрывом прокричал Белинский, потрясая руками. — Рано или поздно, но пожрет оно всякого, кто живет с ним в разладе и идет ей наперекор. Чтобы освободиться от него и вместо ужасного чудовища увидеть источник блаженства, для этого одно средство — осознать *действительность*. Дано ли это женщинам? Их спасение — в чувстве, только любовь — их рай.

Николай смотрел на него мягким лучистым глазами.

— А скажи, Verioso, закончился ли твой роман с тою... гм-гм, — спросил Станкевич с нежным проникновением в голосе и кашлянул, то ли не решаясь выговорить слово, то ли от густого табачного дыма, которым обильно потчевали его друзья.

— Гризеткой? — потемнел Белинский. — Мы расстались. Чувственность, все животное опротивело мне.

Выпуская из горла колечки дыма, Мишель с важностью хранил молчание в своем углу, потом сказал, думая скорее всего о Наталье Беер.

— Женщина, если не понимает любви, если пресмыкается... для них нет спасения.

Друзья переглянулись.

— А ты-то, друг-Мишель, разделался-таки со своей глупой невинностью, с которой носился, как курица с яйцом? — спросил Виссарион с улыбкой, от которой дрогнули тончайшие мышцы его некрасивого лица, сделав его прекрасным. — Я бы несказанно обрадовался этому, ей-Богу! Это был бы первый твой шаг в *действительность*, и он, верно, придаст тебе мягкости и человечности, отняв сухость и жесткость.

Глаза Мишеля неприятно сверкнули. Чуткий Белинский спохватился.

— Ты сердишься? Если так — отрекаюсь от каждого слова. Мишель! Скажи, что ты не обижен.

— Я не обижен, Висяша.

— А коли так, пойдем к девкам. Я там бываю. У Никитских ворот. Вот, кстати. В моих глазах, женщина, принадлежавшая многим, есть женщина развратная, но гораздо менее развратная, нежели женщина, которая отдала себя на всю жизнь по расчету, или женщина, любив одного, вышла за другого из уважения к родительской воле.

Бакунин задумался, потом вздохнул.

— Я был спасителем моих сестер, я им открыл истину. Но Варенька... Чистой девушке оказаться в объятиях мужчины... ужасно! Брак по рассудку есть проституция. Невыносимо думать об этом! Я продолжаю хлопоты о разводе. Но странно: кому не расскажу, все заключают, что Варвара с мужем любят друг друга, а я, деспот, разрушаю их счастье!

— Возможно, сейчас она уже переменяла мнение. Стерпится- слюбится, как говорит народ.

— Не-ет! Он скот. А ей должно думать о будущности ее сына и о своем собственном.

Лежа на диване с бархатной подушкой под головой, Станкевич следил за таинственными тенями, скользившими в освещенном круге на потолке, имевшими причиной колебания пламени и сгущение табачного дыма. Он чувствовал, что дым нехорош для его груди, но не стеснял курильщиков.

— Как не ошибиться в любви? — тихо проговорил он. — Сколько великих людей ошибались в ней. Ты проводишь ночи с животным, которое потом назовешь матерью своих детей. Висяша, что ты скажешь?

Белинский с кривоватой улыбкой покачал головой. Белесые жидкие волосы его, подрезанные чуть ниже ушей, слабо качнулись.

— В любви высокой я не судья, — болезненно усмехнулся он. — С отроческих лет меня преследовала мысль, что природа заклемила мое лицо проклятием безобразия, отчего меня не может полюбить ни одна женщина. Я не верю в семейное счастье. Что мне остается? Вне любви женщины для меня нет жизни, нет счастья, нет смысла.

— Любовь Александровна, напротив, находит, что ты соединяешь в себе все условия, чтобы быть любимым женщиною с душой. Можешь представить, с каким чувством я это слушал.

— Благодатная весть ангела!... — Виссарион посмотрел на Мишеля, отыскивая в его лице родственные черты Любиньки. — Одно страшит меня: это то, что при виде женщины или промелькнувшего женского платья я уже не краснею, как прежде, но бледнею, дрожу и чувствую головокружение.

Мишель слушал его рассеянно. Вчерашнее впечатление просилось на язык.

— Намедни посетил я мудреца Чаадаева, — сказал он.

— О, интересно! И что же? О чем был разговор?

— Мы размышляли о безгосударственной, неполитической природе русского народа, отмечая то удивительное обстоятельство, что наш народ, единственный в Европе, не имеет потребности

в законченных, освященных формах бытия. Господин Чаадаев полагает, что мы, русские, никогда и не шли вместе с другими народами, и не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, поскольку не имеем традиций ни того, ни другого, и словно бы стоим вне времени, — говоря, Мишель стал в позу оракула и даже поднял правую руку. — Итак, по его мнению, всемирное воспитание рода человеческого на нас не распространяется.

— Он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол? — улыбнулся Станкевич. — И одет со всевозможным тщанием?

— Со всевозможным, о, да! А я весел и шутлив, по обыкновению. Его ответные шутки были полны горечи. В Москве, говорил он, каждого иностранца водят смотреть на большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, заключил он, в котором достопримечательности отличаются нелепостью!.. Присутствовавшие шуты удостоили его аплодисментами.

— Я говорил с ним, — улыбнулся Станкевич, — мы беседовали о Шеллинге, с которым он сблизился в бытность свою в Германии. Это знакомство, вероятно, много способствовало, чтобы навести его на мистическую философию, которая развилась у него в революционный католицизм.

— Как он уцелел? — тихо спросил Белинский. — Наверняка, он был членом «Общества...»?

— Очевидно, был. Его спасло отсутствие. После отставки он жил в Германии и лишь недавно возвратился. Он отымает надежду, лишая Россию истории. Но самая мысль его стала мощью и имеет почетное место, — рассудил Станкевич.

— Я бы не согласился с тобой, Николай, насчет безнадежности, но не готов это доказывать. Надежда есть, но страшная...

И Мишель обернулся к Белинскому с видом дарителя.

— Между прочим, Висяша, Пушкин бывает у него всякий раз, как наезжает в Москву. Чаадаев показывал небольшое пятно на стенке над спинкой дивана: тут Пушкин прислоняет голову!

Белинский погрустнел, глядя на трепетный огонь свечи. Губы его сжались, выражая сильную внутреннюю работу.

— Сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву печально без меры, — вздохнул он, наконец. — Между ними не только их жизнь, но целая эпоха. Пушкин-юноша говорит другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Но заря не взошла, а взошел... мы знаем, кто. И Пушкин пишет:

Чадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Белинский со стоном оперся локтями в колени и совсем повесил голову. Глаза его увлажнились.

Мишель взглянул на него с оттенком снисходительности и продолжал.

— Мы долго говорили о прогрессе рода человеческого, коего он провозгласил себя руководителем и знаменосцем. Он живет отшельником, в обществе появляется редко. Тем не менее, в его кабинете толпятся по понедельникам как «тузы» английского клуба, так и модные дамы, генералы. Все считают себя обязанными явиться в келью сего угрюмого мыслителя и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь словцо, сказанное им на их же счет. Он очень хорошо дает чувствовать расстояние между им и ними. Были там и молодые люди, странная помесь полнейшей пустоты и огромных притязаний. Когда заговорили, что привыч-

ка есть основание всякого чувства, тут-то я излил желчь на это стадо бездушных существ.

— Bravo, Мишенька!

— Между прочим, Николай, Чаадаев не любит признавать превосходство других.

— Не твое ли, друг мой?

Мишель не ответил и стал напевать мелодию из «Роберта-Дьявола». Потом с высоты своего роста наклонился над погрузившим Белинским и вкрадчиво произнес.

— А знаешь ли, Висяша, что господин Чаадаев готовит для тебя сюрприз.

Виссарион вскинул глаза.

— Для меня?

— Он работает над «Философическими письмами», кои намерен разместить, вероятно, в «Телескопе» Надеждина.

— У нас? В каком номере, он не сказывал? Это загодя делается. Я бы знал.

— Значит, еще не готово. У нас была длительная беседа. Мы простились далеко за полночь.

— Означает ли это, что тебя-то, Мишель, он отличил? — Станкевич весело блеснул глазами.

— И все потому, что я, подобно Коту Мурру, кушал с большим аппетитом, — отшутился Бакунин.

— Умеешь ты, Мишенька, явиться с лучшей стороны и не ударить в грязь лицом, — хлопнул его по спине Белинский, подымаясь.

Часы пробили полночь.

— Пора по домам? До завтра, Николай!

Слуга вышел посветить им за дверь. Они спустились по лестнице со второго этажа и вышли на Дмитровку. Редкие фонари тускло освещали темную рыхлость мартовских сугробов, замешанную вместе с конским навозом. Завернутая в теплый плащ длинная фигура Бакунина и низкорослый Белинский в картузе и еще в студенческой шинели двинулись вниз, чтобы разойтись на Петровке. Первому — насквозь вниз и вверх, к Мясницкой на Басманную, другому тут же, в переулок.

- Висяша, не надобно ли тебе денег? — спросил Мишель.
— Мне прислали. Сколько хочешь?
— Сколько можешь?
— Сто пятьдесят рублей.
— Ого! Давай. На какой срок?
— Бесконечность.

Они расстались. Белинский заспешил на свою квартиру к двум братьям, которых выписал из дома, из Чембара, чтобы оградить от семейного безобразия и подготовить в университет. Уроки истории давал им сам Станкевич, грамматику и словесность втолковывал Виссарион, математике учил Бакунин. Отроки были бойкие, но запущенные, уже познавшие вкус вина и хмельного разгула. Кроме статей, рецензий, уроков и прочего, Белинский составлял учебник «Грамматики русского языка», где вводил собственные разделы и деления, и который намеревался издать за хорошие деньги. Деньги, деньги... О, как он знал им цену! Но знал и себя, собственные загулы со швырянием денег целовальникам и румяным московским девкам.

Мишель отшагал уже половину пути, поднявшись к Лубянским улицам, на Мясницкую. Что-то странное происходило в нем. Все было смешано в душе, мысли, чувства и чувственность, как будто он возвратился в первобытный хаос мироздания. Все превратилось в болезненное страдательное положение. В его существе вдруг очутился какой-то неожиданный, непонятный объект, а субъект уже начал сбиваться. Туманом и болью заволокло существование, но бежать было можно, и мыслить тоже. Кое-как добравшись до своей комнаты, он выпил подряд несколько рюмок вина. Объекта и субъекта не стало.

Наутро он проснулся в благоразумном и твердом расположении духа. Энергия быстро восстанавливалась в нем. Это происходило особенно мощно, когда участвовали сестры, братья, друзья. Может быть, оттого он и писал по три-четыре объемистых письма в день, и строго следил за своевременностью ответных посланий: потоки любви и внимания иссякать не должны!

С приближением лета врачи посоветовали Станкевичу принять лечение на минеральных водах Кавказа. Здоровье его не улучшалось. Он тосковал, ему хотелось подальше. Беспредельные усилия над собой, беспредельные сомнения в себе, занятия, цель которых еще далека — все это бременем ложилось на душу. Искусство театра привлекло его внимание, стало его атмосферой и утешением.

— Прекрасное в моей жизни не от мира сего, — грустно улыбался Станкевич.

Вместе с ним зорким безошибочным взглядом всмотрелся в театральное действие и Белинский. Многие суждения Николая легли в основу его театральных статей. В обзорах появились статьи об игре Мочалова и Щепкина. Датского принца Гамлета вдруг озаботили вопросы избранности и свободы воли. «Почему именно *Я* должен вступить в противоборство?» Университетская молодежь обеих столиц, передовая общественность провинций с нетерпением ожидала каждый номер «Телескопа».

— Белинского есть статья?

— Есть!

И толстая книжка журнала читалась до дыр, до лохмотьев.

Белинский стремительно набирал известность, слава его росла. Но денег не прибавлялось.

Накануне отъезда Станкевич собрал друзей. Бакунин, Белинский, Ефремов, юный Катков, Клюшников, Аксаков, молодые таланты, тяготевшие к гармоничной личности Станкевича. И ничего плохого в том, что в последнее время Константин Аксаков стал уходить к «славянству», подальше от «немцев», «западников» с их философскими откровениями, если в этом его дорога; прощальный вечер был по обыкновению весел, все дурачились и бесились, «сколько благопристойность позволяет». Наконец, угомонились, стали прощаться, расходиться, ушли, кроме Мишеля, Виссариона и Александра Ефремова.

— Ты, Мишель, где проведешь лето? — спросил Станкевич.

— В Прямухино. Я уже отослал туда книги и чистые тетради.

— Что за книги?

— О, много, полный ящик. Верный рецепт для того, чтобы в скорое время погубить и отравить души прекрасных молодых людей, моих братьев. По списку тридцать названий. Всеобщую историю» по Геерену, «Логик» Круга, «Фауста» Гете, «Наукознание» Фихте. Отец смирился с образом моих мыслей, и ничто не мешает моим занятиям. Хватит до осени.

— Твои сестры и братья будут там?

— Они ждут меня.

— Счастливчик. А ты, Висяша, куда отправишь стопы?

— Я... да черт знает, куда я. Не знаю, — отрывисто, со злобой огрызнулся Verioso.

Перемаргивая мокрыми ресницами, он с ненавистью облокотился о подоконник и стал смотреть вверх, на светлое вечернее небо мая. Ему представились опустевший город, летняя жара, опостылевшая комната в редакции с ворохами пыльных книг и журналов, этого безжалостного печатного потока, против которого он становился своей жизнью и грудью. И рези в желудке, острый кашель... Губы его сжались.

Румяный Мишель смотрел на него чистыми голубыми глазами и морщил лоб, додумывая мысль.

— Висяша! Я приглашаю тебя в Прямухино.

Белинский вздрогнул.

— Что?! Меня? — вскрикнул он.

Мишель шагнул к нему, изящно склонил голову и прищелкнул каблуками. Непослушная улыбка светилась на его лице.

— Милостивый государь Виссарион Григорьевич! Умерьте свой пыл и соблаговолите меня выслушать. Я имею удовольствие пригласить вас посетить мой дом в имении Прямухино. Ручаюсь при этом, что у моих родственников вы найдете самый теплый и радушный прием.

Виссарион молчал. У него потемнело в глазах, земля, казалось, зашевелилась под его ногами. Хоть он и не признавал неравенства, основанного на правах рождения и богатства, а признавал неравенство, основанное на уме, чести и образовании, и заявлял, что среди любой знати назовет своим другом поэта-прасола Алексея Кольцова, — в глубине души он и непрестанно сражался с аристократами, и с восхищением и завистью призна-

вал их высочайшую культурную миссию. Голова его пошла кругом.

Станкевич уловил его состояние.

— Соглашайся, Висяша. Я уверен, эта поездка будет иметь на тебя благодатное влияние. Отдохни от своей скучной, одинокой, бурлацкой жизни, — Николай подошел и обнял друга за щуплые плечи. — Друг мой Verioso! Ты, полный благородных чувств, с твоим здоровым свободным умом нуждаешься в одном: в опыте не по одним только понятиям увидеть жизнь в благороднейшем ее смысле, узнать нравственное счастье, возможность гармонии внутреннего мира с внешним — гармонию, которая для тебя кажется недоступною, но которой ты веришь. Как смягчает душу эта чистая сфера кроткой христианской семейной жизни! Семейство Бакуниных — идеал семьи. Можно представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры Божией! Нам надо ездить туда исправляться.

Белинский глубоко-глубоко втянул воздух.

— Мишель! Приходи ко мне завтра пораньше. Я буду один, а встаю я рано, в пять часов. Поговорим.

На другой день Станкевич уехал. Ни слова не было сказано о его чувствах, но все знали, что если на обратном пути он заедет в Прямухино, то сделает это ради нее, Любаши.

Эти три летних месяца не ознаменовались для Мишеля ничем выдающимся. В привычный для него премухинский рай он вступил в начале июня, один, со своей трубкой и гривой нечесанных волос, громогласный, веселый, полный головокружительных вселенских идей. Белинского и Ефремова ждали через месяц. Мишель сразу и серьезно засел за книги. Кипа записей его росла не по дням, а по часам. Он был на редкость силен духом и уверен в себе.

По-прежнему боготворили его сестры, а подросшие братья смотрели в рот и засыпали вопросами. Александр Михайлович с прежней твердостью вел хозяйство и был любовно почитаем своим семейством. Его манеры и убеждения не позволяли ему произносить вслух многое, что резало его слух в речах старшего сы-

на и нарушало благопристойный выверенный обиход. Прислушиваясь к молодым разговорам, сидя по вечерам в своем кабинете, он ощущал и сколь безнадежно отстал от новых времен, и сколь постоянна, оказывается, нравственная природа человека. Поиск истины и страх смерти суть движители ее. *Глагол времен, металла звон!...*

Мишель был мягок и по обыкновению весел. Он наслаждался. Впереди маячило нечто, неясное еще и самому себе. Берлин! Гнездо немецкого философского духа. Но тс-с! Никто не должен знать об этом...

И все же было, было в том лете нечто таинственное, жуткое. Темно-голубые глаза Татьяны... Они чуть не привели его к полному крушению, овладели всем его существом, сделали жалким рабом, предметом сострадания остальных сестер. Это был ад, ад, со всеми его ужасами!

Наконец, брат и сестра объяснились.

Они шли вдвоем вдоль тихой Осуги по цветущему некошенному лугу. Жужжали шмели, в болотистых старицах поквасивали лягушки. Татьяна собирала букет для столовой, Мишель помогал. Он протянул ей синий-синий колокольчик.

— Совсем, как твои глаза, Танюша, — он боялся коснуться ее руки.

Оба остановились, молча глядя друг на друга.

— О, Мишель, — глаза девушки были полны слез. — Если бы ты не был мне братом, я полюбила бы тебя глубоко и верно. Я одна понимаю тебя, мой бесценный Миша. Но судьба против нас. Покоримся Божьей воле.

Мишель разрыдался, даже опустился перед нею на одно колено.

— Бедная моя девочка! Если бы ты знала, как я тебя люблю! Увы. Законы осуждают нашу любовь. Не далось нам с тобою счастье.

С этой минуты обоим стало легче.

Вскоре друзья известили о своем приезде. Мишель выехал им навстречу, послав впереди себя приветственную записку.

-> Пронеслась весть о приезде высокоименитого критика. Затрепетала наша тверская литература!»

... И для Белинского настала пора очистительных потрясений.

Подобно Станкевичу, он вошел в дом с анфиладой скромных комнат с часами и парадным портретом Екатерины II, увидел лица, лица... Созидательный дух Бакунина-старшего был везде и во всем. И в саду, простом и прекрасном, с его аллеями, дорожками и лужайками, с величественными огромными деревьями, прозрачными бассейнами и ручьями, и в простой и прекрасной церкви — светлом храме, где душа радостно трепещет присутствием божества... и в тишине мирного сельского кладбища с его поэтичной полуразвалившейся часовней и унылыми елками, во всем этом рае, который создала живая и возвышенная любовь к природе, и которую называлась Прямухино.

— Виссарион Григорьевич, идемте петь хором, — младшая из сестер, Александра, стоя на траве, крикнула ему в окно второго этажа.

За прошедшие несколько дней девятнадцатилетняя Александра, преодолев робость перед ним, стала его опекуницей. Ей, молоденькой девушке, как в былые годы ее матери, лестно было испытывать свои чары на молодых людях. Но в отличие от *tata* она не видела вокруг себя блестящего круга поклонников-кавалергардов, росла в глуши, которую не находила романтической, и обладала трезвым ясным умом.

— Почему я не могу уезжать и приезжать, подобно Мишелю и всем братьям? — размышляла Александра. — Почему молодые люди, бывающие у нас, говорят со мною о пустяках, словно с ребенком, и замолкают каждый раз, едва возникнет серьезная тема? Один Мишель видит в нас ровню и посвящает в передовые учения.

Увидев Белинского и убедившись, что увлечение им ей не грозит, она решила превратить его в своего поклонника. Подобного коварства восторженный простодушный Белинский предполагать не мог.

— Пошли, Висяша, — поднялся Мишель, сидевший тут же, в маленькой комнате Белинского. — Сейчас будут исполнять папенькину поэму «Осуга». Она обнимает чуть не сорок лет его

жизни в имении. А чтобы ты мог участвовать, тебе вручат слова последней главы, быть может, с упоминанием твоего приезда.

Они сбежали вниз.

Портрет императрицы в полный рост украшал светлую комнату. Царственная особа в накинутом на плечи облачении из горностаев и соболей держала в руке свиток «Законов»... На противоположной стене возвышалась до потолка печь с изразцами, посередине гостиной стоял рояль, а между двух окон протянулся длинный и пухлый кожаный диван, человек на восемь сразу, с узорной по верху спинкой. В ближнем углу размещались книжные шкафы и письменный стол. Часы с боем, темные, напольные, под сенью пальмового дерева украшали собою дальний угол. Полы в доме были дощатые, дубовые. Натертые воском, они мягко лоснились.

— Виссарион Григорьевич, Саша, идите ближе. Варенька, начинай.

Раздались первые аккорды. Все запели.

Белинский замер. Девушки пели стройно и воздушно, на голоса, поглядывая на него, улыбаясь ему. Юноши-братья, их было трое, вели свою партию, словно оттеня сестер. К ним умело присоединились Мишель и Ефремов, поглядывая в листок со словами. Виссарион молчал. Он ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире, окрест него все дышало гармонией и блаженством, и эти гармония и блаженство частью проникли в его душу. После «Осуги» пели «Оду к радости» Шиллера.

— Виссарион Григорьевич! — снова посмотрела на него Александра. — Вы не пели. Вам не нравится Бетховен или Шиллер? Вы же писали о Шиллере.

— Я...простите... в немецком не силен, — покраснел и запутался Виссарион, едва удерживая себя на месте, чтобы не убежать в спасительную комнату наверху.

— Сестренка, — вмешался старший брат. — Сила Белинского в его статьях. Воздух Прямухина оказался для него столь благотворен, что уже на третий день по приезде наш гость засел за новую работу.

— Расскажите, — попросила Татьяна.

Белинский перевел дыхание.

— Это будет моя лучшая статья, — заговорил он, глядя в ее темно-голубые глаза и успокаиваясь. — Она уже закончена, я с удовольствием прочту вам и ее, и все последующие. На сей раз я взялся за рассуждение по поводу книжки Дроздова «Опыт системы нравственной философии». Я убежден, что поэзия есть бессознательное выражение творящего духа, и что, следовательно, поэт в минуту творчества есть существо более страдательное, нежели действующее, и его произведение есть уловленное видение, представшее ему в светлую минуту откровения свыше, следовательно, оно не может быть выдумкою его ума, сознательным произведением его воли. Вам известно, Татьяна Александровна, что мы с Мишелем посвятили вопросам нравственного...

— Хо-хо! Я знаю кое-что за Виссарионом и могу сказать ... — вдруг ухмыльнулся Мишель.

Виссарион мгновенно взмок до нитки. Нечто страшное выглянуло из слов Бакунина. Он смолк на полуслове.

— Мы слушаем вас, Виссарион, — ласково проговорила Любаша.

Она, Любинька, видела в нем друга Николая. Ах, как он любит Станкевича, как восхищается им! И как же иначе!

Свет ее улыбки возвратил Белинскому самообладание. Он заговорил вновь, воодушевляясь и забывая свою робость. Изредка сам патриарх Александр Михайлович возражал ему с изысканной старомодной учтивостью. В былое время он спорил с Карамзиным, не уступал и Державину... Белинский почуял в нем мощного собеседника, увлекся сильным жаром в этом поединке, видя перед собой одну только истину, воздвиг в ее честь величественный храм... и сам Александр Михайлович не удержался от аплодисментов.

Потекли дни. Прекрасные и странные дни отчаяния и блаженства. Молодые люди много работали. Белинский писал одну статью за другой, читал их в гостиной. Юная Александра стала его критиком. В замечаниях ее было столько ума, что Verioso слушал ее, слушал... и влюбился. Теперь к его отчаянию добавились муки любви.

Отчаяние же было ужасное. Сравнивая свои порывы с этой жизнью ровной, без падений, с прогрессивным ходом к совер-

шенству, он ужаснулся своего ничтожества. Не видя сестер, он чувствовал внутри себя пожар, лихорадку, и думал, что их присутствие успокоит его душу. Он сбегал вниз, и снова видел их, и снова уверялся, что *вид ангелов возбуждает в чертях только сознание их падения*. Случались целые дни, когда он перебегал сверху вниз и снизу вверх, искал общество и, находя, бегал от него. В порыве отчаяния он бросался на кровать и заливал подушку слезами.

— Висяша, что с тобой? — Мишелю не нравились эти порывы.

Сам Мишель находился в ударе. Он чувствовал себя великим. История человечества приоткрывалась ему с отдаленных трансцендентальных высот, он ощущал движения народов и прозревал в них единую волю.

— Я разделяю мнение Гердера о самоценности всех национальных форм культуры, каждого исторического состояния, — излагал он плоды дневных трудов, сойдя в гостиную. — Пусть человечество движется широко, со всеми наличными возможностями в соответствии с условиями места и времени. Но... — Мишель поднял указательный палец и не без превосходства, уже не замечаемого им, оглядел слушателей, — если бы на землю ступил всего один-единственный человек, то цель человеческого существования была бы уже исполнена в нем!

— Ты хочешь сказать, что существование — это цель, а цель — это существование? — недоверчиво вступил Белинский.

— Отвечаю — да! А человечество в целом свершает путь к...

Их спор прервала музыка. Варенька села за рояль и заиграла septuo Бетховена. Слезы восторга выступили на глазах Белинского, и он удивился им. Он, *варвар и профан* в музыке, трепетал от звуков, которые так неожиданно и сильно заговорили в его душе. А ведь в иное время, тяжкое, тупое, он даже в Пушкине, в Гамлете видел одни только буквы. Каково!

Мишель тоже едва дышал, устремив глаза в одну точку.

— Бетховен — мой любимый композитор, — потрясенно сказал он.

— Минуты такой музыки дают мне запас счастья и сил на всю жизнь, — Варенька перевела дух и захлопнула крышку рояля.

Сашенька покружилась на полу, раздувая платье.

— Пойдемте на Кутузову горку. Кто с нами?

Пошли все. И по дороге смеялись, серьезничали, дурачились и бесились, молодые, красивые, полные сил.

«Нет, никакую женщину в мире не страшно любить, кроме нее, — восторженно следил за розовым платьем Verioso. — Всякая женщина, как бы она ни была высока, есть женщина: в ней и небеса, и земля, и ад. А это чистый светлый херувим Бога живого, это небо, далекое, глубокое, беспредельное небо без малейшего облачка, одна лазурь, осиянная солнцем. Любовь есть осознание. Это я здесь постиг. Простая истина, а я не знал ее!»

Белинский видел своими глазами то, что доселе почитал мечтою. Он видел осуществление своих понятий о женщине. Это были минуты блаженства, когда забывая вполне самого себя, он созерцал и постигал в умилении все совершенство этих *чистых высоких созданий*. И другие прекрасные дни, когда все собирались в гостиную, толпились около рояля и пели хором. В этих хорах он слышал гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества, и душа его замирала в муках, потому что в его блаженстве было что-то невыносимо тяжелое. Непривычный к блаженству, он боялся своими дикими выходками обратить на себя всеобщее внимание.

Как он завидовал Мишелю!

— Мишель, ты злодей, — он тряс его «за-грудки». — Тебе есть кого любить всеми силами твоей могучей души, у тебя есть золотая связь с жизнью.

Тот горделиво ухмылялся, а Виссарион, пошатываясь, с блаженной улыбкой раскрывал объятия, готовый заключить в них весь мир.

— Люби их — это счастье, блаженство. Я знаю тебе цену, она велика; но им я не знаю цены. Я никого не знаю выше Станкевича — но что он перед ними? Ничто, меньше, в тысячу раз меньше, чем ничто! Да, кто созерцал их, тот не напрасно прожил жизнь!

Бывали у него и другие минуты, тяжкие, больные. Самые лютые из них были, когда Мишель читал с сестрами по-немецки. Целый ад, подлая злоба! Стыдясь самого себя, Виссарион уходил подальше, в сад, в луга. Он даже взялся было за изучение немецкого языка. И оставил. Разве в том дело!

Ближе к осени, в конце августа состоялось освящение церкви. Она была выстроена лет двадцать назад, еще при Любове Петровне по рисункам и чертежам незабвенного Николая Львова. Освящение происходило торжественно, с певчими, с проповедью. После обряда, вечером в саду были накрыты столы, отдельно для мужчин и для женщин. Крестьяне сидели вместе с господами.

Наконец, все разошлись и разъехались. Премухинская молодежь долго сидела на веранде, гуляла по росистой траве. Белинский стоял возле Татьяны. Она словно открылась ему в эту минуту. Эти глаза, темно-голубые, глубокие, как море, этот взгляд, внезапный, молниеносный, долгий как вечность, это лицо кроткое, святое, на котором еще как будто не изгладились следы жарких молений к небу... Сбиваясь, он рассказывал о проделках и пакостях своих литературных недругов, она улыбалась. В обнимку с Сашенькой подошел Мишель.

— Это что, новый способ говорить комплименты, говоря гадости? — вновь ухмыльнулся он, недовольный тем, как внимательно слушала Verioso его Танюша.

Она смутилась. Тысячи игл пронзили Белинского. Да что это за кадетские хамские замашки? Да в обнимку с Сашенькой...

— Ты спроси, спроси его, Танечка, что он думает о женщинах? — не отступался Мишель. — «Мысль не для женщины, ее удел чувство». А, Висяша? А я утверждаю, что женщинам открыта вся полнота истины. Я прав, драгоценные сестры?

— Вы в самом деле столь низкого мнения о женщинах, Виссарион Григорьевич? — шагнула к нему Сашенька.

Виссарион потерялся.

— Право, это... мужские разговоры, Александра Александровна... я не вижу нужды... Мишель пошутил.

Но девушка была непреклонна.

— Так вот в какие границы вы нас заключаете, Виссарион Григорьевич! Почему? Разве мы не свободные существа? Разве мы избавлены от страданий и смерти в этой жизни? Почему же мы должны оставаться в черте, вами для нас очерченной? Только чувство, просветленная мыслью, мирит с жизнью, дает нам спокойствие и делает то легко, что прежде казалось невозможным, невыносимым.

— Bravo! — Мишель, качнувшись, обмерил взглядом низкорослого Verioso.

Белинский молчал. Какая девушка! И какая отповедь! Но Мишель... ах, мерзавец!

В сентябре почта принесла письмо от Станкевича и последний номер «Телескопа».

— Ты, Белинский, Ефремов теперь живете вполне, — писал Николай Мишелю с Кавказа. — Прекрасные осенние дни, прогулки, музыка, беседа внизу, беседа наверху, искусство, философия, общее наше будущее — все это вы перебираете в твоей маленькой комнате под навесом табачного дыма. Завидую вам. Ты, Мишель, со своим обыкновенным прямодушием зовешь меня в Прямухино. Нам надобно ездить туда исправляться, сказал я Verioso, но я — я боюсь испортиться. Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белинского — я слишком верю в семейное счастье. И все же... на обратном пути я с удовольствием бы заехал в Прямухино».

От этих слов заалелись щеки Любаши. С письмом в руках она удалилась в свою комнату, чтобы прижимать его к груди и вчитываться в каждую строчку и между строчек, где струилось любовь Станкевича.

— Он помнит! Он приедет!

Книжка «Телескопа» навела дрожь на Белинского. В ней было напечатано «Философическое письмо» Чаадаева. В тот же день он поднялся в Москву. Вместе с ним уехали и друзья.

Александр Герцен отбывал ссылку в далекой Вятке, где с усмешкой составлял развесистую клюкву проектов, сведений и таблиц, полных, для пущей важности, сносок и цитат на ино-

странных языках, для того, чтобы вятский губернатор Тюфяев мог отчитаться перед столицей, и тем самым исполнить невыполнимое указание высокого начальства. Только Герцен смог справиться с пышным плодом великодержавной бюрократии. Для ссыльного кандидата Московского университета сия нелепость явилась подобно дару небес, поскольку и избавила его от каторжной отупляющей переписки канцелярских бумаг в обществе двух десятков полуграмотных писцов, и доставила возможность работать дома

«Я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, — повествует Герцен, — когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа». Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать «Телескоп». Писанные к даме «Философические письма», без подписи... В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, то есть, что это — перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец, дошел черед и до «Письма...». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Этак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие жизнью, а не теорией... Читаю далее, — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

«... Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Народы — существа нравственные, точно так же, как отдельные личности. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Кто знает тот день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?»

Я раза два останавливался, говорил Герцен, чтобы отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал.

«... Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают... А теперь я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает?»

И это напечатано по-русски неизвестным автором... Я боялся, не сошел ли я с ума. Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнущей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться...

Обозрение было тотчас же запрещено; Болдырев, старик, ректор Московского Университета и цензор, был отставлен, издатель Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить *сумасшедшим* и обязать подпиской *ничего не писать*. Всякую субботу приезжали к нему доктор и полицмейстер; они свидетельствовали его и делали донесение, то есть выдавали за своей подписью *пятьдесят два фальшивых свидетельства в год по высочайшему повелению*. Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали».

А на все поставленные в «Письме...» вопросы твердо ответил шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф.

— Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана.

— Нет ли вестей из Прямухино? — тормозил Мишеля вернувшийся с уроков Виссарион.

Мишель забрел к нему в его отсутствие и заснул прямо за столом. Всю ночь он проговорил с Хомяковым об истории России, о бунтах и смутах, коими столь богато ее прошлое, о Разине, о Пугачеве... «Всенощными бдениями» уже окрестили друзья ночные беседы Мишеля.

Белинский же, оставшись без журнала, продолжал писать и печататься кое-где по другим изданиям, давал уроки, устраивался для заработка в Межевой институт и продвигал свою «Грамматику...». Публикация «Философического письма» чуть не наделала бед и в его судьбе тоже. По возвращении в Москву он ощутил внимание к себе со стороны полиции и признаки секретного дознания. Это перепугало его до смерти. Болезненный, незащищенный, он повел себя тише воды, ниже травы, и ускользнул, уцелел. Сам же Чаадаев отказался на допросе от намеренных стремлений к напечатанию своего произведения, сказав, что не знает, каким образом они появились на страницах «Телескопа», хотя сам же и настоял на том, чтобы из пяти «Писем...» было выбрано первое, самое резкое, в то время как Надеждин остановился для начала на третьем или четвертом. Ссылка Надеждина в Усть-Сысольск длилась не слишком долго, но вернулся он оттуда с больными парализованными ногами и отвращением к изданию журналов.

Главное же событие в жизни Белинского, последовавшее после разгрома журнала, «Событие» с большой буквы, то, что грело сейчас его сердце, произошло на прошлой неделе.

Пушкин... Пушкин пригласил его в свой журнал «Современник». Пока в виде предположения, и не тотчас, а по весне либо к лету. Пушкин! Поэт целого человечества, а не одной какой-нибудь эпохи, поэт не одной какой-нибудь страны, а целого мира! Не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии... Пушкин пригласил его! Пригласил, несмотря на мнение Белинского, что поэтический гений Пушкина угасает, что время его в русской словесности закончилось, и даже что Пуш-

кин никогда не станет дельным издателем журнала... невзирая на сии печатные заявления, казавшиеся Белинскому истиной, — Пушкин пригласил его в свой журнал! Он передал это через московских друзей, находясь сам в Петербурге. По весне либо к лету 1837 года!

Это подняло Белинского в собственных глазах. Ах, только Станкевич, гениальный друг, мог бы понять его и воздать должное!

— Нет ли письма? Что там делается?

Они знали, что уже второй месяц Станкевич живет в Прямухино. Из писем сестер о чем-либо догадаться было невозможно. Что, как там? Решится ли Станкевич? Решится ли она, Любаша?

— Будь, что будет, — изнемогали друзья, — только скорее...

Был уже ноябрь, стояла зима. Морозы ударили рано, обещающая оттепели и снега. Стекла в комнате были затянуты слоем льда, шершавым и бугристым понизу, у подоконника.

— Что за холод у тебя, Висяша! — Мишель гулко бил себя ладонями по бокам и груди, чтобы согреться.

— Хоть волков морозь, — согласился Белинский, — а в кармане хоть выпишь. Все источники прекратились, просить больше нет сил.

— Чем же ты живешь?

— На подаяние кухарки.

— Пошли обедать в трактир, — Мишель, заглядывая в зеркало, пытался расчесать гребнем кудрявую гриву.

— У тебя завелись деньги?

— Мне дал их один... приятель. Ах, славная история! Вчера попал я в один дом, где хотели послушать о Канте, о Фихте, то, се. Я разошелся часов на пять. Увлёк их всех уж и не помню куда, наговорил с три короба о необходимости страданий для освобождения от бессознательных наслаждений.

— Для тебя это семечки, Мишель.

— Ха! Да будь среди слушателей ты сам, Висяша, я бы и для тебя нашел в своем запасе трансцендентальных и логических штук, чтобы потрясти твою страшную *действительность* с ее

стальными зубами и когтями. В каком ударе я был! Каким соловьем разливался! Слушали они, как овечки, а я проголодался, как волк. Наконец, сели обедать, потом зашли к хозяину в кабинет. Прилег я на диван и заснул, вот как сейчас. Вдруг слышу, скребется кто-то возле, плачет. Смотрю, стоит мой хозяин со свечой, сам не свой. «Учитель, — рыдает, — помоги мне. Я погибший человек, я пропадаю, ибо не чувствую в себе силы к страданию». Ха-ха-ха!

Белинский стоял в изумлении.

— Ох, Мишель, Мишель! Если бы собрать Хлестаковых со всего света, то они были бы перед тобою Ванички и Ванюшки Хлестаковы, а ты один остался бы полный Иван Александрович Хлестаков.

— Быть по сему. Пойдем закажем селянки, да жареного барашка, да по дюжине блинов с икрой. Выпьем-закусим во здравие суженой нашей, философии!

Они вышли на яркий зимний полдень. Морозило. От лошадиных морд валил пар. Снег под шагами звонко повизгивал. Поднявшись из Столешников, они пошли по Дмитровке в направлении Страстного бульвара. Вдоль обеих сторон улицы привольно стояли желтые, зеленые, красные и коричневые каменные двух- и трехэтажные дома, особняки с колоннами, портиками, обилующие лепниной, венками, скульптурными изображениями львов и героев. Вокруг них за литыми узорными решетками уже выросли красиво разбитые сады. Москва давно отстроилась, пожар 1812 года способствовал ее украшению

— Поберегись! — кричали лихачи-извозчики, пролетая мимо прохожих.

В трактире, похожем на ресторацию своими большими окнами, зеркалами, тяжелой люстрой с подвесками, свисавшей над головами посередине высокого потолка, народу было предостаточно. Свободный столик нашелся на антресолях. Друзья выпили по одной, по второй, согрелись, поели, закурили трубки.

— Ты почему блинков, грибочков не отведал, Висяша?

— Сказать по правде, опасаюсь. Тяжеленьки для меня.

— Чепуха. Под водочку, а?

Виссарион помотал головой, отказываясь.

— Тебе этого не понять, Мишель. Ты благородный, ты унаследовал от родителей благую организацию. Все ваше семейство — феномен в этом отношении. Твой отец не имел до женитьбы женщины, не был пьяницей, обжорой, злым, глупым, подлым. А мой отец пил и все такое, и оттого я получил характер нервический, родился с завалами в желудке. Да что говорить...

Виссарион с мягкостью смотрел на друга. Он был привязчив и неспокоен, прощал все обиды, влюбляясь в друзей, как отрок. Сейчас он любовался Бакуниным, видел в нем поэзию, размет, львообразность.

— Дружба! вот чем улыбнулась мне жизнь так приветливо! — прочувствованно сказал он. — Жить хочется, когда имеешь таких друзей. А кстати, Боткин приехал из-за границы, слышал?

Мишель, скатав хлебный шарик, прицелился в кого-то сидящего внизу, в самую лысину.

Виссарион перехватил его руку.

— Не ребячься, Мишель.

Мишель подбросил шарик вверх, к потолку.

— Боткин, говоришь? Я не слишком жалею этого купца, — отозвался он небрежно.

— Вы мало знакомы! После твоих сестер это первый свят человек. Сейчас он из Европы, из Рима, где наслаждался искусством. Это самый оригинальный ум в Москве. Он верует в искусство, как мы с тобой в истину. Днем сидит у отца в лавке, а вечером читает на всех языках. Оттого и лысеет, Васенька наш.

— Бог с ним. Поздравь меня, я расплатился с Левашовыми.

Друзья шутливо пожали друг другу руки.

— Добрые люди, прекрасные люди, но их мир — не наш мир! — разчувствованно ответил Verioso. — Ужели тебе заплатили за вчерашнюю лекцию? Ужели философия способна тебя кормить?

Мишель поморщился.

— Я дворянин и гонораров не беру, — с достоинством ответил он.

Белинский перестал дышать, даже зажмурился, чтобы сдержать горячий душевный всплеск.

— Откуда же эти деньги?

— Взял займы у того олуха.

— Без отдачи?

Мишель насмешливо хмыкнул и набил табаком свою трубку. Виссарион помолчал.

— Значит, ты вновь говоришь «нет» влиянию гривенников на твою внутреннюю жизнь? — сказал он со вздохом.

— М-м., — утвердительно кивнул Бакунин, раскуривая табак.

— Хорошо. Это значит, что в тебе избыток внутренней энергии так велик и пламя чувств так сильно и ярко, что внешние обстоятельства не могут мешать и гасить. А я погибаю от мысли о долгах.

— Ты не можешь вырвать себя из своего страстного элемента.

— Нет, это у тебя идеальное прекраснодушие. Прав был Станкевич, сказавший, что прекраснодушие есть самая подлейшая вещь в мире. Для меня скрупулезное отношение к гривенникам есть средство, и не цель. Я был бы погибший человек, если бы эти займы не убивали меня. Заемная копейка кажется мне миллионом! Все видят, какую важность придаю я всякому гривеннику, который беру у других. А ты пальцем о палец не ударил для снискания себе денег. Ты просишь и берешь легко и легкомысленно, с детской доверчивостью, ты берешь деньги, как щепки. «Нет ли у тебя щепок»?

— Я и даю так же, Висяша.

— Верно. Имея деньги, ты и не дожидался, чтобы я у тебя попросил, а спрашивал: «Висяша, не нужно ли тебе денег?»

— Висяша, не нужно ли тебе денег?

Белинский сокрушенно воззрился на друга. Он любил Мишеля. Его рассмешила и огорчила ловушка, в которую тот поймал его.

— Вот, вот, — ответил он. — Сейчас я понимаю, когда мне говорят, что ни к кому не чувствуют такой враждебности и ненависти, как к тебе, и мало людей так глубоко уважают, как тебя. Это твоя участь, Мишель.

Бакунин снисходительно усмехнулся и с затаенным превосходством посмотрел на друга. Он чувствовал себя умнее и победоноснее Белинского.

— Отвечаю — да. Во мне много гадкого, много низкого, страсти во мне очень сильны, и одна только истина может спасти меня.

— Ах, Мишель, Мишель! Ты — голова светлая, сама сила и могущество мысли, широкое и глубокое созерцание. Но ты не привносишь свои идеи в живую *действительность*. Твоя голова и сердце — из огня, твоя кровь горяча, но она течет в духе твоём.

Мишель посмотрел на него странным взглядом. Он не выносил разоблачений, даже случайных намеков на то, что он не такой, как все. Что-то ужасное происходило в нём, когда умолкали слова любви и восхищения. И сейчас ему стало так скверно, словно душа его внезапно низринулась в самые жгучие, тайные, самые мучительные свои пещеры!

— Ты прозорлив, Виссарион, — уныло протянул он. — Да, я живу в духе, я составил себе иллюзию, дающую мне краткое счастье. Но ты — ты беспрестанно указываешь мне на эту химеру. Никто не щадит и не знает меня, — лицо Бакунина исказилось, словно бы его высшее «Я» на мгновение покинуло его.

Белинский замер, наблюдая сию перемену. Вновь сквозь румянец и юношескую свежесть в чертах Мишеля проглянуло иное, совсем-совсем другое, ужасное. «Он болен! — мелькнула мысль. — Или он... не мы. И как только сестры могут целовать его!»

Глава третья

Станкевич появился под Рождество. Он был здоров и счастлив, он дышал радостью. Одно за другим полетели в Прямухино его нежные шутки для *нее*, для Любиньки.

..». А вы, дражайшая Любинька? Как поживает механизм Вашей прекрасной головки?»

Можно представить блаженство Любаши! Ее ответные письма были просты, полны любви и надежды. Послания их ис-

точали любовь, словно цветы свой аромат. На всех сестер словно снизошла благодать. Варенька, хоть и собиралась за границу, помирилась с мужем, Татьяна отодвинула в неопределенность свою решимость посвятить себя религиозному служению. Столько доверия и ласки внутри большого семейства давно не испытывали в Прямухино!

Для друзей появление Станкевича ознаменовалось новым мировоззренческим потрясением. Станкевич протянул Мишелю Гегеля.

— Вчитайся, Мишель. Гегеля я еще не знаю. Пойдем вместе, твердо и смело.

Мишель вчитался не медля. И ахнул. Гегель дает совершенно новое толкование философии и жизни! Ух, как он мыслит, этот Егор Федорович (Георг Фридрих!)

..».Философия занимается абсолютными, вечными сущностями, тем, что всегда было, есть и будет, навечно пребывает и не имеет истории. Субстанция (Абсолютная идея) есть нечто самодостаточное. Она проходит стадии чистого мышления, свободно отчуждает себя в форме «понятия» в собственное инобытие, в природу, и, наконец, породив мыслящий дух в формах «субъективного», «объективного» и «абсолютного» духа, на ступени абсолютного духа обретает полное и завершенное знание самой себя».

— Ослепительно! Но как сложно! Мозги кипят! — Мишель, стиснув зубы, переводил с немецкого слово за словом и тут же писал в конспект. Каким острым наслаждением отзывалась в нем каждая понятая мысль! — «Дух только как дух — пустое представление, он должен обладать реальностью, наличным бытием, должен быть для себя объективным и предметным»... Понятно. «Мировой дух в истории не делает ничего иного, как только познает сам себя в своей свободе, но объективация в исторических формах необходима, так как дух не может познать себя, не воплотившись в предмет познания, не объективировав себя в наличном бытии»...

Сколько нового!

С книгой подмышкой он помчался к Белинскому.

— Висяша, послушай, что он говорит..». История должна исходить из данных, из того, что было на самом деле». А Канту и Фихте, как мы помним, факты не нужны. И дальше: « В мире господствует разум. Но разумное в истории не лежит на поверхности, оно должно быть обнаружено в ней мыслью, а для этого надо заранее иметь критерии отделения разумного от неразумного, существенного от несущественного, а такое знание есть знание отвлеченное, умозрительное». Каков Гегель!?

— Хрустальное царство философских абстракций, — Виссарион обостренно ловил каждое слово, проникаясь новым знанием.

— Ничего, мы тоже не лыком шиты, — воодушевленно сказал Бакунин. — Смотри, как он напутствует молодых. « Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа — вот первое условие философии. Так как человек есть дух, то он смеет и должен считать самого себя достойным величайшего, и его оценка величия и силы своего духа не может быть слишком преувеличенной, как бы он ни думал высоко о них; он не встретит на своем пути ничего столь неподатливого и столь упорного, что не открылось бы перед ним. У скрытой и замкнутой вначале сущности вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию познания; она должна раскрыться пред ним, показать свои богатства и свои глубины, и дать ему наслаждаться ими». Каков Гегель?

— Велик, — согласился Verioso. — Такого еще никто не смел утверждать. Сам себя начинаешь возвышать после таких слов.

Теперь они вчитывались и спорили о каждой строчке, о каждом параграфе Гегеля. Знал бы недоверчивый, замкнутый, далекий от всего, что не есть его философия, Георг Фридрих, что в далекой заснеженной России русские юноши будут ночи напролет биться над его сочинениями, восторженно внимая каждому слову, как если бы это была истина в конечной инстанции! Он умер всего шесть лет назад, заразившись холерой от жены. Та, сердобольно посещая соседний госпиталь, переболела и выздоровела, а ее гениальному супругу не помогло ничего. Он ушел в зрелом расцвете лет, полный великих замыслов, умер в мрачной уверенности, что никто в целом свете не понял его!

Мишель был окрылен. Волею судеб, именно ему, Михаилу Бакунину, суждено было стать провозвестником и первым толкователем философской системы Гегеля в Москве, в России!

... И вдруг ужасная весть накрыла Россию черным крылом. Тридцатого января на дуэли убит великий русский поэт Александр Пушкин.

Кружок Станкевича, все друзья собрались у него в просторной квартире. Красов и Ключников, скромные стихотворцы, известные больше среди своих друзей, молча всхлипывали и вытирали слезы, особенно нервный болезненный Иван Ключников; Катков и Аксаков, низко опустив голову, молча мерили шагами комнаты. Помаргивая мокрыми глазами, Боткин держал руку на плече плачущего Белинского. Мишель размышлял о пистолетах, о баллистике, о пуговице Дантеса, в которую угодила пуля Пушкина.

— В жизни я легкомысленен, — тихо говорил Станкевич, как всегда искренне и изящно, — и потому смерть Пушкина не сделала переворота в состоянии моей души. Но она глубоко поразила меня в первые минуты и потом оставила во мне какую-то неопределенную грусть. Висяша! Ну же, бодрее...

Виссарион с прерывистым длинным вздохом поднял распухшие глаза. Он ощущал утрату горше всех.

— Это был гений, гений! — тихо сказал он, и сильно моргнул ресницами, чтобы стряхнуть слезы. — В минутах его жизни замыкались целые века. Как вы не поймете! Миросозерцание Пушкина трепещет в каждом его стихе. В каждом стихе слышно рыдание мирового страдания... Ах, горе, горе! — он со стоном рванул одежду на груди и уронил руки на колени.

Все молчали. Станкевич посмотрел на грустные лица друзей.

— Ценить поступки великого человека на основании какого бы то ни было закона для меня отвратительно. Он умер не пошло. Если он и жертвовал жизнью предрассудку, все-таки это показывает, что она не была для него величайшим благом. Я примирен с Пушкиным. Спокойствие было не для него: мятежно прожил, мятежно умер.

— Согласен, — отозвался Бакунин.

Белинский вскочил. Тон Мишеля задел его. Ему хотелось ответить резкостью, накричать, наговорить, хотя он и ненавидел порой до бешенства свою потребность выговариваться обо всем, что было на душе, часто сдерживался, давился потоком собственных слов. Но не сейчас.

— Чиновники и офицеры ровно ничего великого в Пушкине не видят! Не всякому дается поэзия Пушкина и трудно открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками, — отрывисто заговорил он, беспорядочно размахивая руками, похожий на неказистого деревенского мужичка. — Обилие нравственных идей у него бесконечно. И бесконечна грусть, как основной элемент поэзии Пушкина, этот гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским Атлантом... И эти переливы и быстрые переходы ощущений, эти беспрестанные и торжественные выходы из грусти в широкие разметы души могучей, здоровой и нормальной, а от них снова переходы в неумолкающее рыдание мирового страдания...

Он говорил, ни на кого не глядя, пока не иссяк и молча засел в углу возле заледеневшего плачущего окошка.

— Говорят, жена его... — начал Мишель.

Станкевич решительно воспротивился этим словам.

— Не хочу обвинять и жену его. В этом событии какая-то несчастная судьба.

«Несчастливая судьба»...

Мог ли предположить Николай Станкевич, что и его судьба, и судьба той, перед которой благоговело его воображение, уже накренились под натиском все того же светского предрассудка!

... Александр Михайлович хмурился. Суставы ломило, словно к дождю, зима выдалась хлипкая, на полях темнели обширные бесснежные пятна... Худо, худо. Но разве замечал он погоду раньше, в золотые дни юности? Рим, Турин, Париж... разве там не было дождей и гроз?

— Не погода, а годы, — вздыхал старик.

Зрение его угасало, болели ноги, день ото дня полнилась душа тягостными предчувствиями. Дочери, голубки его, скучали в имении, точно в золотой клетке. Любиньке шел двадцать шестой год, Танюше двадцать третий, Александре тоже стукнуло двадцать. Взрослые, взрослые женщины. Умри он сейчас, что с ними будет? Без сомнения, супруга, Варвара Александровна, заменит его, как сделал это его мать, Любовь Петровна, после кончины батюшки Михаила Васильевича. Так, да не так! Старший сын, Мишель, не оправдал никаких надежд. Несчастный малый! Он-то и является причиной всех бед. С его страстным, заразительным красноречием и полной беспомощностью в *практической* жизни он несется к пропасти сам и увлекает других. Слепой ведет слепых. Что с ним будет? Эта философия, эти друзья, праздная жизнь — как это непохоже на устои жизни деятельной, полезной и благородной!

Один Станкевич выделяется среди всех.

Александр Михайлович вздохнул.

Переписка его дочери с молодым человеком почиталась им предосудительной. Сказать по-русски, она была оскорбительна для чести всего семейства. Как в отдаленные годы его юности, так и ныне, надеялся он, обмен письмами и записками допускался лишь между женихом и невестой. Помолвки же никакой не было, молодые люди объяснились наедине. Без родителей...

Старик вздохнул еще тяжелее. Больше месяца он, отец, попусту создает недопустимым вольностям, позволяя своей дочери питать ни на чем не основанные надежды. Не пора ли, как говорится, употребить власть и выяснить намерения этого юноши? Что он думает и говорит в своем кругу? Не является ли его дочь предметом недостойной игры? К огромному своему огорчению, он готов был теперь препятствовать любому делу, в котором участвует его старший сын. Да, да, как это не прискорбно!

Вздрагнув, он позвал жену в приоткрытую дверь кабинета.

— Напиши, мой друг, письмо в Москву, для милейшего Николая Александровича Станкевича. Я надиктую.

... Прочитав послание, Станкевич вспыхнул. С отменной придворной вежливостью старый аристократ напомнил ему о

приличиях, которые всеми благовоспитанными людьми наблюдаются и без которых никакое общество существовать не может.

В тот же день в Прямухино ушел ответ. Николай Станкевич извещал Александра Михайловича Бакунина о том, что безусловно признает правоту его слов, понимает его беспокойство и приносит глубочайшие извинения за то, что стал невольной причиной его волнений, однако, без согласия своего батюшки он никогда не решится на столь важный шаг. Тогда же ушло и письмо к отцу в Воронежскую губернию, в имение Удеревку с просьбой благословить его брак с девицей Любовью Александровной урожденной Бакуниной.

Отправив послания, Николай в изнеможении откинулся на спинку стула и погрузился в созерцание своей души. Вмешательство Бакунина-старшего уподобилось пушечному ядру, влетевшему в оранжерею и внезапно поразившему хрупкое цветение его нежности к Любаше, озаренное ее взаимностью. Рано, слишком рано! Любая определенность, возникшая раньше времени, губительна, тем более подневольная...

Три сокрушительные недели, протекшие в ожидании родительского благословения, превратили молодого поэта в больного обессиленного человека.

Слов нет, зима в тот год выдалась малоснежная и сырая. Даже крещенские морозы не ударили, не затрещали как встарь, но лишь вызвели на Москвой высокое зимнее небо. И вновь зачастили оттепели, мокрые полу-снежные дожди. Не они ли унесли здоровье?

Ах, если бы воспротивился его отец! Но Станкевич-старший во всем полагался на своего разумного, такого необыкновенного, сына. Его согласие не замедлило. Николай замер с письмом в руке, слушая, как расплзается по душе горестное едкое предчувствие. Еще не поздно отступить! И пусть падет на его голову позор бесславия, крушение в глазах друзей, пусть он будет страдать! Он привык страдать, он выстоит. Не дрогнув, он приобщится глубокой нравственной истине пред нацеленными в его грудь копьями *приличий, которые всеми благовоспитанными людьми наблюдаются...*

Но Любинька... она не поймет его. За что ей такое? Жалость пронзила его.

Впервые в жизни изменил он себе *внутреннему*, надеясь, что верность *внешняя* вознаградит его за измену самому себе. Однако, для столь высоких натур нет оправдания. Кому многое дано, с того многое спросится. Наказание последовало тотчас же. Оно раскручивалось с неумолимостью рока и стало гибельным для обоих.

Предложение было послано письменно и принято благо-склонно. Отныне Николай Станкевич числился официальным женихом Любви Бакуниной.

Теперь в его квартире на правах будущего родственника со всеми удобствами поселился Мишель. Сама Любаша просила брата поберечь ее любимого.

— Мишенька! Будь его ангелом-хранителем! Не оставляй его, — умоляла она.

Долго просить не пришлось. У Станкевича Мишелю было привольно. Можно валяться по диванам с растрепанной «Феноменологией» Гегеля, дымить на весь дом подобно самоварной трубе, засыпать табаком опрятные комнаты.

Николай покашливал, но терпел. И грустнел, грустнел.

Между тем, любовь и помолвка Станкевича взволновали молодой круг. С юношеской самоуверенностью, если не с нахальством, взялись добры-молодцы от философии судить да рядить о женихе и невесте, согласовываясь с последними постулатами Гегеля и Шеллинга. Белинский слушал с горячим вниманием, но вступал неохотно, больше помалкивал, Васенька Боткин, «свят человек», не знакомый ни с одной из сестер Мишеля, вообще был нем как рыбка, зато громогласно и поминутно вторгался в святая святых будущий деверь.

— Эта любовь совершенно переродила твою индивидуальную жизнь в абсолютную, — снисходительно всматривался Мишель в Николая. — Я знал это в теории, теперь вижу на практике.

Принужденно улыбаясь, Станкевич уводил разговор в сторону. Но Мишель с убийственным самодовольством преследовал его, как зайца.

— Я утверждаю, друзья, что в нем говорит сейчас нечто святое, нечто сверхчеловеческое. И, на мой взгляд, тот, кто любит, гораздо лучше того, кто не любит. Я же вижу — эта любовь заполнила все твое существование, ты любишь просто.

— Чувство и выражается просто, — пытался заслониться от него Станкевич, — ни в одном стихотворении Пушкина нет вычурного слова, необыкновенного размера, а он — поэт. Скажи-ка лучше, Мишель, как поживает твоя сестра Дьякова?

— Я посылаю Вареньку с сыном в Карлсбад, подальше от мужа.

— В самом деле? Она едет за границу? Без мужа? Как скоро?

— Как только мне удастся оформить им заграничный паспорт.

— Ты собираешься в Петербург?

— На той неделе. Кстати, Николай... отец торопит со свадьбой, не верит в твою болезнь. И, конечно же, подозревает во всем этом мои козни, ибо, по его словам, эгоизм — естественнейшая склонность моего характера. Ха-ха-ха.

Мишель и в самом деле уехал в столицу хлопотать о паспорте и о разводе сестры.

Тем временем Станкевичу становилось все хуже. В тяжком сознании совершенной неизвестности, совершенного сомнения он не верил ни себе, ни своей любви, ни возможности для себя какого бы то ни было счастья. И уже не хотел его.

— Verioso, друг мой! Будь моей совестью, — они сидели с Белинским вдвоем у камина, который часто горел в эту зиму наравне с печами, чтобы просушить стены и воздух в комнатах. — Выслушай меня. Тебе ведь известно, что я... я умею, в случае надобности, стать выше себя и заставить молчать свое чувство.

— Ты сомневаешься в ней или в себе?

— О, как можно в ней! Она любит, она дышит своим чувством, горячо свято любит. В себе, единственно в себе. Я допустил ужасную ошибку.

Белинский отвернулся от него, покашлял. Он был простужен, глаза его слезились. Потом сказал с нежностью.

— Ты любишь, Николай. Мы сами гасим любовь своими анализами. Надо унять Мишеля. Этого не вынесет ни одно чувство!

Тихо вошел слуга с зажженным трехсвечным канделябром, поставил его на стол, задернул занавеси на окнах. Ушел, плотно притворив за собою дверь.

Станкевич посмотрел ему вслед и словно забыл отвести взгляд.

— Не любишь женщину — откажись на пороге церкви! — тихо произнес он ответ на собственные мысли.

Это были главные слова. Белинский остро взглянул на него и внутренне содрогнулся. Сколько душевных мук потребовалось Николаю для такого решения! Он молча смотрел в огонь, мучимый ранами своего друга.

— Я никогда не любил, — невесело продолжал Станкевич. — Была прихоть воображения, потеха праздности. Теперь я увидел, что прежде и не думал о последствиях, и почувствовал, что еще молод и не созрел для такого шага. *Действительность* есть попроще настоящего сильного человека. Слабая душа живет по ту сторону мира, в стремлении неопределенном, занимая оборонительное положение. Вот почему искусство, театр становятся для меня божеством: прекрасное в моей жизни не от мира сего.

— Повремени отчаиваться, Николай. Все может вернуться и перемениться, — улыбнулся Белинский. — Рассеются черные болезненные думы, и мы еще покричим «Горько!» на вашей свадьбе.

Прикрыв веки, Николай качнул головой.

— Здоровье мое грошовое! Ты еще не знаешь о моем положении, но, может быть, догадываешься.

Брови Белинского едва заметно дрогнули. Он опустил глаза. Николай вздохнул.

— Женщина, чем выше, чем святее, тем склоннее к ошибкам. Позднее разочарование — лучше забыть об этом, — голос его был глубоко несчастен. — Мишель сказывал мне, что в начале совместной жизни его сестра Дьякова была готова на самоубийство. Ужасно было слушать.

— Зачем он говорил об этом?!

— Он... у него слишком близкая откровенность с женщинами... Я раздражен на него. У меня к нему злое чувство, словно... словно, знаешь ли... словно он меня убивает. А я... я в состоянии был бы перенести самые ужасные человеческие страдания, но знать, что другие страдают через меня и — еще ужаснее — сомневаются, в состоянии ли я, один я с моею любовью вознаградить, составить счастье... ах, как все это нестерпимо тяжело.

Друзья надолго замолчали. Пламя, вспыхивая и потрескивая, освещало их молодые умные лица, глубокую думу и грусть в глазах.

— Ты болен, Николай, от сомнений в любви. Ты любишь, но сомневаешься в своей способности любить, — мягко проговорил Белинский.

— О, нет, уже нет. Сколько прекрасного развития, сколько святости имеет Любинька ! Если бы раньше, тогда, давно, когда я был у них впервые! Тогда я любил, да, нежно, страстно любил! А сейчас я вправе спрашивать себя — отчего ты ее больше не любишь? Или я вовсе не могу любить?

Они вновь замолчали. От камина струилось благотворное тепло, обгоревшие поленья в нем рассыпались в угли и светились, как драгоценные камни.

Белинский снова закашлялся. Станкевич внимательно посмотрел на друга.

— Если ты простужен, Висяша, то посиди несколько дней взаперти, попей на ночь чаю, да и не раскрывайся и не будь на сквозном ветру. На шее и на груди носи что-нибудь шерстяное. Не надобно пренебрегать. Храни себя для дружбы. А летом отправляйся на Кавказ.

— Посмотреть на чернооких черкешенок? Каковы они? — засмеялся Виссарион.

— Проглядел я черкешенок, одни черкесы встречались. В самом деле, Verioso, горное солнце и воздух, да воды Пятигорска укрепят тебя. Поезжай!

Через несколько дней вернулся Мишель. Его звонкий голос, твердые шаги, румянец, чистые голубые глаза, вся атлетическая, пышущая здоровьем фигура, шум, смех, дым, всегда сопровождавшие его присутствие, вновь наполнили тихие комнаты

профессорской квартиры. И будто бы повеяло жизнью, движением.

Весенние апрельские лучи светили в окна, зима окончилась. И Станкевичу показалось, что, может, и впрямь все вернется — здоровье, любовь, душевное спокойствие.

Но Мишелю его будущий родственник нравился все менее. Эта бледность, слабость... Враждебность его росла не по дням, а по часам. Уже Станкевич избегал прямого взгляда, вновь и вновь ему казалось, что Мишель убивает его. Это ощущение стало неотвязно, как сам-третей.

А как на самом деле? Что писал Мишель Любаше? Ну-ка, ну-ка ...

Мне сказали, Любинька, что Николай получил от тебя письмо, где ты клянешься жить для него одного, — выговаривал ей старший брат. — Не советую тебе. Ты себя губишь, ты воображаешь его лучшим, чем он есть на самом деле, ты идеализуешь этого глупца Николая... Если бы тебе вдруг пришло в голову счесть меня влюбленным в тебя, и ты сказала бы это Станкевичу, а там ссора и дуэль, я убил бы его, этого бедного малого, который, между нами будь сказано, имеет довольно жалкий вид.

Любовь к сестре, убийство жениха... Воистину, остается повторить вслед за Белинским:

— Глубины духа есть страшный дар, и личность человека — великая тайна!

По прежнему шли нежные письма жениха к невесте, но сам Николай уже мечтал о побеге. Врачи посылали его на заграничные курорты. Он известил Любиньку, что свадьба откладывается до его возвращения. Срок возвращения терялся в неизвестности.

От Мишеля не скрывалось ничего.

— Брак не по любви есть лицемерие, — тихо и твердо сказал ему Николай. — Я не снимаю вины с себя, но закрываю глаза на последствия.

Мишель был оскорблен. Как? И что ему теперь делать? Дуэль? Смешно.

В Прямухино намерение Станкевича вызвало бурю. Там не понимали ничего. Отец вообразил, что затеял все это никто иной,

как сам Мишель! В своем письме старик ядовито намекнул Станкевичу о негодном «приятеле», который желал бы прокатиться за границу на чужой счет. И, надо сказать, был недалек от истины, вот только денег у Станкевича на двоих не хватило. Станкевич ответил, что такого приятеля нет, он едет один.

Попеняла брату и Варенька.

— Если он болен и речь не идет о любви в ее *земном осуществлении*, — выразилась она, по-женски влагая смысл, что пишется между строк, — то он мог бы ехать с Любашей как с невестой. Для ее любви быть возле него — благо бесконечно большее, да и для него тоже... — если бы вышло по ее, то, как знать, как знать...

Станкевич уехал в начале мая.

Тогда же на Кавказские воды, заняв денег у Ефремова, вместе с тем же Ефремовым уехал и Белинский.

Друзья расстались в крайней неприязни. Чувствуя, что все вместе они сотворили нечто ужасное, чувствуя себя преступниками, все были подавлены, боялись тронуть раны другого. Чем все кончится? Во имя чего принесена в жертву прекрасная девушка?

Лето в Прямухино цвело с обычной щедростью. Пестрели луга, наливались нивы, поднялись вокруг деревень стога душистого сена, вошла в пору ягодная страда. Все было так же, как сорок лет тому назад, когда Александр Михайлович, молодой, полный сил и самых возвышенных устремлений, поселился здесь хозяином и в короткое время на запущенной усадьбе построил, по общему мнению, «земной рай». Как чудно, в какой любви протекли эти годы! Сколь благотворны оказались плоды неустанных трудов! Почему же радость покинула этот благословенный уголок?

... Любаша встретила брата, как вестника надежды.

— Как Николай? Надолго ли уехал? Что просил передать? Ах, Мишель, что за ужасные слова встречались в твоих письмах! У меня не доставало мужества читать их до конца.

И вновь: «Николай, Николай...».

Мишель, разумеется, не разуверял сестру в преданности ее жениха, отводил все недоумения, но для остальных членов семейства тайну охлаждения Станкевича открыл без утайки, камня на камне не оставив от него в их глазах. Теперь от Любаши стали скрывать и красные глаза матери, и душное, бессильное возмущение отца, и сочувствие милых сестер. Щадя ее, из милосердия к ней, ее заставили жить в аду надежд и сомнений, в глубоко скрытом даже от самой себя прозрении о настоящем своем положении. Это ли не худшее из зол?

По обыкновению, с Мишелем прибыла стопа новых книг. Главнейшие, ясное дело, Гегель. «История философии», «Философия истории», «История религии». Злой на всех, он заперся в своей комнате и стал трудиться над переводом и конспектом. Вот в чем его призвание! Вот что ему удастся лучше всего! Он еще покажет, он докажет всем, кто его не признавал, кто есть Михаил Бакунин!

Он выходил к столу лишь один раз в день, проглатывал наскоро обед и под негодующим взглядом отца вновь скрывался за своей дверью. Родные сестры и приехавшие на лето подростки братья, мать, отец — все исчезли для него.

Так прошел месяц, и другой. Гегель открывал ему тайну за тайной, от которых захватывало дух! Диалектика — вот опора на всю жизнь! Гармония противоположностей! Оказывается, они нужны, они драгоценны, эти ежемгновенные борения, в них залог полноценного развития. Но далее, далее... Отрицание отрицания! В старом и отживающем зарождается новое и, прорастая, сменяет старое. А переход количества в качество? О! Уже нет ни Зла, ни Добра, вселенная во власти разума, он шествует и торжествует, вся действительность соткана им.

Все действительное разумно, все разумное действительно!
Вот оно!!!

Мишель взлетел. Нет глухих случайностей, нет страданий бессмыслицы, историю человечества творит абсолютная идея, которая воплощается через судьбы и факты. Все подчинено Идее! О, наконец-то! Что за ясность, что за энергия у этих мыслей! Он почувствовал, как Гегель помирил его с обстоятельствами. И да-

лее, далее... *Сила есть право, и право есть сила!* Неслыханно! Никто во всей России еще не знает того, что открылось ему!

Полдня он трудился над карандашным портретом Гегеля. Закончив его, поднялся со стула, с хрустом потянулся всем телом и впервые за последние месяцы добродушно улыбнулся. Он чувствовал себя ЧЕЛОВЕКОМ. Он человек и он будет Богом! Он человек, и судьба должна признать его эго.

Сильный и кроткий, Мишель сбежал вниз. Никогда Прямухино не было для него так *внешне*, никогда он не был так свободен в нем!

Семья тотчас устремила к нему с любящим вниманием. С достоинством окинул взглядом свое «стадо». Никогда, сливаясь с сестрами, он не был так один, погружен и сосредоточен, как сейчас.

— Это, друзья мои, Георг Фридрих Гегель, — он развернул портрет. — Отныне перед вами откроется мир новый, мир строгих и разумных законов диалектики.

На следующий день он послал письмо на Кавказ. Пусть знают его «друзья», кто Он и кто они!

В Пятигорске Виссарион и Ефремов устроились в глинобитной белой хате на склоне горы Машук. Из окна был виден красавец Эльборус, до которого было не менее ста пятидесяти верст. Хатка была чистенькая, под соломенной крышей; им досталась отдельная комната, также выбеленная известкой, с глиняными полами, которые хозяйка что ни день подмазывала свежей глиной. По утрам, чуть солнца луч зажигал трещинку на стекле, Белинский вскакивал, улыбаясь, и радостно потирал руки. На месте не сиделось. Он ходил пешком верст по десять ежедневно, взбирался на ужасные высоты не столько *ex-officio*, сколько для собственного удовольствия. Оба усердно брали ванны и пили минеральную воду.

— Эх, Лешенька! Я встаю в четыре утра, могу вставать и в три, но блохи не дают заснуть! В теле — легкость, в душе — ясность.

— Замечательно! Что тебе еще нужно для счастья, Висяша?

— Охота посмотреть чернооких черкешенок!

— Эва! Они в аулах живут, между прочим.

— А горы-то, вот они! Если выйти чуть заря, можно обыденкой уйти за тридцать верст в аулы и успеть вернуться. Разве что вот погода кавказская в непостоянстве не уступает московской, прекрасное утро не есть ручательство за прекрасный день. Как бы не простудится. Но так охота посмотреть чернооких черкешенок! Черкесов вижу много, они довольно благообразны, их главное достоинство — стройность. А вот черкешенки — ни одной!

— А плена черкесского тебе не охота? Попробуй плена, Висяша. Сколь романтично!

— Не-ет, ни за что. Эти господа имеют дурную привычку мучить своих пленников, и нагайками сообщать красноречие и убедительность их письмам...

— «... для разжалобления родственников и поощрения их к скорейшему и богатейшему выкупу», как говорит наш почтарь, а он не может не знать здешних нравов.

— Моих родственников и нагайками не разжалобишь. Придется обойтись без чернооких черкешенок, — Виссарион придвинул себе очередную книгу.

— Целее будешь, — усмехнулся Ефремов и повернулся на другой бок, намереваясь предаться сладостному послеобеденному сну.

Раскрыв истрепанный том, Белинский разочарованно крикнул. Уже прочитано. Привычка много читать и писать не оставляла его и на Кавказе. Здесь попался ему «Дон Кихот» Сервантеса. Гениальное произведение! Здесь перечел он множество неприятных романов и между ними несколько произведений Фенимора Купера. Последний он прочитал сегодня утром. Одна мысль поразила его.

— Леха! Не спи, послушай! Мне надо выговориться.

— Я слушаю, Висяша, — не поворачиваясь, ответил Ефремов.

— Знаешь ли, — заговорил Белинский, отбрасывая пальцами на затылок светло-русые волосы, — после куперовых романов я вполне понял стихию северо-американского общества. И моя

застоявшаяся, сгустившаяся от тины и паутины, но еще не охладевшая кровь закипела от негодования на это гнусно-добродетельное и честное общество торгашей. Ни одной светлой идеи, деньги и деньги! У нас в России этому не бывать!

— Почему же? Что есть Россия, по-твоему?

— Россия... С одной стороны, это богатырь, которому море по колено, с другой... пьяный мужик, который валяется в луже.

— Значит, ни оттуда и ни отсюда общество честных торгашей нам не грозит. Успокойся, Висяша. Да сходи-ка на почту, раз тебя разбирает, спроси, нет ли чего для нас с тобою.

— Поди так, — согласился Белинский. — Отнесу письма Станкевичу и Аксакову. Сладких сновидений, Алексей. Ночью-то что делать будешь?

Выйдя из-под крыши на полуденный зной, Виссарион нахлобучил легкую валяную белую шляпу с кистями, купленную на местном базаре в первый же день, и вприпрыжку сбежал по тропинке с пологого склона Машука. Он радовался, сам не зная чему. Над ним было ясное небо с фантастическими облаками, вокруг вздымалась дикая и величественная природа Кавказа.

Ряды двух-трехэтажных домов уже обосновались с обеих сторон на единственной мощеной улице Пятигорска. Между ними толпились лавки и магазины. Там и сям стояли экипажи, военные повозки для раненых. Военных в городе подлечивалось немало, война шла совсем близко.

В прохладном зале почтамта Белинскому вручили толстый серый пакет. От Мишеля! Из Прямухина! Как они там? Что Любаша? Сердце его изболелось по ней. Что они наделали! Дня не проходило, чтобы он не вспоминал все семейство. Как он их любит, скольким ему обязан!

С нетерпением разрывая плотную бумагу обертки, он добрался до письма. Читать сел тут же, в просторном зале.

И долго не поднимался, уронив руку с письмом. Потом пошел бродить по окрестностям, вдоль речки, по склонам, по мелким овечьим тропкам, то вверх, то вниз, то убыстряя, то замедляя шаги, то останавливаясь и глядя на далекий снежный двуглавый Эльборус.

Домой явился в сумерках. Хозяйка подала вареников с вишней, грушевый взвар. Поев, Виссарион вышел на воздух со своей трубкой.

— Что? — спросил Ефремов, ожидавший на крыльце. — Дурные вести?

— Письмо от Мишеля. Прочти, если хочешь.

— Я не разбираю его руки, а ломать глаза не намерен. Ты огорчен?

— Уже нет. Он предполагал уничтожить меня, но не достиг цели. Оказывается, он просто не понимает ни меня, ни себя самого.

— Уверен, Висяша, что тебе не трудно вывести его из этого двойного заблуждения.

— Как бы не так...

Белинский вздохнул.

— Наши споры — не вздоры, Алексей. Начать с того, что он говорит, что мы все, Станкевич, Мишель и я, в последнее время ужасно пали, и наши отношения опошлись, а меня он впрямую сравнивает со свиньей, которая валяясь в грязи, ругает эту грязь.

— Он сумасшедший? За такие слова...

— Пустяки. Истина не презирает никаких путей и пробирается всякими. Я почел бы себя еще гораздо хуже свиньи, если бы обиделся истиною, высказанной прямо и без околичностей. Скажу более, он гораздо снисходительнее ко мне, нежели я заслуживаю того на самом деле. Потом он говорит, что теперь «встал», чтобы уже никогда не пасть, «встал « навеки, что живет в царстве любви, царстве божием.

— Это Мишель-то? Ты шутишь?

— Как бы не так! Пусть посмотрит на своих сестер! Они в тысячу раз лучше него, в тысячу раз совершенней его, для них падение трудно, они давно живут в царстве любви, в царстве божием, к которому он приобщился *навсегда* так недавно. И что же? Они-то именно те, которые менее всех ценят себя и менее всех думают о себе. А он словно забрался на высоту и кричит: «Ура! Наша взяла!»

— Напиши ему об этом.

— Напишу нынче же. В его же духе и тоне. *Я и вы*, говорит он беспрестанно. Разве наше *мы* не составляет уже какого-то *я*? Какой злой дух овладел им? Его ли это душа? Ладно, на мой счет он может быть и очень прав. Но я не могу понять этого презрительного сожаления, этого обидного сострадания, с которым он смотрит на падение Станкевича. Дай бог, чтобы Николай восстал скорее, чтобы он скорее вышел из этой ужасной борьбы; но я бы первый презрел его, как подлеца и эгоиста, если бы он не пал, пал ужасно.

— Станкевич — самая страдательная фигура в этой истории, — сочувственно вздохнул Алексей.

— Еще бы! — Белинский вскочил и потянул за собой Ефремова. — Пойдем погуляем, Алеша. Душа горит. Выпьем по стаканчику. Вино здесь кислое, зато дешевое.

Они сбежали вниз. Уже вечерело. На главную улицу выходила гулять местная и приезжая публика. Был среди них и генерал Свечин, помещик, сосед Бакуниных в Тверской губернии. Было много военных. Ох, уж эти господа офицеры! Каждый из них катал хлебные шарики не хуже Мишеля!

— Он не понимает, что если Станкевичу суждено встать, то нам надо будет смотреть на него, высоко подняв голову: иначе мы не рассмотрим и не узнаем его, — задыхаясь на быстром ходу, не переставал говорить Виссарион. — Станкевич — человек гениальный, он всегда будет показывать нам на дорогу. Перебирая в уме всевозможные несчастья: непризнанную любовь, лишение всего милого в жизни, ссылку, заточение, пытку, я еще в иные минуты вижу дух мой наравне или еще и выше этих несчастий. Но пусть они все обрушатся на мою голову, только избавь меня боже от такого несчастья!

— Потихе ты, еще накликаешь. Мороз дерет от твоих слов.

— А каково ему? Как! быть виною несчастья целой жизни совершеннейшего и прекраснейшего божьего создания, посулить ему рай на земле, осуществить его святейшие мечты в жизни и потом сказать: я обманулся в моем чувстве, прощайте! Этого мало: не смей даже и этого сказать, но играть роль лжеца, обманщика, уверять в ... боже мой!

— Мишель пошлый человек...

— ... если не понимает необходимости его падения! Еще и намекает, что оставит нас, то есть, меня и Николая, если мы не «встанем». Эх, Мишель, Мишель...

Приятель зашел в питейное заведение. Первый стаканчик красного вина выпили чуть не залпом, потом стали пить не спеша, закусывая мелкой вяленой рыбешкой, которая ловилась в реке и здешних ручьях. Белинский пьянел быстро. Загорелое лицо его покраснело, покрылось капельками пота, в движениях пропала четкость, зато развязался пуще прежнего его язык.

«Он сейчас, наверное, очень похож на своего отца, о котором вспоминает всерьез и с обидой. Все мы — сыновья своих отцов, — подумал Ефремов. — А назад-то его надо будет тащить на себе».

— Я в прошлом месяце написал письмо Станкевичу, в котором обвинял себя в таких грехах, что лучше бы не родиться на свет, как говорит Гамлет. Недавно получил ответ, — говорил Виссарион. — Бедный тяжело страдает. Душа его больна только сознанием гадости прошедшей жизни. «Я не лучше тебя, а хуже, гораздо хуже», — говорит он. Но привычка, так сказать, к жизни идеи видна во всем. «Как верите и как сомневаетесь?»...

— Да, это Николай.

— По-прежнему пишет о том, что так занимает его душу, даже паясничает, и, между выражений души убитой и растерзанной, у него по-прежнему вырываются шутки, от которых нельзя не хохотать. Одна мумия в музее, который он осматривал, напомнила ему меня. «Так было трогательно!»- написал он. Это вырывается у него сквозь слез.

— Он знает, что Мишель *все* открыл всем, кроме *нее*?

— Я сообщил ему. *Tiat voluntas tua!* — вот все, что он сказал.

— «Так хочет бог!»

— Впрочем, заметно, что он доволен этим. Я, с моей стороны, тоже доволен, что к развязке, какова бы она ни была, сделан первый шаг. Ужасная роль!

— Скажи, Висяша, если бы не Мишель с его несносным присутствием... я хочу сказать, если бы не он и не его бедный старик-отец, так неумело выступивший в роли свата, если бы не...

— Да, да, я уверен в этом. Рад, что ты взял мою сторону. Они могли бы соединиться, эти два существа из высшего мира... Бакунин мастер разрывать и разрушать, идея для него дороже человека...

Они помолчали. Упершись локтями в стол и положив лицо на кулаки, Белинский смотрел перед собой отуманенным взглядом.

— Станкевича очень радует известие, что Варенька Дьякова хочет писать к нему.

— Зачем? — удивился Ефремов.

— Бог весть. Она тоже за границей. «Может быть, это только утешение, — думает он, — но спасибо ему, оно, ей-ей, утешило меня. Если бог вывезет меня из нравственного ничтожества, я опять буду не один в свете — я так высоко ценю это семейство. О, тяжело жить без кумира! Если не любовь — сочувствие необходимо в этой жизни».

— Узнаю Николая. Меня тоже тянет в Прямухино.

— Я каждый день вспоминаю и думаю о нем, о них, и это воспоминание — одно сокровище в моей бедной жизни.

Они сидели на открытой веранде, уставленной столиками. Народу прибавилось, все были хмельны, над столиками колыхались клубы дыма, нестройный говор и смех. Горели свечи, накрытые стеклянными колпаками. Вокруг них вились мотыльки.

— Половой! Еще кувшин! — развязно крикнул Белинский.

Через полчаса он был пьян, как сапожник. Ему хотелось исповедоваться, выговариваться, каяться в грехах и пороках.

— Во мне два главных недостатка, друг Леха: самолюбие и чувственность. После гризетки я бросился в разврат и искал в нем забвения, как пьяница ищет его в вине. Потом взял на содержание девку... Эх-ха! И везде, во всем — все та же беспорядочная жизнь, неаккуратность, то же презрение не только к гривенникам, но к ассигнациям и золоту. Не веришь? — он ударил кулаком по столу, от чего стаканы подпрыгнули, рыбешка посыпалась на пол. — А между тем, я всегда мог бы жить безбедно, если не богато, и тем избавился бы от лютых душевных мук и бездны падения!

Он вцепился в свои волосы и стал раскачиваться за столом из стороны в сторону. Потом словно замер.

— Великий боже, до чего я дошел! «Грамматика», моя последняя и твердая надежда, — рухнула! Я должен тебе, Ефремов, шестьсот рублей. Да тотчас по приезде я должен буду заплатить за квартиру и *авошную* лавку тоже не менее шестисот рублей, окопировать брата и племянника, которые обносились, и, сверх того, иметь деньги для дальнейшего физического существования. Где я их возьму?

Ефремов молча тянул из стакана кислую терпкую влагу. Пусть он выговаривается, его великий друг. То, что написано им здесь, на Кавказе, так превосходно, что диву даешься

— Вот что я должен делать, — прекрасный лоб Белинского разгладился, ушло напряжение и с его выразительных губ, — и незамедлительно: уничтожить причину зла, а все мое зло в неаккуратности, в беспорядочной жизни, в презренных гривенниках. Аккуратное и самое скрупулезное внимание к гривенникам — не цель, а средство, а соединенное со стремлением к абсолютной жизни, оно есть истинное совершенство человека. Но, Алексей, пусть, пусть он знает, этот подлец Мишель, этот логический скелет, Хлестаков, офицеришка, что лучше быть падшим ангелом, то есть, дьяволом, нежели невинною, безгрешною, но холодной и слизистой лягушкою. Лучше вечно валяться в грязи и болоте, нежели опрятно одеться, причесаться и, подобно североамериканским торговцам, думать, что в этом-то и состоит все совершенство человека!

— Наверяд ли он так думает, он слишком умен, наш Мишель. Он тоже не теряет времени зря. Пора, Висяша, — Ефремов поднялся. — Я бы советовал тебе завтра же написать Мишелю большое письмо. Ты во многом прав, но и захлестываешь. Пойдем, утро вечера мудренее.

Они вышли в теплую свежесть позднего вечера. Звезды, низкие, ясные, смотрели сверху не мигая и словно свешивались на ниточках. Над горами, освещая их резкие очертания, вставала в зареве луна. Обняв друга за плечи, оступаясь на склоне, Белинский продолжал говорить на ходу.

— Он пеняет мне, что-де однажды ему удалось пробудить меня от моего постыдного усыпления и указать мне на новый для меня мир идеи. Это правда, я этого никогда не забуду. Он много, много сделал для меня. Но не новыми утешительными идеями воскресил он меня, а тем, что вызвал меня в Прямухино. Душа моя смягчилась, ее ожесточение миновало, и она сделалась способною к восприятию благих истин. Премухинская гармония была главное причиною. Ах, Ефремов, какое благоговейное уважение питаю я к его сестрам! Но никогда не забуду, каких мук, каких армейских штучек натерпелся я от него!

— Напиши, напиши ему, Висяша. Ты же знаешь его...

— Да, знаю, знаю. При первом же разговоре он снова друг и брат, снова прежний добрый Мишель.

Друзья, громыхая, взошли на крыльцо своей хаты, шаря руками по стенам, открыли в темноте дверь в свою комнату.

По возвращении в Москву Белинский устроился преподавателем словесности в Межевой институт. Кропотливым трудом доставалось ему место под солнцем, и труды эти приносили плоды. «Грамматика» его, изданная на деньги друзей, потихоньку продавалась, хотя и не была принята в качестве учебника, на что он так горячо рассчитывал. В журналах печатались его статьи и рецензии, шли переговоры об участии в «Московском наблюдателе», который хотели передать под его руководство. Росла известность и влияние в обществе. Однако, без Станкевича и без Мишеля Москва для него как бы опустела. Лишь Васенька Боткин с его бесконечной добротой, с его милой лысиной и всегдашней готовностью к восприятию впечатлений искусства, согрел сердце.

Приятели сидели в комнате Василия. Они припозднились, было часов десять вечера, почти ночь для тех, кто не покладая рук работает день-деньской. Белинский чувствовал себя не совсем ловко, зная, что после дня, проведенного Боткиным в чуждом мире купеческих дел своего отца, он посвящает тихие вечерние часы миру своей души, много читает и пишет об искусстве.

— Скажи мне, Лысый, как ты относишься к деньгам своего отца? Ты тратишь их на себя?

Боткин посмотрел на него ясным взглядом.

— Я не почитаю себя вправе воспользоваться копейкою батюшки, Висяша, — ответил он, с тихим упоением называя Белинского по имени, что необыкновенно привлекало к нему. — Я смотрю на свои отношения к нему по делам торговли, как на отношения приказчика к его хозяину.

«Голубь, — залюбовался Виссарион. — Сколько ума, святости, гармонии в его душе, как мне легко, весело, когда я его вижу! Мне бы вот так-то с проклятыми *гривенниками!*»

Он поднялся. Боткин удержал его.

— Оставайся ночевать, Белинский. Куда в такую темень да непогоду?

На дворе вторые сутки лил дождь со снегом, из-за каждого угла налетал ветер, немощные улицы и переулки по берегам Неглинки утопали в глубокой грязи.

— Не стесню?

— Да нисколько. Места хватит.

Они улеглись в разных концах комнаты. И вновь разговорились о делах, о приятелях, о философии.

— Мишель пропал, не пишет, не дает о себе знать. Как-то и них дела? И далеко ли он в штудиях Гегеля?

— Мне бы хотелось вместе с вами понимать Гегеля, — задумчиво проговорил в темноте Боткин. — Да боюсь, не догоню.

— Чтобы понимать Гегеля, надобно вначале познакомиться Кантом, Фихте, даже Шеллингом. Обратись на их счет к мерзавцу Бакунину, — ответил Виссарион.

— Ты сердит на него?

— Можно ли на него сердиться?

— Но, как я посмотрю, ты не свободен от него, Висяша. Слишком высоко поставил его над собою.

— Мишку-то? Всегда признавал и теперь признаю в нем благородную львиную породу, огромный ум, могучий и глубокий дух. Он пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в крови. И вижу его чудовищное самолюбие, мелкость в от-

ношении с друзьями, желание властвовать авторитетом, а не любить.

— Ты в плену у всего семейства. Я знаю, что является причиной твоего бессилия перейти в полную жизнь духа.

Белинский даже подскочил на своей кушетке.

— О чем ты говоришь, Васенька?!

— А вот о чем. Я давно хотел у тебя спросить. Мишель мне сказывал, что ты любишь его меньшую сестру, но что, по несчастью, она тебя не любит. Не это ли причина твоего застоя?

Слова эти болезненно потрясли Белинского.

Три дня он был сосредоточен, грустен, носил в душе страдание и вместе с ним веру, силу, мощь какую-то, а на четвертый почувствовал припадок чувственности и закончил тем, что поехал к Никитским воротам.

— Почему, — рыдал он про-себя, — почему меня не любила ни одна, никакая женщина, ни высокая, ни пошлая? Ни от одной, и ни от какой не видел я себе ни малейшего предпочтения!

И если прежде он просил у жизни блаженства счастливой любви, то теперь стал просить и жаждать страдания. Войти в себя, разлучиться со всем, что мило и страдать, страдать...

Между тем, вестей из Прямухина не было никаких. Мишель словно умер для всех друзей. Что там, как там? Прошел ноябрь, декабрь. Белинский томился. Им овладела тоска, тягостное предчувствие, ему хотелось одним прыжком перескочить в Прямухино.

— ... Пиши, Мишель, ко мне, пиши все: я хочу все знать, потому что хочу за все страдать, как страдаешь ты. Я не могу более оставаться в неизвестности, — слал он письмо за письмом.

Предчувствия не обманули его. В Прямухино пришла беда. Сломленная переживаниями, тяжело заболела Любаша. Приступ следовал за приступом, она слегла и лишь изредка подымалась с постели. Редкие вежливые письма жениха не поддерживали ее более. В притихшем доме остались родители, три сестры и старший сын, словно бы тридцать лет назад. Но в отличие от тогдашнего Александра Бакунина, старший сын не терпел над собой никакой власти. Война между ними шла в открытую.

— Это ты со своими друзьями погубил Любашу, — кричал в отчаянии отец, — безумными философскими бреднями ты развратил души сен-симонизмом, разлучил дочерей с отцом, отторгнул Варвару с мужа, отравил мальчиков вольнодумством! А теперь погубил Любашу. Все зло от тебя. Горе, горе всему семейству! Все труды пошли прахом!

Сын отвечал, не жалея старика-отца. С беспощадной логикой, словно с копьем наперевес, он припомнил ему и сватовство Ренне и Загряцкого, и его слова «пусть погибнет, но выполнит свой долг», врезавшиеся всем в память, и даже отроческое отчаяние Вареньки, оставшиеся тайной для отца. Он гремел обличениями без всякого сострадания.

Вконец измученный, задыхаясь и держась за сердце, отец выгнал Мишеля из дома.

— Уходи, уезжай с глаз долой! Никогда больше не смей показываться здесь! Иначе я посажу тебя в каземат. У меня достанет знакомств, чтобы упрятать тебя в темницу!

С книгами, с конспектами Мишель появился в первопрестольной. Придя к вечеру после лекций в институте и уроков детям Левашовых, Белинский застал в своей комнате облака дыма, беспорядок, разбросанные вещи, мед, варения и соленья, и долгожданного Мишеля.

Как он обрадовался! Он чуть не тузил его кулаками.

— Почему молчал? Уж не обиделся ли на письмо с Кавказа? Ах, Мишель, Мишель! Разве можно на это сердиться? Твое проклятое молчание свело меня с ума. Все, кто тебя любит, спрашивали о тебе. Сечь тебя надо, Мишель, да приговаривать: не ребячься!

— Я столько наработал в Гегеле, столько понял, Виссарион, вон стопа тетрадей. Как я продвинулся!

— Что Любаша? Сестры?

— Любинька занемогла.

— Что?! Чем? — вскрикнул Белинский, нутром ощутив нечто ужасное.

— У ней открылась водяная.

— Боже мой!

Виссарион схватился за голову, стоял, покачиваясь, как болванчик.

— Почему именно ее не щадит судьба, почему ее, лучшую из всех нас?

Бакунин протянул ему конверт.

— Вот письмо от сестер.

Белинский схватил письмо, быстро прочел.

— Здесь, в конце приписка от нее самой, от Любаши. О, эта рука рождена для благословения больше, нежели рука всякого архиерея!

Слезы потекли из его глаз. Мишель молчал, опустив голову. Наконец, хмуро проговорил.

— Отец выгнал меня из дома, Виссарион. Отказал в средствах, даже грозился заключением под стражу, — вздохнув, он сгорбился, сидя на табурете.

— Он может, — сочувственно раскинул Белинский. — Не горюй, Мишель. Живи у меня. Уроки для тебя сыскать нетрудно. Ничего, как-нибудь... Я теперь непрерывно учусь по-немецки и по-английски. А как Егор Федорович? Чему надоумил?

Они проговорили до рассвета. Едва услышав «сила есть право, а право есть сила» Белинский замер и несколько минут не мог вымолвить ни звука. Потом с прерывистым дыханием стал бегать по комнате, благо снимал он на этот раз холодную уютную залу со щелястыми полами.

— Мишель, Мишель! Ты — воплощенная мощь, беспокойное глубокое движение духа! Да знаешь ли ты, что в словах «Сила есть право, и право есть сила» — мое освобождение! — размахивая руками, словно непутевый сельский пьянчужка, он носился от стола к дальнему окну и обратно. — Только сию минуту я понял идею падения царств, законы завоеваний, увидел, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка, нет случайности... И кончилась моя опека над человечеством. Значение моего отечества предстало мне в новом виде.

Мишель с улыбкой смотрел на друга. Он ожидал подобного всплеска и наслаждался им. В запасе у него имелись еще и не такие откровения, он приберегал их для другого случая, для вящего торжества и чтобы не валить в одну кучу. Пусть-ка Виссарион

поработает мозгами сам. То, что открывается такому другу, немало обогащает и его, Мишеля, в этом и состоит общественное развитие. Перелистывая конспект, он стал бегло зачитывать о законах диалектики.

Белинский стоял с закинутыми за голову руками. За его спиной мерцала, потухая, оплывшая свеча.

— Новый мир! Новая жизнь! Долой ярмо долга, к черту гнилой морализм! Человек может жить — все его, всякий момент жизни велик, истинен и свят! О, Мишель!

В отсутствие Станкевича его кружок стал собираться у Боткина. Катков, Аксаков, Иван Ключников, даже Кольцов, если оказывался в Москве, приезжали по субботам в Замоскворечье в купеческий особняк. У милейшего Василия Боткина всегда можно было и приятно поговорить, закусить, обсудить насущные дела. Журнал «Московский наблюдатель» и в самом деле был куплен новым издателем и отдан в руки Белинского. Работа закипела. Статьи по философии в него готовили Бакунин и Катков, стихотворения предлагали Кольцов, Ключников, Красов, искусство освещал Боткин.

Душою кружка были теперь Белинский и Бакунин. Ослепительная истина зажглась для них, как звезда в ночи. Формула Гегеля свела с ума обоих.

Что действительно, то разумно,

Что разумно, то действительно,

С жаром провозгласили они примирение со всем, против чего так недавно восставала душа Verioso. Жестокость власти, крепостное право, страдания человека... все погрузилось в примиряющий гегелевский елей. Как же надо было *натянуть* себя, чтобы в одно мгновение принять новую веру!

Читатели «Московского наблюдателя» не разделяли их восторгов.

А между тем, сам Георг Фридрих, будучи подданным прусского короля, можно сказать, преподнес это заключение прусским властям в обмен на возможность не опускаться с философских высот к земным житейским неудобиям. И лишь в ироническом разговоре с Гейне великий немец намекнул однажды, что

сколь действительна и разумна прусская монархия, столь же разумна и действительна оппозиция, если уж она существует...

Но где было русским юношам проникнуть в житейскую мудрость своего кумира! Они пороли горячку во имя Гегеля, не смущаясь ни натяжками, ни противоречиями. В марте 1838 года в журнале «Московский наблюдатель» появилась статья Михаила Бакунина. «Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика».

«Философия! Сколько различных ощущений и мыслей возбуждает одно это слово; кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с утверждением о том, что такое истина и в чем заключается истина?» — были ее первые фразы.

Статья имела успех. Слава Бакунина, как толкователя гегелевой диалектики, распространилась по обеим столицам, его конспекты переписывались, а сам он вошел в моду и охотно посещал салоны и вечера в дворянских домах. Университетская молодежь жадно схватилась за немецкую мудрость, чтобы пережить ее в русском духе и выработать собственный взгляд на мир. Взались за работу переводчики, имя Гегеля стало распространяться по стране. У Белинского же новые воззрения прорастали в его статьях, которыми зачитывалась вся думающая Россия.

Они продолжали жить вместе. Один по-прежнему занимал деньги направо-налево и тратил на сладкую водичку и пирожные в кондитерской Печкина, другой трудился, как пчелка, но тратил так же беспутно, как и его друг. Их страшные споры пугали друзей. Они уже во многом признались друг другу, обсудили самые щекотливые грехи и недостатки, в том числе и пошловатые, грязноватые отношения Мишеля с сестрами Беер, которые окончательно покорились ему, и набеги Белинского к Никитским воротам, и так далее, далее...

Но однажды все изменилось. Началось с того, что Белинскому пришлось *выговорить* перед Мишелем одно старое недоразумение, которое занозой сидело в душе, ожидая разъяснения.

— Скажи, Мишель, за что ты мучил меня тогда в Прямухино? — спросил Белинский, вовсе не желая ссоры. Он полагал, что их отношения, несмотря на неизбежные стычки *о гривенни-*

ках, давно уже выше обыденных распрей и настолько просвещены истиной, что все можно выяснить *разумно и объективно*. — За что вонзал мне нож в сердце, и, вонзая, поворачивал, как бы веселясь моим мукам? Чей дух в тебя вселился в то давнее лето?

Бакунин странно посмотрел на него и не ответил. Молчание его казалось необычным. Кто-кто, а он с полуслова схватывал суть и начинал развивать ее со всей мощью своего ума. Удивленный, Белинский вновь заговорил о том же. Ему надо было *выговориться*.

— Помнишь, когда я разговаривал с Татьяной Александровной, ты нарочно подошел, чтобы срезать меня? О, как запрыгали по всему телу, ото лба до пяток, острые иглы! Я понял тогда, что есть оскорбления, которые могут засыпать, притаиваться, но не исчезать. А ведь я всегда любил тебя, Мишель! Но каждый раз, когда ты унижал меня, я чувствовал к тебе ненависть. Давай разберемся, что побудило тебя к подобным выходкам?

Мишель словно окаменел. Видно было, что в душе его происходило нечто ужасное. Это отразилось в подрагивании прихотливых губ, в неровном взгляде потемневших, всегда таких ясных голубых глаз, во всем его существе.

Белинский испугался.

— Не надо, не мучай себя, оставим это, — трусовато заспешил он, но Бакунин прервал его отрубаящим взмахом руки.

— Я скажу. Скажу, если даже ты отвергнешь меня после этого, даже если буду презрен всеми, кто меня любит.

Виссарион замер. Такие слова не предвещали ничего хорошего. Он отвел глаза.

Бакунин заговорил трудно и медленно.

— Я не знаю, как назвать мое чувство к Танюше, знаю только, что оно породило во мне ревность, и ревность эта изгрызла всю мою душу, привела меня к полному крушению.

Мишель криво усмехнулся одной щекой.

— Я сказал.

Белинский смотрел на него с удивлением и ужасом. Руки его опустились.

— О, Мишель! Ты был... ты ревновал ко мне... кого же?! и питал ко мне неприязненное жгучее чувство?... Мой бедный доб-

рый Мишель! кто делает такие признания, тот — человек! Теперь я не только больше люблю тебя, но и больше уважаю. Я поставил тебя на ходули в моем мнении, я уважал тебя, как идеал, но мое уважение было холодно...

Белинский, дрожа от волнения, говорил все подряд, все, что приходило в голову в эту бездонную минуту.

— Теперь ты сам сошел с ходуль, ты показал себя в виде жалком, униженном, презренном, но теперь-то я уважаю тебя горячо, ты облекся в моих глазах в какое-то фантастическое величие. Ты падал ужасно, но потому, что должен был падать, потому что только таким путем мог дойти до своего настоящего развития. Дух развивается во времени и в обстоятельствах....

Белинскому и хотелось убежать и забыть, забыть то, что он услышал, и вместе с тем хотелось войти в это новое, неизвестное ему страдание чужой души, страдание, на которое, он был уверен в этом, его слова лили сейчас спасительный бальзам.

— Существенно только то, что ты встал, и встал для того — теперь я согласен с этим, — чтобы больше не падать. Твое признание сняло гору с души. Тот подлец, негодяй, черствая душа, кто осудил бы тебя за это.

Белинский уже давно не сидел, бегал по зале, подбегал к Мишелю, с нежностью дотрагивался до него, сидящего с поникшей головою, и снова пускался в *говорение*.

— Ты, Мишель, обнаружил гигантскую силу духа в самом падении. Мои статьи были для тебя — нож вострый, а ты хвалил их, ты давал мне все способы торжествовать на твое мучение! Ты подозревал, что Татьяна Александровна меня любит, и, зная, что мои статьи есть лучшая, блестящая и самая сильная моя сторона, и что только этим я могу увлечь женщину, — и ты, ты хвалил мои статьи, ты улаживал их чтение. Ты, Мишель, просто велик! Силе духа твоего дивлюсь. Им-то ты и подавляешь меня, я чувствую себя ничтожным перед тобою и под ногами твоими говорю тебе, что люблю и уважаю тебя теперь более, нежели когда-нибудь. Нет, даже не так. С сих пор будем знать и любить друг друга такими, каковы мы в самом деле.

В апреле в Москву из Прямухина приехали с матерью Татьяна и Александра Бакунины. Мишель поспешил воссоединиться с

возлюбленным семейством, никогда не перестававшим его любить и слушать. Он перебрался к ним со всеми своими книжками. Давно хотелось ему сбежать от Белинского с его морализмами, от которых он приходил в ужас, с его несчастными *гривенниками*, вспышками гнева и разгула.

Но Белинский! Что произошло с Неистовым? Робкий, влюбленный, он сидел у Бакуниных что ни день, ни вечер, глаз не спуская с Александры, слушал ее, увивался возле нее, доставал билеты в ложу, и на концерты, и сопровождал их в Кремль, посмотреть, конечно же, *на Царь-пушку, из которой нельзя стрелять, и на Царь-колокол, который упал прежде, чем звонил*. Он благоговел перед Александрой Александровной.

И все друзья, кто был и не был у них в Прямухино, радостно слетались в гости к барышням Бакуниным.

Однажды пришел и Боткин. Белинский сам привел и представил его, с любовью расхвалив заранее так, как один только и умел. Мог ли он предполагать последствия! Васенька, свят человек, с лысинкой от лба до макушки, милый, ясный, тонкий ценитель искусства, располагающий к себе с первой же минуты... был с первой же минуты сражен младшей Бакуниной, Александрой Александровной!

Это сверкнуло, точно лезвие кинжала! И тотчас же вся жизнь его сосредоточилась лишь в этой девушке, в ней одной, в ее небесной улыбке, нежном румянном лице, пышной косе, синем платье с голубым корсажем... каждый миг она была перед его глазами. Боткин потерялся. С одной стороны — друг-Белинский с его глубоким чувством к ней же, с другой — она сама, звезда, аристократка до кончиков пальцев, несмотря на милую простоту в обращении. Он чувствовал в ней взаимность. Нет, нет, он не обманывался! Ее глаза, мгновенные встречные взгляды говорили так много! Но мог ли он решиться... Прошли неделя, другая, третья, показавшиеся Василию страшным и пленительным сном.

Уже стоял май. Садовое кольцо и все палисады были в цвету, отошли короткие черемуховые холода, стало тепло. Вся Москва засобиралась в деревню, в дворянские имения, на приволье лесов и полей.

— Приезжайте, господа, к нам в Прямухино! — приглашала всех madam Бакунина.

Они уезжали в конце мая, оставалось несколько дней.

Боткин решился. Он выбрал час, когда никого из гостей у Бакуниных не бывало, и, сам не свой, позвонил у подъезда. Едва ступил в коридор, как увидел *ее* на пороге комнаты, в лучах солнца. И она увидела *его*.

— Ах!

Она упала мягко, как сноп. Все сбежались, подняли, привели ее в чувство. Боткин держал ее за руку. Она слабо улыбалась. Объяснение произошло само собой.

Посмотрев на них, Мишель засвистел, мрачно усмехнулся и ушел из дома, хлопнув дверью. Он ревновал всех своих сестер, не желая ни с кем делиться их любовью.

С вытянутым лицом madam пригласила в Прямухино и Василия Боткина, купеческого сына.

Verioso узнал обо всем в тот же день. Не верить было невозможно. Три дня он неистовствовал и злословил, ночи напролет носился по улицам, похожий на сумасшедшего, потом вновь испытал сокрушительный припадок чувственности, бледнел, дрожал, трясся в жгучей лихорадке сладострастия, пока вновь не очутился у Никитских ворот. За всем этим последовало отупение и такое отвращение от жизни и самого себя, что от страшных мыслей зашевелились волосы на голове. Чувственность вконец опротивела ему. Апатия придавила холодным камнем. «Зеленый змий» не помогал.

Освобождение наступило к исходу июня. Вдруг, в одночасье. Он очнулся от зыбкого сна на рассвете, ожидая, что терзание, по обыкновению, проснется следом и накинется, подобно когтистому коршуну, на его душу, но ничего не произошло. Он приподнялся на локте, сел, оглянулся. Как легка ему эта комната, как светло на душе! Испытываясь, он вызвал самые едкие воспоминание... Никакой боли.

Белинский понял все. Кликнув мальчишку, он сунул ему записку для Мишеля, назначив свидание в редакции, и помчался легкими шагами.

В редакционных комнатах царил тишина. На столах выселись стопы исписанной бумаги, лежали оттиски статей, по углам стояли пачки журнальных книжек, упакованные в грубую затертую бумагу, перевязанную бичевкой.

Мишель не задержался. Они не видались с мая, с того самого дня. Он вошел, высокий, румяный, широкогрудый, с чистыми голубыми глазами, с привычным, незаметным для себя выражением превосходства во всей его фигуре, готовый к размышлениям на любую тему. Наклонившись, поцеловал Виссариона, и уселся на стул, закинув ногу на ногу.

— Рад видеть тебя, Висяша! — произнес он добродушно.

— Весьма рад и я, Мишка, — ясно и смело посмотрел на него Белинский.

Лицо Бакунина приняло озадаченное выражение. Белинский рассмеялся.

— Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель! Никогда так не стремилась к ней моя душа и никогда так не ужасалась ее, — он прошелся по комнате, потирая руки, поглядывая на друга, выжидавшего, с какого места нужно вступить в рассуждение. — И хочется жить, и страшно жить, и хочется умереть, и страшно умереть. Могила то манит меня прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тленья.

Сведя брови, уложив подбородок на огромный кулак и упершись локтем в другой, Бакунин молча следил глазами за шагавшим от стола к столу Verioso. Голос его, голос изменился, стал совсем иным!

— Мишель! — Виссарион остановился прямо перед ним. — Я был, я стонал под твоим авторитетом! Он был тяжел для меня, но и необходим. Я освободился от него нынче утром, то есть, почувствовал свое освобождение. Ты гнетешь чужие самостоятельности.

— Чем же?

— Да всем, всем. В твоем тоне всегда есть нечто кадетское, пренебрежительное. Мишель, мы оба были неправы друг к другу. Мы заглянули в таинственные светильники сокровенной внутренней жизни другого, и заглянули с тем, чтобы плюнуть туда, на этот святой алтарь.

Мишель молчал. При всей искушенности он не находился с ответом.

— Это была болезнь, — продолжал Белинский. — Теперь я здоров. Я позвал тебя с тем, чтобы узнать, здоров ли ты?

— Я? — Бакунин вскинул на него удивленные глаза и пожал плечами. — Здоров, как бык.

(Да понимает ли он, о чем речь?) — мелькнуло у Белинского странное подозрение.

— Кто не уважает чужого самолюбия, — продолжал он, — тот может только осуждать, а не исправлять. Я не щадил твоих ран, я выбирал из них самые глубокие. Мы оба не знали, что такое уважение к чужой личности, что такое деликатность в высшем святом значении этого слова. Я понял, что дружеские отношения не только не отрицают деликатности, но и более, нежели какие-нибудь другие, требуют ее.

Мишель согласно покивал головой. Откинулся, оперся локтями на стол за своей спиной и далеко вытянул ноги.

— А скажи, Висяша... от Сашеньки ты тоже свободен? — в его ухмылке таилась все та же насмешка превосходства.

— Клянусь. Это была натяжка. Теперь я это понимаю. Любовь — это сродство двух душ. Тайна сия велика есть. Встреча с родною душою есть чистейшая случайность. Нашел — твое, не нашел — не взыщи. Пропала у меня охота болтать о любви, допытываться ее значения и путаться в построениях. Ей-богу!

Белинский махнул рукой. Мишель оживился.

— Тогда послушай, как встретили Васеньку в Прямухино. Ха-ха-ха, — Мишель поправился на стуле, чтобы рассказывать с полным удовольствием. — Отец, уже упрежденный матерью, конечно, пригласил его в кабинет, спрашивает, мол, с чем пожаловали, милостивый государь Василий Никанорович? Васенька наш опустил глазки, набрался духу и пролепетал, что, мол, *почтительнейше* просит руки его младшей дочери Александры Алек-

сандровны. Люблю, дескать, страстно, до гроба, жить не могу, имею надежду на взаимное чувство...

Белинский напрягся. Вася Боткин, свят человек, стоял перед ним, как живой! Но почему Мишель рассказывает об этом с таким хамским сладострастием?

— Отец усмехнулся, — продолжал Мишель, трогая усики, отпущенные недавно, — и спрашивает невинно, аки агнец. «А чем, позвольте поинтересоваться, жена ваша будет заниматься в вашем доме, сударь? Уж не за прилавком ли стоять?» Васенька наш и так, и эдак, а вразумительного ответа дать не в силах. Тут папенька взял свой итальянский дипломатический тон. Я, говорит, не деспот и не враг дочери своей, (и он прищурился а la Maciavelli), но вот вам мое условие. Не желая ни потворствовать Ромео и Джульетте в их безумстве, ни препятствовать *вечной* любви, объявляю вам свою волю. Ежели через год чувства ваши сохранят нынешнюю свежесть, мы вернемся к вашему *предложению*. До тех же пор ни встреч, ни переписки позволено вам не будет. Передайте мой поклон вашему батюшке... С тем наш Васенька и отбыл.

— Он в Москве?!

— Где же ему быть?

— Бежим к нему. Ему худо, я по себе знаю.

— Ха-ха-ха! Тебя-то, Verioso, он пуще огня и боится.

— Пустяки.

— Тогда уволь меня. Прощай.

... Василий Боткин сидел за конторкой и что-то считал. Он похудел, осунулся, на щеках темнели впадины. Хмурясь, он вел указательным пальцем левой руки по длинной колонке цифр, отщелкивая правой дубовые костяшки счетов.

— Вася! — Белинский порывисто кинулся к нему.

Они безмолвно обнялись.

— Я все знаю, — мягко проговорил Виссарион, когда они уселись и Боткин распорядился насчет чая с бубликами. — Мишель сегодня был у меня. Я объявил ему, что отныне свободен от его авторитета, а он поведал твою историю в Прямухино.

— Он подлец, — тихо проговорил Боткин. — Он прислал *ей* такое письмо, что она, бедняжка плакала весь день. «Ты будешь

потеряна для своих братьев»... Он сосет их душу. На старика обиды я не держу, он защищает свое сословие. Время все решит.

— Что Любаша? Сердце мое не на месте.

Боткин опустил глаза и молча покачал головой. Белинский глубоко вздохнул.

Вдруг дверь распахнулась. Вбежавший приказчик растерянно объявил, что господин Бакунин требует срочно принять его. За его спиной уже возвышался Мишель. Он был бледен, в руке держал письмо.

— Дурные вести из Прямухина. Любиньке плохо, требуют доктора. Какого, где его взять? Умоляют срочно.

— Едем к Ивану Ключникову, — вскочил Белинский. — Его родной брат Петр Петрович имеет прекрасную репутацию. Скорее.

Доставить помощь в Прямухино было делом непростым. Дорожные расходы, сама дорога в Тверскую губернию под зачастившими дождями... Не всякий московский эскулап, но лишь свой, родной, давно знакомый, согласился бы на такое путешествие. Однако, Петра Петровича в Москве не оказалось. Он уехал домашним врачом с кем-то под Тулу.

— С кем, где он под Тулой, Иван?

— Вот, вот адрес, — Иван Ключников отдал клочок бумаги. Он и сам был очень болен нервами, мысль о бесплодно прожитых годах и скорой смерти иссушила его до костей. — Вы дайте мне ваше письмо, я припишу от себя, чтобы ехал, и мчите к нему под Тулу. Он согласится. Он уважает тебя, Виссарион, больше всех.

К просьбе Ивана на том же листе присоединили свои слова все присутствующие. Боткин дал денег, и за доктором для Любашши, бросив все редакторские дела, отложив недописанную статью о дивных, неслыханных стихах «Дума» и «Кинжал» нового, малоизвестного поэта Лермонтова, его алмазном слогe на фоне все увеличивающейся «фабрикации» стихов, все отринув, забыл про все и понесся в Тулу Виссарион Белинский.

... Они успели. Опухшая, с желтоватым лицом, девушка уже не подымалась с постели. Боли мучили ее, но ни одного горького

слова не слышали от нее родные. Петра Петровича Любаша любила. Они перешучивались, многое рассказывали друг другу.

— Если бы не Станкевич, я бы вышла за вас замуж, — улыбалась она.

Он благодарил, восхищенный высотой ее духа. Но, выйдя из круглой комнаты, горестно пенял родственникам.

— Если бы вы пригласили меня год назад, я бы ее вылечил.

Белинский тоже сживал у постели Любаша. Он рассказывал ей о Станкевиче, вспоминал его словечки, шутки. Ей было отраднее слушать Verioso, его же так любил Николай!

Иногда, проходя мимо ее комнаты, он слышал ее тонкое пение.

Не жилища я
На белом свету...

И другую, грустную-грустную песню, доносившуюся из круглой комнаты

Полетела б я до тебе,
Да крылец не маю,
Чахну, сохну — все горюю,
Всяк час умираю.

Слезы наворачивались на глаза. «Счастье было так возможно, так близко..... Почему так случилось?... «Несчастливая судьба» — сказал Николай о Пушкине. «Несчастливая судьба», — скажут и теперь. «Счастье было так возможно...».

В те дни он много гулял по саду, обходил пруды, водопады, и мечтал, мечтал, что если судьба будет щедра к нему, он приобретет кусок земли, похожий на Прямухино и создаст в нем такой же земной рай, чтобы каждую минуту ожидать, не мелькнет ли за поворотом аллеи женское платье, не зазвучит ли песня, дивный девичий хор. Дела призывали его. Погостив неделю, он зашел к Любаше проститься.

— Скоро ли увидимся? — спросила она.

Он потерялся при этом вопросе, грудь его сжалась. Пробормотав в ответ пожелания здоровья, он поспешил выйти.

Любаша умерла в начале августа. Ее похоронили в семейной усыпальнице. Старый отец плакал так много, что ослабел, зрение почти покинуло его.

Петр Петрович привез Белинскому последний рассказ о Любаше и письмо от Мишеля.

— Умерла! — вскричал Verioso. — Она умерла.

Слезы брызнули из его глаз.

— На этой земле она была вестницей другого мира. Она проливала вокруг себя воздух рая... Она вспомнила обо мне накануне смерти. Спасибо Мишелю, что не забыл сказать мне об этом. Так вот в чем был тот *выход*, о котором мы столько толковали! Смерть развязала гордиев узел. Бедный Николай!...

Короткое время спустя за границу ушло нежное письмо Белинского.

«Приготовься услышать печальную весть, Николай: *ее* уже больше нет: она умерла, как умирают святые — спокойно и тихо. Катастрофы не было: *тайна осталась для нее тайной*. Болезнь убила ее. С ангельским терпением перенесла она свои страдания. Тяжело быть вестником таких новостей... но бог милостив — и сохранит тебя... Не умею выразить тебе моего ощущения. Странное дело, когда я распространялся о себе, на меня напал суеверный страх, все пугало меня. Теперь я возвратился к ней — и страх оставляет меня. Ах, Николай, зачем не могу я теперь быть подле тебя и вместе с тобою плакать? Я плакал, я много плакал по ней — но один. Будь тверд».

Станкевич тихо брел по берегу Тунского озера. Его окружали воспоминания, он был близок к ним, он будто очнулся. Образы, звуки лучшего мира неслись к нему. Сегодня он получил два письма. Одно — *от нее самой*, задержавшееся в пути, другое — от Белинского. Смерть *ее* наполнила его грустью, но не отчаянием.

— Я не снимаю вины с себя, — Николай покачал головой, — но слова «*тайна осталась для нее тайной*», сняли половину

горя с души. Смерть оживила ее образ, сделавшийся уже страшным сном. Друг-Виссарион слишком много за меня боялся, его письмо собрало все, что могло утешить меня, и оно стало для меня спасением.

Больше года прошло со дня его отъезда из России. Он вел жизнь самую тихую, жил в разных странах Европы, в пансионах, отелях. Сейчас он снимал у хозяйки комнату с *романтическим*, по ее мнению, видом на поле. Юмор оберегал его совершенную духовную организацию. Кухарка и нянька служили ему усердно, но когда он просил принести ему суп, то непременно *должен был прибавлять, чтобы подали и ложку*.

Он уже постранствовал по Европе, испытал на себе, что человек без отечества и семейства есть пропащее существо, перекасти-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на ветру. Что до него, то ему приятно было странствовать, потому что был уголок на свете, где он не чужой.

Здоровье его то прибавляло, то отступало. В разных местах лечили по-своему.

— Жалобы бесполезны, — со всею ясностью и мужеством понял он в свои молодые годы. — Хуже всего эти глухие ничтожные надежды. Они унижают достоинство.

Он встречался с Шеллингом, который и так уже составил часть его жизни; никакая мировая мысль не приходила в его голову иначе, как в связи с его системою, и собирался слушать его в университете Берлина. И у Гегеля Николай с радостью увидел несколько своих любимых мыслей. Отправился он было и на лекцию Фихте, но Фихте в тот раз не пришел, зато нынешней осенью его лекции станут для Николая новым откровением.

Так он надеялся.

... К осени в Берлине, действительно, собрались многие друзья. Неверов, Ефремов, Иван Тургенев, Грановский, целое землячество. Русское семейство Власовых, постоянно проживающее в Берлине, радушно принимало молодежь. Конечно же, Станкевич был душой этого кружка, невозможно было не любить его, не признавать его авторитета, которого он, казалось, и не замечал. Вдали от родины можно было свободно высказываться обо всем,

и как быстро развивались и мужали молодые люди в этом ежедневном общении!

Как-то раз, засидевшись у Власовых до позднего вечера, они отправились заканчивать его к Тургеневу, жившему поблизости. Они все жили неподалеку, близ университета. Грановский что-то объяснял, *успевая в этом не столько словами, сколько пальцами*. Станкевич смеялся. Потом продолжил начатую прежде беседу.

— Мы забываем о том, что масса русского народа остается в крепостной зависимости, — говорил он. — Нет сомнений, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участие в управлении общими делами. Для этого требуется распространение в его среде умственного развития.

Они подошли к дому, где квартировал Иван и стали взбираться на четвертый этаж.

— Воспитание человечества есть одно из сладчайших моих верований, но болезнь похищает у меня душевную энергию. Смогу ли я что-то сделать для людей? Кто любит Россию, тот прежде всего должен желать распространения в ней образования.

Он задохнулся и принужден был остановиться, не дойдя до третьего этажа. Посмотрев на спутников, он сказал тихо.

— Дайте торжественное обещание, что вы все свои силы и всю деятельность посвятите этой высокой цели.

Друзья обнялись вокруг него. На четвертом этаже Станкевич закашлялся, прижал к губам платок. Когда он отнял его, на платке была кровь.

Познакомился он и с Вердером, тем самым, кто сказал, что «когда человек делает себе вопрос, значит, он не созрел для ответа». Слова эти так расположившие к нему Белинского, что, увидев их в письме Николая, он загорелся тут же прочитать все, уже написанное этим немцем. Николай тоже умилился этим человеком. Тому было тридцать лет, но он казался наивен, как ребенок. Все его радовало, и, казалось, на целый мир смотрел он, как на свое поместье, в котором добрые люди беспрестанно готовят ему сюрприз.

— Нельзя не позавидовать этой тишине и ясности, — вздохнул Николай, — этой вечной гармонии с самим собой.

В сухих исследованиях времени и пространства заставляли его письма друзей. Verioso и Мишель призывали его быть судьей в их *страшных* спорах, а он все яснее видел, что они давно повзрослели и их пути расходятся все дальше. Если Белинский, по его мнению, всегда носил в душе живую потребность выхода в простую нормальную действительность и в нем слишком сильна была потребность в настоящей жизни, отчего ему не грозит сделаться пустым человеком, то Мишель... Мишель, Мишель... У этого человека страсть быть на виду, страсть всех учить и давать, давать наставления направо и налево!

— Давно не видался с Виссарионом, — писал ему Мишель, — но, судя по тому, что о нем рассказывают, судя по проявлении его ненависти, он должен быть в ужасном расположении духа. Главным источником всех наших недоразумений было то, что сначала я, а потом и Боткин, стали уверять его, что без знания и без познания нельзя быть дельным редактором дельного журнала, что выводить из себя историю, искусство, религию и т.д. смешно и нелепо, что, ограничиваясь своими непосредственными ощущениями, не стараясь возвысить их до достоверных понятий мысли, он может сказать несколько верных замечаний, но и только. Он рассердился, сказал, что мы, пигмеи, осмелились поднять руку на его субстанцию, которую *даже ты глубоко уважал*. Я пророчил ему, что оторвавшись от всякого объективного интереса, он никогда не найдет того, что ищет, и, измученный, утомленный тяжкою борьбою...

И так далее, и так далее на многих листах.

— Любезный Мишель, — отвечал Николай, — в твоих силлогизмах всегда неверна первая посылка. Отчего бы это?... Благослови, друг — принимаюсь за «Логику» Гегеля. Авось путь выйдет! С удовольствием представляю себе твою красненькую рожицу.

Зато письма Белинского были полны нежности, брани и поэзии. Лермонтов! Новый талант на Руси! О, Пушкин умер не без наследника! Вот стихи его, Николай, прочти, не правда ли, алмазный слог! Я был у него, когда он сидел под арестом за дуэль с

сыном Баранта. Государь сказал, что если бы Лермонтов подрался бы с русским, он знал бы, что с ним делать, но когда с французом, три четверти вины слагается. Дрались на саблях. У Лермонтова обломилась сталь, он слегка ранен. Перешли на пистолеты. Барант промахнулся, Лермонтов выстрелил в сторону. Сомневаться в том, что Лермонтов — умный человек, было бы довольно странно, но он, кажется, нарочно щеголяет светской пустотой. А здесь в первый раз я видел этого человека настоящим! Мы едва знакомы, общих интересов никаких, что еще связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры! Первые минуты были неловки, потом завязался разговор об английской литературе и Вальтере Скотте. « Я не люблю Вальтера Скотта, — сказал Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух. « И начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него и не верил своим глазам, не верил своим ушам. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою. В словах его было столько истины, глубины, простоты! Я в первый раз видел истинного Лермонтова, каким всегда желал его видеть. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем! Недаром же меня так тянуло к нему. Читает Гофмана, переводит Зейдлица и не унывает. Если, говорит, переведут в армию, буду проситься на Кавказ. Душа его жаждет впечатлений и жизни... Я знаю одного знакомого, которого поражает большое сходство Лермонтова с Луниным; и тот и другой, по его словам — страстные любители сильных ощущений, и подвергать себя опасности для них необходимо. Уж таковы эти люди, и такова бесцветность жизни, что натуры сильные и подвижные не выносят ее серенькой обыденности. Он беспокоен за Лермонтова, за его офицерскую службу, не дай Бог, вновь под пулями на Кавказе.... Николай, меня пригласили в Петербург. Я продаю себя, Николай, не стесняя при том моего образа мыслей, выражения, словом, моей литературной совести, которая для меня так дорога, что во всем Петербурге нет и приблизительной суммы для ее купли.

— Будь посмирнее, — откликнулся Николай. — Не думай о себе, смотри на добро и сделаешься лучше. Живи тихо, спокойно

наслаждайся тем, что дает настоящее. Не требуй от себя слишком многого, но вместе с тем и не давай себе слишком много воли, и не слишком думай и заботься о будущем.

Белинский перебрался в Петербург и стал вести литературно-критический раздел в журнале «Отечественные записки».

Станкевич принялся выписывать «Отечественные записки». И вдруг... Он не верил своим глазам! Он не узнавал Verioso! Возможно ли столь безотчетно отдаться чарам Гегеля и Бакунина, чтобы в *таких* выражениях примириться с действительностью!

« Всякий шаг вперед русского народа, — читал он в статье «Бородинская годовщина», — каждый момент развития его жизни всегда был актом царской власти; но эта власть никогда не была абстрактною и случайною, потому что она всегда таинственно сливалась с волею провидения — с разумной действительностью, мудро угадывая потребности государства, сокрытые в нем без ведома его самого и приводя их в сознание. Философия Гегеля признала монархизм высшею разумною формою государства, и монархия с утвержденными основаниями, из исторической жизни народа развивающимися, была для великого мыслителя идеалом государства».

— Что с ним происходит?

А началось все с небольшого спора между Белинским и вернувшимся из ссылки Герценом. Московские гегельянцы встретили его и Огарева приветливо, но так, как принимают старых бойцов, людей, выходящих из тюрем: с почетным снисхождением, намекая на то, что они, молодые, — это *сегодня*, а те *уже вчера*, и требуя безусловного принятия *Феноменологии* Гегеля по их толкованию: все действительное разумно... и так далее.

Александр Герцен не согласился.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Спор закипел. Бакунин, хотя и спорил горячо, но призадумался, хотел объяснить, *заговорить*. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличений, что пугал даже собственных почитателей. Мира не получилось. Виссарион уехал в Петербург и оттуда дал по противникам яростный залп, который так и назвал: «Бородинская годовщина».

Когда он опомнился, было поздно.

— Какие гадкие, можно сказать, подлые статьи написал Белинский, — говорили вокруг. — Бакунин первый восстал против них. А кто внушил эти статьи? Ага... Он умнее и ловчее Белинского.

Виссарион заметался. Повязка словно упала с его глаз. Как он мог!? Что он наделал?! Он задыхался при воспоминании *о тех статьях*. В рыданиях проклял он свое *гнусное* стремление к примирению с *гнусной* действительностью, проклял *кровавый безумный период отвлеченности*, когда *смело давал подорожные на все пути жизни*, и, словно от чумы, шарахнулся от Мишеля. Все стало скверно!

— После трех лет дружбы с Бакуниным однажды и навсегда отрекаюсь от всех суждений о его сущности, — злословил он устно и письменно, — от сущности, которая может быть бесконечно глубока, но, тем не менее, совершенно чужда мне. О, гнусный, подлый эгоист, фразер, дьявол в философских перьях! Закоулками добрался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под свою повою. Не умею выразить мои прошлые чувства к нему, как любовь, которая была похожа на ненависть, и ненависть, которая была похожа на любовь.

Так переболел немецкой философией Виссарион Белинский. Теперь для него не существовало ни чужих мнений, ни авторитетов. Слишком дорогую цену заплатил он за свое освобождение. Отныне его пером водили собственная свободная мысль и художественное созерцание истины. Слава вернулась к нему сторицей.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь с ним на Невском проспекте.

— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу.

Между тем над Лермонтовым ходили черные тучи. Та дуэль с де Барантом будто бы из-за женщины, была по большому-то счету, из-за Пушкина.

— Я ненавижу этих искателей приключений, эти Дантесы и де Баранты — заносчивые сукины дети, — язвил поэт.

Слава его была широка. Но сам он не был ни любезен, ни просто приятен в обращении. Его «группа шестнадцати», офицеры и родственники, окружали его. Его глубокие умные и пронзительные черные глаза невольно приводили в смущение того, на кого он смотрел, тому казалось, что за несколько мгновений Лермонтов увидел его насквозь. В ту зиму во дворце часто давали костюмированные балы, на которых кавалерийские офицеры, сослуживцы Лермонтова и он сам, обязаны были присутствовать и танцевать. На этих развлечениях, неузнанная, в маске, бывала и сама императрица. Возможно, неприступный гениальный поэт привлекал ее внимание, возможно, она позволила себе коснуться его, полагая себя неузнанной. И его стихотворение «1 января» — мятеж поэта на пустоту и мерзость подобного окружения.

Так или иначе, императорская семья говорила о поэзии и прозе Лермонтова.

— Я не знаю, кто кого создал, — усмехался Великий князь Михаил Павлович. — Лермонтов ли «Демона», или «Демон» Лермонтова?

— А ты, мой друг, прочел его роман «Герой нашего времени»? — спросила мужа императрица

— Пока нет, я очень занят, — холодно посмотрел Николай Павлович, прекрасно осведомленный о слабости жены к поэтам-офицерам. — Но прочту непременно.

И он прочел. Он помнил слово. По мере в прочтения Царском Селе он набрасывал свои впечатления.

«Я работал и читал «Героя..», который хорошо написан. Второй том нахожу менее удачным, чем первый... Нахожу вторую часть отвратительною, вполне достойной быть в моде. Это то же

самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, так как в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе, как по гнусным и грязным побуждениям. Какой это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности? Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к новой повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво наградили этим эпитетом. Несомненно, кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако, капитан появляется в этом сочинении, как надежда, так и не осуществившаяся, и г. Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности — чтобы не вызывать отвращения. Счастливым путем, г. Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он сумеет его постичь и образовать.

13 апреля 1840 года Лермонтов был послан на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк без права покидать его. Вскоре появилось его стихотворение «Валерик» о жестоком бое, когда вода в речке Валерик была красной от крови. Ни одного представления поэта к награде царем утверждено не было.

А что же Мишель?

Он опубликовал в журнале Белинского две блистательные статьи о философии, единодушно признанные образцом подобных выступлений на русском языке. Белинский оценил их еще выше.

— Этот человек может писать и должен писать. Он многое сделает для развития мысли в отечестве.

Но сам уже не верил в это. Да как поверишь?

— Мишель — абстрактный герой, — жаловался он Васеньке. — Он владеет могуществом мысли, у него есть жажда движения, он ищет бурь и борьбы, но как только дело доходит до осуществления своих идей — он совершенный абстракт, лишенный всякого такта действительности, что ни шаг, то спотыкается. Делает то же, да не так.

Так и было. Мишель пребывал не у дел. Ему было уже двадцать пять лет, желчное ощущение *старчества*, гнет исчерпанности и пустоты навалились на него. Мода на его философские бдения миновала, кроме родных сестер и сестер Беер мало кто вслушивался и вчитывался в его диссертации. Общее мнение о нем, как о человеке неприятном в обращении, давно устоялось везде, где он бывал. Несмотря на это, деньги постоянно шуршали в его руках, не переводились «лихачи», не иссякал и рейнвейн на его столе. Очарованные им простаки оплачивали все его прихоти.

Брат Николай, умный красивый молодой человек, уже получил офицерский чин и служил в гвардии, младшие братья учились в университете на юридическом отделении, и лишь он, Михаил Бакунин, «влачил тоскующие дни».

— В Берлин, в Берлин, — твердил он как молитву. — Я готов все свои силы посвятить науке. А здесь меня ждет тихое постепенное опошление.

Примером ему был Грановский. Слава о его чтениях гремела по всей Москве. Вернувшись из-за границы, где обучался за казенный счет, он стал самым молодым профессором. В часы его выступлений аудитории заполнялись битком, молодежь ломилась услышать новое слово, искусно скользившее между цензурными ловушками. Можно представить, сколько задушевных мыслей Станкевича услышала через него Москва, если и сам Тимофей

Грановский благоговел перед ним, и подобно Verioso, считал гениальным!

Для Мишеля в его лекциях откровений было немного. Будь у него кафедра, он наговорил бы вдвое! Они понравились друг другу. Наслышанный о Бакунине, тот отнесся к Мишелю с дружеским теплом, и как многих и многих, его сразу очаровала *широта и полетистость его в высшей степени благородной и крепкой натуры.*

— Я высоко ценю его приязнь, — делился он с Аксаковым. — Кажется, его называют абсолютистом?

— Именно так, Тимофей, — кивал начинающий славянофил с окладистой бородой, уже недолюбливавший «западников», — А все потому, что для Мишеля нет субъектов, все объекты. Чудная натура! Ты читал его статьи?

Грановский как раз и находился под их впечатлением.

— Это истинно спекулятивный талант! — сказал он уважительно. — В науке он может совершить великое, но в сфере деятельности... он никуда не годится. Что из него будет? Дай бог ему скорее попасть в Берлин, а оттуда в определенный круг деятельности — иначе его убьет внутренняя работа. Как я заметил, разлады с собой и миром у него каждый день сильнее, — Грановский помолчал и добавил для внутреннего завершения владевшего им впечатления.

— Бакунин очень умен, но... без нравственных устоев.

Мишель начал хлопоты о заграничном паспорте. Другая забота — деньги. Он рассчитывал прожить за границей две тысячи рублей в год, готов был бы питаться водой и хлебом, ходить в лохмотьях... Туда, туда!

В Прямухино получили его отчаянное письмо о необходимости для него классического образования, потому что дилетантство никогда не доставит ему профессорского места! Старика-отца оно лишней раз утвердило во мнении об его инфантильности и неискоренимом эгоизме. Подумав, он решил не препятствовать сложным метаниям сына.

— Ты, как новый Дон-Кихот, влюбился в новую Дульцинею, и, увлекаясь мечтательными ее прелестями, совершенно за-

был все твои обязанности, — ответил он. — Делай, как знаешь, но более тысячи рублей в год я дать тебе не в состоянии.

Другое письмо, полное надежд и вздохов, получил от него Станкевич.

— Мне двадцать пять лет, — удрученно жаловался Мишель, — я делаю последние усилия, чтобы как-нибудь попасть в Берлин, от которого я ожидаю перерождения, крещения от воды и духа, но не знаю, удастся ли мне.

И добавлял, что по возвращении он рассчитывал бы сдать магистерские экзамены, и даже поступить на гражданскую службу в ожидании удобного случая для занятия профессорской кафедры в одном из русских университетов, чтобы читать лекции, подобно Грановскому. А если не удастся, то хоть снова надеть военный мундир и отправиться на Кавказ!

Его письмо застало Станкевича в Италии. Землячество разъехалось, с ним оставался один Ефремов. Они странствовали по побережью, останавливались в Риме, Венеции, наслаждаясь благотворными впечатлениями от искусства. Станкевичу казалось, что здоровье его поправляется, он даже собирался по осени домой.

— Полно, Миша! Не ложиться! — ответил он Мишелю. — Тебе двадцать пять! Эка беда! Как будто измерено, в какую эпоху дух перестает действовать в человеке! Никогда! Хоть в тридцать! Хоть начать в тридцать! Бодрость, смелость, любовь, дело! У всякого своя очередь, никто не назади и не впереди. Ты создан для доброго дела, ты не должен сомневаться в своем назначении. Истина требует одной чистоты душевной. Ну, с Богом! Прощай — будь здоров, светел и смотри на все *sub specie geternitatis* (с точки зрения вечности).

Варенька писала к нему. С сыном и гувернанткой она тоже жила за границей, боясь возвращения на родину. Развод ее, стараниями брата, становился реальностью, но ее пугала возможность Николая Дьякова отнять сына. Дьяков же писал ей почти со слезами, что никогда не станет ничем тревожить ее, что все отдаст в ее волю и даже сына увидит, когда тот сам этого пожелает, когда помощь отца станет ему нужна. И просил за что-то прощения, чувствуя себя виноватым, и умолял ее написать ему хоть не-

сколько слов собственной рученькой. Все это было тягостно. От сестер тоже не было утешения. В Прямухино, по их словам, стало мертво и тесно.

Ее тянуло увидеться со Станкевичем. В его письмах также постоянно сквозили надежды на встречу, он приглашал ее то в одно место, то в другое. Их многое связывало. Теперь, два года спустя после смерти Любиньки, здесь, на чужбине, они давно стали родными душами. Близкие внутренне, они оба предчувствовали счастье соединения. Но Вареньку останавливали легкие сомнения в искренности Николая, она помнила его вежливую нежность в письмах к сестре.

Наконец, летом 1840 года она решилась.

Николай очень изменился. Он был бледен, голос его был тих и слаб, он покашливал. Сердце ее сжалось. Они всматривались друг в друга с бесконечной любовью и признались со всей откровенностью, что давно уже любят друг друга. «Высшее существо» его светилось в его глазах, в шутках, в письмах друзьям, в мечтах об огромном историческом и философском труде, за который он возьмется по приезду домой. С Ефремовым, бонной и маленьким Сашенькой они предприняли переезд во Флоренцию.

По пути туда две недели спустя после встречи с Варенькой, они остановились на ночь в одной из придорожных гостиниц. Станкевич и Ефремов заняли одну комнату, пожелали друг другу доброй ночи, намереваясь наутро продолжить путешествие. Когда же с рассветом друг стал будить его, то увидел, что Николай мертв. Он скончался тихо, в уголках губ его осталась легкая улыбка.

В Россию весть и кончине Станкевича пришла небыстро и отозвалась болью во всех, кто его знал. Друзья собрались, чтобы воздать в искреннем проникновении его светлой памяти, кто не смог, написал, передал свою печаль.

— Не только мы, друзья Станкевича, но два или три поколения студентов Московского Университета предчувствовали в нем какую-то новую силу, ждали, чтобы он высказался, — тихо говорили за столом.

— Необыкновенный человек, гениальная душа, божественная личность, гордость и надежда, призванный на великое дело...

— Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Подумайте о том, что был каждый из нас до встречи с ним?

Наконец, Белинский сказал в заключение общее слово.

— Нам посчастливилось. Все мы обязаны ему полнотой нашей душевной жизни, я — более всех. Если мне суждено совершить что-нибудь в жизни — то будет делом Станкевича, который вызвал меня из ничтожества. Впрочем, не со мной одним он это сделал. Кто знал близко Станкевича, для тех он не умер.

От произведений Николая Станкевича не осталось почти ничего. Стихотворений своих он не подписывал, печатался мало. Но нравственная чистота этого человека была столь очищающая, что оказала воздействие на всю русскую словесность, на развитие всего русского общества. Один человек!... Лет через двадцать младший брат его издал томик светлых писем Николая Станкевича. Уместно привести отклик Льва Толстого, тогда же прочитавшего их.

— Никого никогда я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел.

Между тем, Мишелю повезло. Чета Герценов пригрела его, в их доме он вновь ощутил почти родственную ласку и семейную отраду. *Особливо жена его, святое любящее, истинно женственное существо.* Под сильным впечатлением он, наконец-то, вывел для сестер новые, старые как мир, правила жизни и даже, не без посторонней помощи, признал прошлые ошибки.

— ... Да, друзья, назначение женщины быть гением-хранителем семейной жизни есть великое святое назначение, не уступающее в величии, в бесконечности содержания никаким деятельности мужского пола. Видишь, милая Саша, как во мне сильна привычка болтать и проповедовать ни к селу, ни к городу.

Александр Герцен, как и Грановский, увидел в Бакунине мощную мятущуюся личность, которая ищет поле деятельности. Он помог ему деньгами. Теперь дорога в Берлин была открыта.

Радостный, полный самых радужных надежд, стряхнувший с себя мутную тоску последних месяцев, Мишель как на крыльях примчался в Петербург. Вошел в редакцию «Отечественных за-

писок» к Белинскому, растормошил, взбодрил, разговорил его. Для Виссариона много и не нужно было, чтобы вновь признать в Мишеле *брата своей души*. Перебивая друг друга, они пошли по Петербургу, размахивая руками, покупая у лотошников расстегаи, по старой привычке не стесняя себя разговорами, какими бы сложными и запретными они не казались. Старое доброе время простерло над ними свою умиротворяющую сень.

— Благословим прошедшее и оставим друг друга в покое, — решили друзья.

Дня через три, однако, все изменилось. Слишком много неуклюжих самодовольных ошибок, нелепостей, долгов и прямых обид ухитрился нагородить Бакунин дорогим людям, чтобы во всей красе не припомнились Белинскому его прежние подвиги, вроде «Васинька и Висяша вздумали меня учить»...

— Все тот же он, — Виссарион морщился, сидя с Боткиным за правкой его, Василия, рукописи по искусству. — Послушай, что он говорит: «Я в Москве был авторитетом...Стукотня, стукотня...». Нынче познакомившись с Заикиным, берет у него деньги и раз, и два, пьет рейнвейн, гоняет извозчиков, ездит в театр. А тот, кроткий, уже и ненавидит его, а не может отказать.

— Знаешь, Висяша, мне что-то крепко кажется, что Мишель, кроме себя, еще никого не любил. Он рожден на горе себе и другим, — Боткин задумчивым взглядом посмотрел в окно, на Неву, на игру летнего солнца в ее волнах. Образ Александры Александровны не изгладился из его души. Год испытаний, данный их чувствам Александром Михайловичем, миновал. Старик оказался прав. Через год молодым людям нечего было сказать друг другу.

— Знаешь, Боткин, что передал мне Мишель даже не за тайну, а просто так?

— Что же? — Боткин поморщился, предчувствуя очередную бакунинскую пакость.

— Он говорит, что Александра желала бы хоть сейчас выйти за тебя с условием, чтобы не быть с тобой в брачных отношениях.

Боткин молчал. Видно было, что слова эти нанесли ему рану. Белинский отвернулся.

— Я чуть не прибил его, — с глухим негодованием продолжал он. — Такая девушка, и в чем копается? А все он, непрошенный воспитатель женщин! Они были чудные существа высшего человечества, дивные роскошные откровения женственного мира, а что теперь? Теперь там советуют всем молодым людям заниматься *объективным наполнением!* Простое человеческое чувство, преданность, задушевность у них уже не много значат, там вздыхают о мысли, о знании, без которых (для них!) нет любви, нет жизни. Он провел их по всем мытарства своего духа, и вот результат! Его отец вправе противоборствовать всему, в чем принимает участие Мишель!

— Он просил у меня две тысячи на жизнь в Берлине. Я отказал.

— И правильно сделал. За пять лет он мог бы уроками собрать деньги, а не одалживаться у чужих людей. Мог бы сдать экзамен и ехать на казенный кошт, как Грановский. Он ничего не сделал! Он обманывает себя. И в Берлин он стремится не к философии, а от самого себя. Кто ничего не делал в России, тот ничего не сделает и в Берлине. Но он слишком накричал о себе, ему трудно воротиться, тяжело отступать.

— Он достал-таки деньги?

— Герцен дал ему, свежий человек. Да что! Мишель неисправим. Кто не может отказать себе в медовом прянике, тратит чужие деньги на рейнвейн, тому нехватит и двадцати тысяч, хоть в Берлине рейнвейн и дешев.

Боткин внимательно взглянул на друга.

— Мне вспало на мысль, Висяша, что ты... ревнуешь его к загранице, к философии. А вдруг это его судьба?

Белинский чуть не застонал.

— Черт с ним, с этим мерзавцем, Васенька, не хочу больше слышать. Он мутит мою душу. Для меня истина существовала, как созерцание, или совсем не существовала. Он, он внес в мою жизнь мысль, под которой я разумею выговоренное созерцание. Ненавижу мысль, как отвлечение, как сушильную жизнь!... Где мы остановились? Пятая страница, второй абзац...

Но услышать о Бакунине ему пришлось, да еще как! Сторожкий, боязливый Белинский и в страшном сне не мог себе во-

образить, что именно разыграется через несколько дней в его собственной квартире!

Вначале неприятность произошла в редакции, у Панаева, в тесном мужском кругу. Говорили об «Эстетике» Гегеля в переводе Каткова по заказу их журнала. Всем присутствующим было известно о романе Алексея Каткова, полного жизни, задиристого и красивого молодого человека, с женой поэта Николая Огарева. Подобных секретов всегда немало среди близко знакомых людей, о них почти не говорят и, конечно же, не разглашают. Для Мишеля эти законы почему-то бы писаны не были, для него любая дрязга и сплетня были желаннее сладких булочек. Если уж о родных сестрах он бездумно выбалтывал самое заветное, то что для него тайна Алексея Каткова!

— Боткин любит мою сестру, а Катков — жену Огарева, — сказал он с ухмылкой ни с того, ни с сего.

Эти слова повторились им в Москве, и здесь, в Петербурге. Все замолчали. «Теперь я понимаю, почему у этого человека так много врагов» — подумал Панаев.

До Каткова молва долетела дня через три. Он тоже был в Петербурге, и тоже собирался в Берлин. Он кинулся к Белинскому. Тот подтвердил.

— Я должен с ним увидеться, — мстительно вскипел Катков, с явным намерением затеять ссору. — Устрой мне встречу.

Белинский пожал плечами. Он не собирался защищать Мишеля.

— Изволь. Завтра в двенадцать он хотел зайти ко мне проститься.

Назавтра они долго ждали Бакунина на квартире Виссариона. Мишель задерживался. Наконец, через двор прошагала длинная фигура в несуразном картузе, с толстой палкой в руке.

— Бакунин, сюда, сюда! — высунулся в окно Белинский.

Он попытался уклониться от поцелуя, но жесткие губы Мишеля все же коснулись его губ. Они прошли в комнаты. Там был Катков. Он злобно принялся благодарить гостя за слухи и сплетни. Бакунин не ожидал, но тут же нашелся.

— Фактецов, фактецов, я желал бы фактецов, милостивый государь, — язвительно возразил он.

— Какие тут факты, — завопил взбешенный Катков. — Вы продавали меня по мелочам! Вы — подлец, сударь!

— Сам ты подлец! — закричал тот.

— Скопец! — отвечал Катков.

Это подействовало сильнее «подлеца», Бакунин вздрогнул, как от электрического удара. Он схватил трость, Катков бросился на него, Бакунин протянул Каткова по спине, а тот дважды ударил его по лицу. От их возни с потолка посыпалась известка.

— Господа, господа, — Белинский стоял на пороге, протягивая к ним руки, не делая, впрочем, ни шага ближе. — Полно вам, господа!

— Мы будем стреляться, — крикнул Бакунин. — Я убью тебя!

Тяжело дыша, Катков вышел в переднюю. Белинский поспешил следом. Но тот неожиданно повернул обратно.

— Не надо больше, — взмолился Белинский, чувствуя себя в положении мокрой курицы.

— Всего два слова, — кинул ему Катков, входя в комнату. — Послушайте, милостивый государь! Если в вас есть хоть капля теплой крови, не забудьте, что вы сказали.

И ушел.

Бакунин сидел на диване, опустив руки ниже коленей. Лицо его было бледно, однако, два неприятно-багровых пятна почти украшали его ланиты. «Давно подозревал я его безобразие, но тут вполне убедился, — подумал Виссарион. — Право, не понимаю, как могут его целовать его сестры!»

Секундантом Мишеля вызвался быть Панаев. Но друзья, рассудив, что женатому человеку незачем впутываться в «историю», вынудили согласиться Белинского.

«О, боги! Я секундант! Иду на войну!» — вскричал он в душе и даже обрадовался столь сильному движению в своей тусклой жизни.

На другой день Мишель прислал записку, где на двух листах излагал то, на что хватило бы четырех строк. По закону, оставшийся в живых дуэлянт забривался в солдаты, а значит, прощай Берлин! Он предлагал Каткову стреляться в Берлине.

Белинский усмехнулся.

— *Посрамись, окаянный!* Дуэль хороша, когда оскорбление еще ярко и живо, а не когда чувства остынут.

Тем более, что в Берлине Мишеля ждала сестра Варвара с сыном.

... Ненастным дождливым днем Михаил Бакунин ступил на палубу парохода. С ним был Герцен. Он хотел проводить его до Кронштадта и вернуться. Но едва только пароход вышел из устья Невы, как на него обрушилась одна из обычных балтийских бурь. Капитан был вынужден повернуть назад. В тумане вновь возник Петербург. Мишель не захотел сойти на берег. Герцен простился с ним на пароходе, оставил его на палубе, высокого, закутанного в черный плащ, поливаемого неумолимым дождем. Бакунин долго махал ему шляпой, пока тот не вошел в поперечную улицу.

Глава четвертая

Движение социальной мысли в Европе в конце тридцатых годов девятнадцатого века возглавлялось известными социальными философами Сен-Симоном, Фурье, незадачливым чистосердечным практиком Робертом Оуэном с его «Утопией», и множеством начинающих социальных вождей из всех слоев населения. Картина была пестрой. Тревога острых европейских умов с беспокойной совестью оправдывалась бесчеловечным лицом, стальными челюстями, которые выказывал крепнущий капитализм. Неведомый доселе класс буржуазии с одной стороны, и толпы голодных бедняков с другой раскаляли обстановку до опасной черты. Революционный взрыв в Париже в 1830 году, отчаянное выступление лионских ткачей: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» — приближали потрясения еще более мощные.

Народный Самсон шевельнул плечами, чтобы сбросить облепивших его филистимлян, которые тут же обманули его.

... Берлин! Наконец-то, Берлин! Михаил Бакунин примчался на всех парах. Новая жизнь ожидала его именно здесь! Все, что было раньше, отъехало далеко назад, стало мелким и несущественным. Берлин! Он был уверен в успехе, все будет хорошо,

едва лишь он всей душой припадет к науке, которая для него была и «есть не только отвлеченное понятие, но и жизнь вместе..».

Здесь он встретился с Варенькой, красивой дамой в трауре. Только тогда узнал о совсем недавней кончине Станкевича. После всех переживаний Варенька хворала, ее до слез тянуло домой, в Прямухино, ей и ненаглядному сыночку Сашеньке так полезна была бы жизнь в прямухинском раю, общение с дедом, тетками и сверстниками из русских мальчишек, но развод, начатый Мишелем пятый год тому, еще не был закончен, хотя и близок к положительному завершению.

Мишель, втайне встревоженный ее состоянием, был непреклонен.

— Да известно ли тебе, — страшал он сестру, — что твой Дьяков имеет право отобрать у тебя сына? Он отец, все права у него, поэтому живи здесь и жди, пока мои друзья в Петербурге устроят все в нашу пользу.

— Мишель! Я больше не могу! Я хочу домой!

— Это нервы, Варенька. Я найду тебе лучших здешних докторов. Какие средства тебе присылают? Вот видишь, на все хватит.

Но Варенька давно была взрослой женщиной в тридцатилетнем расцвете сил, ей ли быть в подчинении у брата!? Ей ли, самостоятельно прожившей за границей несколько лет, потерявшей здесь единственную любовь, незабвенного Николая Станкевича. Ее связь с родными не прерывалась, и о своих переживаниях, опасениях, обо всем грустном и веселом она в очередной раз поведала в длинном письме к сестрам. На отдельном же листочке, откликаясь на просьбу мужа, начертала собственной рученькой, что давно готова вернуться в Прямухино, когда б не досадные опасения и косые взгляды. О сыне она даже не заикнулась.

Берлин, Берлин! Он встретил студенческим многоголосием, средневеково-грубоватой вольницей нравов и обилием возможностей. Наконец-то!!

— Скоро начнутся занятия, я примусь живо, весело и крепко за работу, она уже и теперь славно идет. Здесь можно все узнать, и я все узнаю! Медовый месяц моей образовательной жизни начался!

Мишель записался на курс к Шеллингу и к добродушному логичу Вердеру, он намерен изучать историю, право, экономию. Здесь можно все узнать!

— Приезжай скорее, — писал он Герцену, — наука разрешит все сомнения, или, по крайней мере, покажет путь, на котором они должны разрешиться.

А сколько здесь кондитерских с журналами и газетами! Как проста жизнь! Бакунин стал брать уроки верховой езды и фехтования, участвовать в ночных факельных шествиях в честь любимых профессоров, например, Шеллинга, под звуки средневекового студенческого гимна.

Viva, Academia! Viva, Professore!

— где его пронзительный голос звенел громче всех, а черты лица словно исчезали, лишь один рот, один рот оставался на всю толпу, по язвительному наблюдению Каткова. О дуэли между ними речи уже не шло, добродушный Мишель первый протянул руку и тому ничего не оставалось, как ее пожать.

В небольшой квартирке, где он жил с Варенькой, Сашенькой и бонной, частым гостем, почти своим человеком стал Иван Тургенев. Он был четырьмя годами моложе Мишеля и поначалу во многом доверился ему, как старшему. Немало значили и давние отзывы Станкевича. В занятия, начатых еще при нем, Иван ушел так далеко, особенно в философии и истории, что собирался на будущий год держать в России экзамен на магистра.

Но через год! А пока они подружились. Бакунину ничего не стоило покорить сердце молодого талантливого человека. К тому же, если бы не скупость строгой старухи-матери в Спасском-Лутовинове, Тургенев был бы весьма богат, хотя и те талеры, коими он ссужал Мишеля, оказывались нелишними. На табак, на чай, на рейнвейн. Нет, нет, дело не в деньгах, отнюдь не в деньгах! Здесь, на чужбине, они стали почти братьями, оба высокие, красивые, один в зеленом дон-жуановском бархатном жилете, другой в лиловом, также бархатном. После Бетховенских симфоний, у Вареньки за чаем с копчеными языками, они говорили, смеялись и пели русские песни.

— Я приехал в Берлин, — с улыбкой счастья признавался Иван, — и предался науке. Первые звезды зажглись на моем небе. И, наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан, едва ли могу сказать, мои чувства ходят еще волнами и не довольно утихли, что вылиться в слова.

Его художественная натура глубоко насыщалась впечатлениями о личности нового друга и его сестры. В будущих и еще неведомых ему русских романах воспоминания о них составят лучшие, самые поэтичные страницы.

Вскоре, поблизости от Вареньки, друзья сняли для себя отдельную квартиру с печкой, «любезной» изнеженному Ивану, и длинным диваном для Мишеля. На их курсе учились Энгельс, Гумбольдт, Киркгергор. Эти студенты и молодые профессора, даже сам строгий и добрейший логик — господин Вердер частенько заглядывали на огонек к восторженным русским, пили чай и рейнвейн, ели холодную телятину и шумели до самого утра

Осень, зима прошли в счастливой торопливости занятий. Тут и фехтование, скачки, новые светские знакомства, где изящный офицер Бакунин, душа общества, подсмеивался над застенчивым Иваном, не умевшим вальсировать. Мишель по прежнему руководил издали сестрами и братьями, описывал в длинейших письмах-тетрадах самые примечательные события и пришедшие мысли, не уставал расхваливать Тургенева и, по старому обыкновению, просить денег.

Замечательно жить в Европе! Все московские друзья кажутся отсюда мелкими букашками, муравьишками, с их игрушечными заботами и страстями. Что бы он там делал? Зато здесь Мишелю, голубоглазому красавцу, всегда шумному и веселому, удаются самые сложные логические построения, самые престижные знакомства, ему рады и в русских землячества, и в немецких сообществах — среди разговорчивых завсегдаев кондитерских с их свободным обилием европейской прессы на всех языках...

Так, так, так. Все так.

Но понемногу медовый месяц радостных надежд начал таять, как европейский снег, в сухих категориях метафизики начинала сквозить пустота, а по душе заходил едкий знакомый хо-

лодок неудачника. Действия не было никакого! Отсутствие отсутствия. Мишель вновь упал в мутную жуть старчества и бесцельности.

Даже Шеллинг не подпитывал его отныне! «Философские откровения» старичка накренились в боязливую религиозность, но и прежние работы, вроде «Теории продуктивного созерцания» уже не давали былых толчков силы повзрослевшему философу с его собственным взглядом на предмет изучения.

«...Дайте мне природу, состоящую из противоположных деятельностей, одна из которых уходит в бесконечность, другая стремится созерцать себя в этой бесконечности, я создам вам из этого *интеллигенцию* со всей системой ее представлений..».

Уф! Сколько споров вызывали его суждения тогда в России! Теперь — ничего, ничтожно мало. Но Гегель! Георг Фридрих, палочка-выручалочка последних, столь блистательных лет! Увы, и его система вселенского торжества Абсолютного Духа и Абсолютной идеи, его диалектика, коими щегольски владел и блистал Мишель в любом кругу, сдавались в архив, как старый хлам, под напором учения молодого Фейербаха о том, что человек сам правит своими идеями и руководствуется ими. Куда идти, чего искать? Он-то надеялся, что вечно искомый Абсолют, наконец, схвачен и понят, и его можно продавать оптом и в розницу, но появился Фейербах и с его отрицанием дошел до... материализма. Квантилианский прыжок из логики в мир природы не удавался никому.

И для обычного-то человека оказаться в безвоздушном пространстве без дел и зацепок есть состояние не из приятных, а уж для Бакунина, полного бешеной, никогда не растрачиваемой энергии, это была суцая пытка.

А тут еще Генрих Гейне с его пророчествами.

«Мы, имевшие дерзость систематически, ученым образом, уничтожать весь божественный мир, мы не остановимся ни перед какими кумирами на земле и не успокоимся, пока на развалинах привилегий и власти мы не завоюем для целого мира полнейшего равенства и полнейшей свободы». Вот как можно мыслить!

— Святого дела хочу я, чудо живого дела, я предчувствую его ! — вопил Мишель устно и письменно, удивляя своих почитателей.

И вдруг...

Первый проблеск — в книге Макса Штирнера «Единственный» и его собственность»: ... для меня нет ничего выше меня. Я объявляю войну всякому государству, даже самому демократическому».

Мишель не верил своим глазам. Голова его кружилась. Такое не снилось даже ему, эгоисту и ниспровергателю. Предчувствие битв, потрясений, даже катастроф, предвестие ударов и бурь, быть может, самых смертельных, расширили грудь восхищением. Он кинулся в чтение этого толка. Труды Фурье, Сен-Симона, Прудона довершили новообращение, а личное знакомство с Вильгельмом Вейтлингом, обаятельным портным, автором наивных памфлетов и манифестов «Человечество как оно есть и каким оно должно быть», «Гарантии гармонии и свободы», и его друзьями привело в редакцию журнала «Галльские ежегодники» к Арнольду Руге. Сам Руге считался одним из литературных вождей, философом; правда, несмотря на твердую волю и ясность рассудка, на первых порах пылкому Мишелю пришлось спасти Арнольда от пессимизма. Это надолго сблизило их. Журнал его был умен и политизирован, на его страницах мелькали резкие статейки какого-то острого рейнца Маркса.

Все было ново, стремительно и шумно, сколько молодого веселья, азарта, игры в опасность и похоти умствования! Разумеется, все это неизбежно и неуклонно разворачивало Бакунина в сторону от магистерской диссертации и от будущей профессуры. Завеса новой сцены с гулом баррикад, всенародными мистериями, противоборствами с сильными мира сего ослепительно качнулась перед его очарованным взором. *Новая Дульцинея поманила его своими мечтательными прелестями...*

Мишель «возстал».

— Во мне совершился новый переворот, я нахожусь в самом его начале. Пыль отряхается, чувство старости прошло, я ощущаю ясность и мощь в моей душе. Этой зимой я прожил полную значения жизнь. Жизнь прекрасна, хотя она также тяжела, и

именно потому, что она тяжела — она прекрасна и истинна. Мирлолюбие ничего не производит. Запасы ненависти и разрушений, накопленные в народе, — вот до чего надо добираться.

Теперь его собеседниками стали мастеровые и ремесленники из круга Вильгельма Вейтлинга. Кипение энергии в Мишеле и в их переполненных возмущением душах воспринимались ими как родство братьев по борьбе.

— С кем ты общаешься, где проводишь вечера? — не без насмешки вопрошал Иван Тургенев, дожидаясь друга поздними вечерами. — Что тебе эти скорняки и подмастерья?

— Т-сс! Эти достойные и честные люди, они составляют тайное общество для борьбы с деспотизмом. Скоро молодой, «революционный» король, взойдя на престол, окажет им поддержку в устройстве справедливого общества. Вот увидишь.

— Коро-оль ? — Тургенев покатился со смеху, и, вытирая слезы, покачал головой. — Ну, Мишель, ну, не ожидал. Прости, но ты наивен, как дитя. Достойно ли короля связываться с твоими оборванцами? Зачем ему это делать?

— А затем, что в ином случае, начнется нечто неслыханное! Вильгельм предлагает выпустить из тюрем всех уголовников, разбойников, всех лиц дурного поведения, потому что именно у них жажда свободы и неповиновения пылает ярче всего. Мне лично это напоминает русский бунт...

— ...бессмысленный и беспощадный?

— Пусть так!

Всегда голодный, Мишель набросился на вареную курицу и пиво. Тургенев смотрел на него, приподнявшись на локте. От печных изразцов струилось легкое тепло, он прижимался к ним спиной через ночную рубашку. Близился апрель, их экономные хозяева топили печи едва-едва, в четверть силы, и на втором этаже было весьма прохладно.

Тургеневу показалось, что Мишель его разыгрывает.

— Что за шутки, mon chier? — мягко спросил он. — Не верю, что тебе это нравится. Полноте, Мишель, оставь это. Тебе лестно, что среди них, малообразованных бунтарей, ты выделяешься своим умом, что ты приобрел их доверие кипучей энергией и энтузиазмом, но подумай, пока не поздно, эти забавы могут

оказаться опасными для тебя даже здесь, в Германии. Зачем тебе, русскому человеку, ввязываться в чужие драки? Или, на твой взгляд, у Третьего отделения руки коротки? Или ты хочешь по возвращении иметь неприятности с полицией? Твое святое дело — прослушать курс наук, чтобы впоследствии служить отечеству с усердием, достойным дворянина... как пишут в циркулярах.

Поев, Мишель вымыл руки, распушил офицерские усы, и закурил трубку, сев верхом на подоконник, для чего беспечно распахнул окно и свесил наружу одну ногу. Ему не было холодно. На румянном лице его играла тайная мысль, которая, это легко заметил любивший его Тургенев, просилась быть произнесенной вслух со всевозможной многословной убедительностью.

Так и произошло.

— Я должен открыть тебе, душа моя, страшную тайну, — начал Бакунин, глядя в темноту...

Тургенев, замирая, ждал продолжения. Мишель помолчал, помолчал и вдруг сказал так, словно ухнул головой в омут.

— Я решился... никогда не возвращаться в Россию.

— Ты с ума сошел! — Иван так и подскочил на постели. — Не заигрывайся, Мишка! Типун тебе на язык!

Мишель посмотрел на него длинным взглядом. Чего только не было в его глазах! И вызов, и безмерная тоска, и что-то ужасное, омутно-глубинное, не доступное слову, такое, что у Тургенева мурашки побежали по спине. Кто перед ним?

В комнате стало тихо. Вздохнув, Мишель продолжал.

— Я не гожусь для теперешней России, Иван. Не удивляйся. Я испорчен для нее, — Бакунин опять смотрел в темноту. — А здесь я чувствую, что я хочу жить, и могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы. Здесь я могу служить... своей госпоже. Ты ведь знаешь, я более не молод, и не могу свою жизнь прошутить.

Тургенев молчал, пораженный.

— Это слишком серьезно, Мишель, — тихо произнес он, наконец.

— Я все продумал и решил.

Захлопнув окно, он принялся ходить по комнате большими шагами, длинные руки его, по обыкновению, не зная покоя, двигались словно сами по себе.

— Не бойся за меня, друг. Что будет, то будет, а будет то, что должно быть. Лучше одно мгновение действительной жизни, чем ряд годов, прожитых в метрвящем призраке. Мне предстоит великое будущее. Предчувствия мои не могут меня обманывать. Передо мной широкое поле, и моя участь — не мелкая участь. Я не хочу счастья, оно не для меня, я не думаю о счастье. Строгого святого дела хочу я, — почти крикнул он и гулко стукнул в широкую грудь своим огромным кулаком. — Только дело есть настоящая жизнь!!

— Тебя объявят преступником. Подумай о своей семье. Они не заслужили.

— Там никому ничего не грозит.

— И все же, Мишель, я надеюсь на твой здравый смысл. Утро вечера мудренее. Спокойной ночи.

Мишель задул свечу, завозился на своем диване и затих. Тургеневу не спалось.

— Миша! Мишель, не спишь?

— Что случилось?

— Мне известно одно средство отвернуть тебя от пагубного решения.

— Наверяд ли. А что такое?

— Любовь к женщине. Что может быть прекраснее?

— Пустые хлопоты, друг мой. Что касается до *нее*, моей женщины вообще, то я ее еще ни разу не встретил, да, вероятно, и не встречу никогда. Я почти отказался от *нее*. По крайней мере, особенно искать не буду. Двум господам служить нельзя, а я хочу хорошо служить *своей*.

— Уж не революции ли, не дай Бог?

— Может быть, может быть, Тургенев. Что будет, то и будет.

— Я в ответе за тебя перед твоими родными, друг. А я предлагаю дело. Завтра же едем в одно семейство. Это недалеко, в маленьком городке. Там нас встретят две премиленькие сест-

ренки, старшая из которых очень недурна, совершенно в твоём вкусе.

— О?

— Как я его себе представляю, конечно.

— Но приглашение?

— Завтра воскресный день, следовательно, гостя Бог посылает. И потом, они привыкли к приезжим.

— Ты-то откуда знаком с ними?

— Станкевич жил у них короткое время. Право, за год они подросли и повзрослели, но вряд ли уже просватаны.

Мишель добродушно рассмеялся в знак согласия.

— Ты желаешь, Тургенев, чтобы я влюбился? Тебе в угоду, я буду стараться из всех сил. Настрою себя самым чувствительным образом, вот увидишь.

Наутро они уже катили в коляске по мягкой грунтовой дороге среди опрятных селений, ровно расчерченных полей, зеленых взгорий, по которым понизу бродили стада коров и овец, а выше росли густые леса; над лесистыми гребнями издали высились настоящие горы, а еще-еще дальше, едва видимые в раскидистых просветах между горными грядами белели скалистые снежные вершины.

— Какая все таки разница, — прищурился Тургенев, вдыхая весенний воздух, — здесь уже все в цвету, и облака совершенно летние, с огневой серебряной каемочкой вокруг кудрявых краев, а наши крестьяне еще только-только разбрасывают навоз на поля, белеющие пятнами снега. Заяц-беляк еще не слинял, прячется-трясется по чащам и тальникам, зато грачи уже прилетели, галдят и хозяйски устраиваются на прежних гнездовьях. Наш мартовский снег можно пересыпать в ладонях как зерно, наст крепок и блестящ, как огромные зеркала, лис и волков держит надежно, а вот для лосей пора худая, их спасают от хищников только удары копытом.

Мишель обнял его за плечи.

— Ты, Иван, чудный живой одухотворяющий человек! Помнишь, ты описывал ночь, проведенную тобой при лунном свете на горе над Рейном? И что же? Я словно был с тобой тогда и чувствовал все, что видел ты. У тебя талант, Тургенев!

Мишелю представлялось, что друг везет его в селение, каких немало повстречалось им на пути. Все опрятные, соразмерные, с круглыми прудами для уток и гусей, с лужайками для пестрых кур, с добротными тяжеловесами-лошадьми, с гладкими упитанными, несмотря на весну, коровами. По местной поговорке, если у хозяйки чистая корова, в дом к ней можно не заходить.

«Скучно, Тургенев!»- молча зевнул Мишель.

Но вот в долинке за поворотом показался настоящий маленький городок. Это было курортное место, здесь били подземные целебные ключи, привлекавшие людей искать здоровье. Конечно, и селение с пашнями и коровниками располагалось не в дальнем соседстве, но городок есть городок, его узнаешь с первого взгляда. Коляска остановилась возле каменного двухэтажного дома местной гостиницы. Наскоро разместившись, освеженные холодной водой, поданной им в ведерном кувшине над тазом, молодые люди прошли по улице и свернули к городской почте.

Городской почтмейстер, серьезный солидный человек, и был отцом семейства, в которое без предупреждения, по-русски, нагрянули друзья, нагруженные угощениями от столичных кулинаров, заморскими фруктами, парой бутылок хорошего вина и немело выбранными безделушками для юных красавиц.

— Ах, ах!

Минуты первой суматохи и знакомства похожи, наверное, во всех странах. Как и везде, молодежь отправляют гулять, пока дома готовится угощение и накрываются столы.

Моника и Каролина с удовольствием ушли из дома в обществе своих гостей. Старшая сестра, Моника, девушка лет семнадцати, была стройна и казалась очень высокой, хотя вблизи Мишеля не достигала ему и до бровей. В зеленоватых глазах ее сквозь веселую улыбку приветствия, светился ум, привычный к размышлениям. Вторая сестра, Каролина, была моложе года на полтора, и, казалось, еще не вышла из отрочества, была смешлива, полновата и голубоглаза. Обе были воспитанные строго, но без ущерба для природной девичьей жизнерадостности, поэтому разговоры начались тотчас же и, переходя с одного на другое, очень скоро объяли весь их кругозор. Оказалось, что Моника иг-

рает на фортепиано, но Бетховена, к удивлению Мишеля, не жалует, предпочитая Моцарта, Шопена и Шуберта, знает наизусть Шиллера и Гете, Каролина же «бренчала» на клавишах веселые народные песни и танцы.

В самом начале серьезно и нежно, что так шло их юным лицам, они вспомнили Станкевича, показали его любимые тропинки и скамью, улыбнулись, вспомнив его шутки.

Показывая гостям ручей, бежавший из лесного оврага, Моника взобралась на край обрывистого берега, тогда как все остались возле русла. Сойти вниз, не испачкав нарядных, с бантиками, туфель, белых чулок и крахмальных кружевных нижних юбок было невозможно, и, конечно же, оба кавалера протянули к ней руки, чтобы поймать, снять ее с каменистой осыпи. Они стояли плечо к плечу, высокие, красивые, глядя ей в глаза.

Кого она выберет? Кому доверится?

Изячно наклонившись, девушка положила руку на плечи Мишелю. Он легко сомкнул длинные пальцы на ее мягкой талии.

— Анц!

И бережно снял девушку себе на грудь, и, чуть задержав, опустил на землю. Иван весело перемигнулся с Каролиной.

Потом гуляли, взявшись за руки. Мишель рассказывал о своих сестрах.

— Мои девочки очень много знают, ни в чем не уступают мужчинам. Ведь, согласитесь, ни у кого нет единоличного права на истину, и женщине она доступна так же, как и мужчине. Женщине необходимы знания, сильная умственная работа, она обязана стать полноправным членом общества. Конечно, для нее это несравненно сложнее, в большей, гораздо большей степени сложнее, потому что служение женщины в этом мире включает в себя многое из того, что недоступно нам, мужчинам. Для своих родных сестер я всегда был духовным отцом.

— Как это необыкновенно, — проговорила Моника, — неужели в наше время женщина может стать свободной? Как госпожа Жорж Санд?

— Она тоже несвободна, — ответил Мишель. — Женщины почти везде рабы, а мы, мужчины, рабы их рабства. Без их освобождения, без их полной безграничной свободы, наша свобода

невозможна, а без свободы нет ни красоты, ни достоинства, ни истинной любви.

Лицо девушки разгорелось, она порывисто дышала, глядя в голубые глаза Мишеля.

— Ах, как это ново! Как замечательно! Говорите, говорите, Михель!

Он горячо поддержал ее восторженный настрой. Слова его звучали неотменимым призывом.

— Близится особенное время для Европы, оно уже рядом, когда каждый сознательный человек, мужчина или женщина, должны всмотреться в свою душу и спросить себя: «На чьей я стороне? Имею ли я право оставаться безучастным?» и принять свое решение, и посвятить себя на борьбе за общую справедливость.

— А вы, Михель, вы могли бы показывать дорогу, стать духовным отцом для... для... таких людей?

Каролина настороженно взяла сестру под руку.

— Милая сестричка, а как посмотрит на это твой Генрих?

Моника вздрогнула. Мишель удивленно повернулся к ней.

— Вы помолвлены, Моника?

— Да, да! Генрих вернется недели через две и увезет меня к себе на ферму в Силезию. Нет, он поймет меня, поймет... Говорите еще, еще. Вы открываете истины, от которых кружится голова, и я готова хоть сейчас идти к своему освобождению, я давно томлюсь среди родных, я хочу свободы! — с девушкой происходило что-то нервное, неуправляемое. Мишель в который раз мог видеть поразительное воздействие своих речей.

Иван был встревожен.

— Как чиста вода ваших горных ключей! — воскликнул он, зачерпнув горстью из ручья. — Теперь я понимаю, почему так алеют щечки у наших милых спутниц! А воздух! Как у Гете! А что означает серебристый звон колокольчика?

— Это пришла очередная почта. Вон, видите, как из многих домиков потянулись за восточками люди? Ах, сестренка, когда ты вдали от родных, никакие истины тебя не утешат! — проговорила Каролина, обнимая любимую сестру. — Генрих обещал по-

сле свадьбы почаще приезжать к нам вместе с тобой, пока ты не привыкнешь к новой семье.

Наконец, всех позвали в дом. За столом присутствовали постояльцы, люди с бледными вежливыми лицами, но Мишель, Иван и девушки с первой же минуты взяли такой резвый тон, учили гостей таким смешным тостам, что всем стало весело и приятно обедать за одним столом. Потом Иван играл в четыре руки на пианино с Каролиной, Мишель с офицерским ухарством отплясывал с Моникой, даже бледнолицые постояльцы порозовели и тоже хлопали и топали в такт простенькой мелодии.

И лишь хозяин дома, плотный мужчина с обширной лысиной на макушке, сидя возле дородной супруги, пристально смотрел на русских гостей из холодной богатой страны, солдаты которой никогда не уступали немецким солдатам и даже бивали их на полях сражений. Ja, ja.

Наконец, уже в темноте, молодые люди стали прощаться, пообещав сестрам назавтра продолжить приятное времяпровождение.

— Не уезжайте, не повидавшись, — с тихой твердостью сказала Моника, шагнув за калитку. — Я должна сообщить вам кое-что решительное, только вам, Михель.

Молодые люди направились в гостиницу.

— Что она сказала? — обеспокоился Тургенев.

— Пустяки. Ты же сам желал, чтобы я влюбился. Я и пытался, но никак не мог, несмотря на все старания. Уж я настраивал, настраивал себя, да уж никак не мог чувствительно настроиться. Все-то меня тянуло к тому, чем полна сейчас моя душа. Уж извини.

— Что она тебе сказала у калитки? — резко повторил вопрос Тургенев.

— Да что... мол, готова сообщить мне нечто решительное. А что такое? Чем тебя задело?

— Так я и знал! Мишель, ты чудовище эгоизма! Своей болтовней о женском освобождении ты позвал ее с собой, таким «необыкновенным»! Понимаешь ли ты, садовая твоя голова, что это может ни за что сломать ей жизнь, а вина падет на тебя!

— В самом деле? Я как-то не догадался. Да и зачем бы она мне нужна была?

Иван Тургенев посмотрел на него странным взглядом.

— Очень сожалею, что затеял эту поездку, Мишель. Бедная Моника! Я слышал краем, а теперь утвердился тоже, что для тебя не существует субъектов, живых людей, нет их чувств, судеб, страданий. Бог с тобой, иди, делай, что хочешь, но, ради всего святого, не соблазняй слабых сих, готовых довериться тебе. Сила убеждения у тебя страшная, нечеловеческая, нынче я убедился в этом воочию.

Скоро, очень скоро Иван Тургенев убедится в том, что и сам способен вызывать нешуточную любовную страсть, чувство, чуть не убившее достойнейшую из женщин, и что событие это надолго освятит, укажет путь в его творчестве.

Наутро они выехали на рассвете, почти затемно. В доме почтмейстера в крайнем окошке светился огонек. При звуке повозки занавеска откинулась, показался девичий силуэт.

— Погоняй, — тихо произнес Тургенев вознице.

Девушка так и осталась стоять у занавески со стиснутыми на груди руками.

Еще в бытность Михаила Бакунина в России его младший брат Николай, видный молодой офицер гвардии, познакомился с Виссарионом Белинским и подружился с ним доверительной мужской дружбой. Со стороны Verioso это была, по обыкновению, открытая любующаяся нежность к прекрасному представителю прекрасного семейства, которое он попрежнему глубоко чтит, несмотря на вынужденную резкость выражений в иные минуты. В Николае он с радостью нашел недюжинный ум, отстраненно разобравшийся во всех метаниях старшего брата и ни на минуту не потерявший уважения и братской любви к нему, увидел и «нормальность», здравость натуры Николая, к которой так тянулся всю жизнь, но, главное, с замиранием души узнал в этом

бравом гвардейце легчайшие проявления светлого духа старшей сестры, покойницы-Любаши.

С Николаем Бакуниным и Васенькой Боткиным оплакал он очередную горькую потерю русской литературы, гибель Михаила Юрьевича Лермонтова.

— Это трагедия для русского общества, — горестно говорил он, сидя с ними у себя в кабинете, заваленным журналами и книгами, листами корректуры, перевязанными пачками, — и трагедия уже непоправимая. Все ждали от него произведения, которым он расплатился бы с Россией. За ним числился великий долг — его роман «Герой нашего времени». Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивший вперед, оторвавшийся от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих. Теперь его не может оправдать никто.

— Автор романа есть невидимое дополнение к тому, что удалось написать, — произнес Василий. — Настолько бы Лермонтов шагнул вперед, чтобы принять новое мироощущение?

— Ах, Вася! Шаг гения... разве можно предугадать?

Получив письмо от мужа, Варенька раскрыла его с замиранием сердца. Слишком многое значили сейчас его строки. Послание Николая Дьякова оказалось достойным и убедительным.

«Получив Ваше письмо, я вижу, что Вы имеете намерение вернуться, и что только моя докучливость и сплетни заставляют Вас откладывать свое возвращение. Что касается меня, то я Вам обещаю оставить вас в полном покое. Трехлетнее пребывание за границей должно Вас в этом уверить. Я желаю, чтобы Ваше пребывание в Прямухине дало Вам испытать счастье, которого Вы так заслуживаете. Имею честь быть Вашим покорным слугою. Н. Дьяков»

И через два месяца она вернулась.

— Варенька!

— Танюша! Александра! Сестры мои любимые! Папенька! Маменька!

Все обнялись в кричащий радостный ком. Целовались, любовно всматривались друг в друга, в дорогие черты, отступали,

любуясь, и вновь обнимались сестры и братья со своей странницей и ее сыночком.

— Сашенька, малыш ненаглядный! Совсем большой! На каких языках умеешь говорить? На маму похож, на тебя, Варенька, одно лицо!

— Сначала к Любаше, помолиться на могиле. Сколько я пережила там, девочки, сколько всего! Чужбина! И Станкевич... Ох, не могу. К Любаше, к Любаше.

Поздним вечером три сестры шли по аллеям цветущего премухинского сада. На светлом небе вставала прозрачная луна, заря догорала, по лугам тянулись все те же белесые туманы.

— Станкевич был посланцем Бога на земле. И Любинька это знала, и я тоже. Его улыбка на мертвом лице, его высокое выражение... ах, таких людей Бог посылает для очищения нашего.

— Для тебя его смерть — преображение, Варенька, — строго отозвалась Татьяна. — Теперь ты должна быть матерью своему сыну и ... женой своему мужу.

— Николай бывал здесь?!

— Почти нет. Этот человек ведет себя на удивление благородно.

Они помолчали.

— А зато я... зато у меня скоро помолвка, — с веселой твердостью произнесла Александрия.

— Ах, счастье! Поздравляю! С кем же?

— С Гавриилом Вульфом.

— О-о! Наши дальние соседи. Благородный дворянский род.

— Даже с родом Пушкиных имеет ветвь.

Николай Дьяков появился дней через десять. Супруги уединенно погуляли в аллеях, поговорили. Он удалился. Через неделю приехал вновь и увез жену и сына в свое имение. Примирение было полюбовным. В положенные сроки родилась их дочь Сонечка.

Иван Сергеевич Тургенев, возвратясь из-за границы, поехал в Москву, где встретился с младшими братьями Бакуниными — Александром, Алексеем и Ильей.

Они подружились, как могут дружить молодые люди, еще не озабоченные сложностями жизни, юноши, среди которых появился художественный гений, блистающий остротами, шутками, стихами. И весело сообщали в Прямухино, даже о том, что Тургенев свалился с дивана. Они обещали скорый приезд.

Наконец, восемнадцатого декабря в заснеженное имение пришла записка, в которой было сказано, что «из Москвы в Торжок выехали два Бакунина, один Тургенев, одна собака и Луна».

С Варенькой, старой знакомой, Тургенев встретился почти по-родственному, преподнес ей переписанные и украшенные стихотворения Лермонтова. Все были в восторге от дорогого гостя, а он был по-прежнему в отчаянии, что не умеет вальсировать! Зато его рассказы! Александр Михайлович, почти незрячий, снова увидел синее побережье Италии, ее острова, птичий гомон и полет чайки над головою.

Лишь Татьяна, бедная Татьяна влюбилась отчаянно, иступленно и безответно, с пылом истинно бакунинским, вспыхнула, как порох, при первом же взгляде на Ивана Тургенева, о котором столько слышала и читала в письмах Мишеля. Свет померк в ее глазах. В страсти ее было столько напряжения, почти богомольного служения, каких не выдержало бы ни одно взаимное чувство. Почувяв нешуточный огонь, Тургенев осторожно не выделял ее из всех.

Татьяна горела как в огне. У нее воспалились нервы. Ее состояние встревожило родных. Плачущую навзрыд, горячую, дрожащую, словно в лихорадке, полную боли и страха, Татьяну отвезли в Москву на лечение. Доктора признали нервную горячку.

Братья окружили ее теплом. О, не зря воспитывал детей благороднейший из людей Александр Михайлович Бакунин. Брат Николай стал ее опорой. Она стала медленно-медленно выходить из отчаяния. Они много разговаривали.

— Милая святая Татьяна! Этот вечер развернул передо мною такую святыню, которой я никогда не подозревал...

— Друг, — отвечала она тихо, — я и в самом деле не могу возродить в себе любви к жизни и веры в нее, но за других я верю, и могу не искать смерти. Это я обещаю.

Брат опустился возле ее изголовья и нежно поцеловал в щеку.

— Танюша, сестра моя, сила наша неборимая. Я прямо буду говорить тебе. Ты необходима тому, кого ты любишь. Он не там еще теперь, где он должен быть, и где верно со временем будет. Тургенев не может не преклониться передо тобой, ты святая, и голос твой сильно раздастся и громко разольется. Тургеневу многое дано и суждено, но еще слаб...

— Да, — после долгого вздоха согласилась она, — может быть.

Пришло письмо и от Тургенева. Он уезжал за границу подлечить глаза.

— Дай Вам Бог пробиваться мужественно вперед, — писал он, — не для того, чтобы достигнуть каких-то благ — истины или знания — но для того, чтобы сохранить до конца энергетическое чувство человеческого достоинства.

Он все понял, его талант все понял и сохранил в сокровищнице творческой памяти.

Через несколько лет мир прочтет «Рудина», «Дворянское гнездо», «Накануне», напоенные впечатлениями о Михаиле Бакунине, его сестрах и братьях, о благоуханном рае Прямухина, а «тургеневские девушки» навеки войдут в русскую литературу со всем богатством их внутренней просветленности и самопожертвования.

Тучи над Мишелем сгущались, но он работал и работал, как в когда-то в благословенное лето в Прямухино. Он перешел на хлеб и воду, был готов к любому заработку, самому простейшему вроде обдирки шкурок у скорняка Симона Шмидта, потому что денег у него не было ни копейки. В прекрасной Швейцарии на райском острове St-Pierre перед Мишелем разверзся призрак долговой тюрьмы. Лучшие дома захлопнули перед ним двери, и

лишь революционно-социальный поэт Гервег с Эммой кое-как поддерживали его.

Мишель присмирел.

Заграница — не Москва-матушка, Христа-ради не пожалееет, и голод — не тетка, пирожка не поднесет. Мишель ощутил это во всей остроте.

— Мне грозит бесчестье, мне больше не верят, думают, что я обманщик, и действую, как профессиональный мошенник! — хватался за голову Бакунин.

Но зато... зато вышла в свет его работа «Реакция в Германии». Что это была за статья! «Из заметок одного француза», — был ее подзаголовок. «... Позвольте же нам довериться вечному духу, который лишь для того разрушает и уничтожает, что он есть непостижимый и всегда творческий источник всякой жизни. Страсть разрушения есть вместе и творческая страсть!»

Впечатление было сильным. Когда в России узнали, что автор статьи Михаил Бакунин, ему рукоплескали Герцен, Огарев, Белинский со всеми русскими друзьями.

— Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки — это вечнодвижущееся начало, лежащее в глубине его духа, — отозвался Виссарион.

В Третьем отделении немедленно запросили сведения о семье Михаила Бакунина. Бенкендорф, во-первых, запретил старику-Бакунину ни под каким видом не слать сыну деньги, и, во-вторых, обратился к Вице-Канцлеру графу Нессельроде с просьбой «поручить нашим заграничным посольствам и миссиям объявить Михаилу Бакунину, чтобы он немедленно и не ссылаясь ни на какие предлоги сдал заграничный паспорт и возвратился в Россию, и что в случае неисполнения сего он подвергнется ответственности по всей строгости закона».

Михаил Бакунин ответил «нет».

Российская государственная машина сердито заскрипела шестеренками. Сам Николай I затребовал дело, и сам Бенкендорф всеподданейше довел до сведения Государя Императора, что Михаил Бакунин двадцати восемью лет, из дворян, за родителями числится пятьсот душ крестьян в Тверской губернии. В службе с 1829 года, в юнкерах с 1830 года, апреля тридцатого дня, произ-

веден по экзамену в прапорщики в 1833 году января 22 дня Высочайшим приказом. 18 декабря 1835 года уволен от службы за болезнью.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Лишь через два года, почти в день тридцатилетия Михаила Бакунина Санкт-Петербургский Надворный Уголовный суд от 27 апреля и Палата Уголовного Суда решением от 13 июня 1844 года присудили Бакунина за вышеупомянутые преступления к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь в каторжную работу с тем, чтобы имение его было взято в секвестр. Для поступления с виновником по закону. Прекратив всякое по оному производство.

Мало того, дело слушается 12 декабря 1844 года на заседании Государственного Совета. Решение его: виновен в сношениях со злонамеренными людьми, непослушании вызову Правительства и Высочайшей воли... лишить чина и дворянства, сослать в случае явки в Россию в Сибирь, в каторжные работы, а затем и предать суду. На подлиннике Собственного Его Императорского Величества начертано: «Быть по сему». В Санкт-Петербурге 12 декабря 1844года.

Вот сколько работы задал Михаил Бакунин высшим государственным чиновникам! Кто он теперь? Государственный преступник, лишенный дворянства и всех источников существования. Его семейству запрещено общение с отверженным своим отпрыском. И словно в насмешку: саксонский посланник в Петербурге формальным «отношением» просил заплатить старика Бакунина долг его сына Мишеля в 445 экю, которые тот остался по векселю должен содержателю отеля в Дрездене. Долги, долги, они следуют за ним по пятам. Переписка шла через III Отделение. Отцу пришлось заплатить.

Тем временем Мишель давно уже обосновался во Франции.

О, Париж! Город-светоч! Жить здесь действительно наслаждение!

Приезжающие в Париж пожить на широкую ногу русские аристократы, входя в его положение, одаривали соотечественника деньгами. Жизнь не казалась медом, но можно было сидеть в кафе далеко за полночь, говорить, говорить, потом отправляться

спать, а днем вновь встречаться с друзьями и единомышленниками и говорить, говорить, размышляя. Говорить, но не болтать.

— Я увидел, что масса является главным двигателем исторического процесса. Общее настроение — близость революционных бурь. Всей полнотой души своей бросился я в практический мир, в мир действительного дела и действительной жизни. Верьте мне, друзья мои, жизнь прекрасна, теперь я имею право это говорить, потому что давно перестал смотреть на нее через очки теории.

Так рассуждал Бакунин с друзьями за чтением газет в парижских домах и кафе.

— Знаешь ли, Гервег, — говорил он поэту, — скоро все будет хорошо. Верь мне. Начинается настоящая жизнь, мы все будем жить вместе, работать широко и горячо. Но я жду еще и мою, или, если вам угодно, нашу общую жену — Революцию. Лишь тогда, когда вся земля будет охвачена пожаром, мы будем действительно счастливы, мы будем самими собой!

Но почему-то Арнольду Руге, издававшему здесь газету вместе с Марксом и Гервегом, не слишком верилось и его заявлениям, и его друзьям, наблюдая их отвращение к усидчивому труду, их изучение народа словно с птичьего полета, ему, деловому человеку, претило то, что они за разговорами превратили день в ночь, а ночь в день. Арнольду Руге деятельность Бакунина представлялась бесплодной. И что деньги, не свои, не заработанные, Мишель тратил легко и щедро, было дико для порядочного немца.

— У тебя во всем сохраняются следы изящного барства, ты не понимаешь, что человек должен жить плодами рук своих, и рвешь столько перчаток, во сколько мне обходился день... — с осторожностью выговаривал он Мишелю. — Ты полагаешь, что жизнь есть нечто такое, что разумеется само собой. На удивление.

Вновь о «презренных гривенниках»! И как им не надоест!

В решении русского Правительства применить к нему всю строгость закона за то, что он ослушался приказа вернуться, Мишель увидел повод напасть на самодержавие. Он опубликовал статью о крепостном праве, об аристократизме, бесповоротно

осужденном гением истории, как пережиток средневековья, о том, что русский человек подавлен, но не развращен, и что в его полу-варварской природе столько энергии и размаха, такое обилие страсти и ума, что нельзя не питать уверенности в том, что ему предстоит еще выполнить в мире великую миссию. Русский народ, по его словам, идет вперед вопреки злой воле правительства Николая I.

И это выступление вызвало оторопь своей смелостью.

— Вот язык свободного человека, — отозвался Герцен, — он дик нам, мы не привыкли к нему.

Незаменима школа Парижа!

В квартире, что снимал Бакунин у некоего Штольцмана, потомка либо поклонника декабристов, было несколько комнат. В самой обширной из них и жил Мишель, самый нетребовательный в мире человек. Здесь стояла складная кровать, сундук и цинковая ванна — все его достояние. В этой же комнате собиралась редакция, человек двенадцать-четырнадцать, которые частью сидели на кровати или сундуке, частью же стояли или прохаживались взад-вперед по комнате. Все ужасно много курили, возбужденно и горячо споря.

Здесь, в Париже, в редакциях множества газет, Михаил познакомился с Марксом, невысоким, говорливым, предприимчивым доктором экономии. У Карла Марса, блестящего немецкого литератора-публициста, собственную «Рейнскую газету» которого Правительство недавно закрыло, было чему поучиться, например, материализму, основным идеям классической школы политической экономии. Уже тогда Маркс, неустанно работая с литературой и статистикой, выходил на принципы социально-политических систем, был ученым с железной логикой и сознанием своего умственного превосходства.

— Я жадно искал беседы с ним, всегда поучительной и остроумной, если только она не вдохновлялась мелкой злобой, что, к сожалению, случалось очень часто, — Мишель прищуривал голубые глаза и насмешливо искривлял прихотливые губы.

Нет, они не понравились друг другу. Возможно, Бакунину, пресыщенному философией, неустроенному, томящемуся на чужбине, была неприятна сверхнаучность этого немца, который,

к тому же, был моложе его на пять лет, к тому удачлив в любви и семейной жизни. Маркс же, немецкий еврей, чуя спиною холодок от полумиллиона русских штыков на востоке, вообще не доверял ни одному русскому, и считал этих «варваров способными лишь на бессмысленный бунт, опасный для Германии».

В те годы он представлял собою человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого научного поиска, крайне замечательный и по внешности также. С густой черной шапкой волос на голове, с волосатыми руками, в пальто, застегнутом наискось, он имел однако же вид человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы не являлся в сию минуту перед другими и что бы не делал. Все его движения были угловаты, но смелы и самонадеяны, все приемы шли поперек с принятыми образцами в людских отношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучащий, как металл, удивительно подходил к радикальным приговорам над лицами и предметами. Маркс и не говорил иначе, как такими же безапелляционными приговорами, над которыми, впрочем, еще царствовала одна, до боли резкая нота, покрывавшая все, что он произносил. Нота выражала твердое убеждение в своем призвании управлять умами, законодательствовать и вести их за собой. Это была олицетворенная фигура демократического диктатора, какую она могла рисоваться в воображении. Контраст с русскими передовыми деятелями был решительным.

— Никогда еще невежество никому не помогло! — изрекал он, словно лил в бронзовые формы. — В Европе, в Германии обращаться к работнику без строго-научной идеи и положительного учения равносильно пустой и бесцельной игре в проповедники, при которой с одной стороны полагается вдохновенный пророк, а с другой допускаются только ослы, слушающие его, разинув рот.

Нет, нет, с Марксом ему не по пути! Другое дело Прудон! Тот самый мыслитель с крестьянскими корнями, автор «Философии нищеты», издевательски разгромленной Марксом под названием «Нищета философии», тот самый, что в Национальном собрании, отвечая на обвинение, сказал самому Тьеру: «Я готов день за днем рассказать всю мою жизнь, а Вы готовы?» И этот Прудон

сам приходит к Бакунину, чтобы «слушать это чудовище сжатой диалектики и лучезарной концепции вселенских идей!» С Прудонем, автором понятия «анархизм», у Мишеля такое вдохновение и понимание, словно когда-то с Хомяковым на их философских «всенощных бдениях». Точно такое же! Однажды поздно вечером Карл Фогт, будущий знаменитый доктор, приятель музыканта Августа Рейхеля, который тоже квартировал в той огромной квартире, так вот короткий знакомый Карл Фогт, наскуча бесконечными толками о переворотах и волнениях, отправился спать к себе. На другой день рано утром, когда он зашел за Рейхелем, его удивил разговор в кабинете Бакунина, несмотря на ранний час. Он приоткрыл дверь. Прудон и Бакунин сидели на тех же местах перед потухшим камином и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор.

И все же... холодна чужбина! Тягостно влачится одинокая жизнь.

— Танечка, девочка моя, неужели ты, в самом деле, забыла меня? — писал он сестре, выказывая сочувствие ее безрадостной, по его мнению, участи, не подозревая, что Татьяна давно «возматала», что воспитывает племянников и приемного сына, что она — опора многосложного семейного уклада Прямухино.

Не знает, очевидно, старший брат и о том горьком обстоятельстве, что злостно преследуемый им когда-то Николай Дьяков погиб на охоте, оставив Вареньку вдовой с двумя детьми.

Тяжела длань Михайлова!

Конечно, дружная семья подхватила воспитание малых детей, но... какова судьба?

— Да, да, я сам в старину, несмотря на мою страстную любовь к свободе, имел большие наклонности к деспотизму и часто мучил и притеснял бедных сестер, — сокрушался Мишель, полагая, что с тех пор сильно переменялся.

Не знает он или все же имеет весточки от приезжающих, что брат Николай давно женат и многодетен, но что жена его, прелестная молодая женщина, больна чахоткой. Что мало-помалу женятся и другие братья, кто-то владеет Прямухиным, а кто-то имением под Самарой, где-то служат, участвуют в губернских делах. И что Белинский, по-прежнему искренний друг и почитатель

всей семьи, тоже женат. Скромная мещанка Мария Орлова сама разыскала-согрела Неистового, взяла на себя заботушку о насквозь болезном мужчине, потому что поняла и полюбила его русскую душу.

Она не забудет, придет, приголубит,
Обнимет, навеки полюбит,
И тяжкий свой брачный наденет венец.

...После венчания, по настоянию молодого мужа, молодые не сели в наемную, для шика, дорогую карету, но пошли домой пешком. Ах, как здесь виден весь Виссарион Григорьевич!... А вот Васенька Боткин влюбился во французскую актрисочку и задумал ее украсть, чтобы обвенчаться тайно. Подобный опыт имелся у Александра Герцена, тоже укравшего свою юную невесту, да еще находясь в ссылке во Владимире! Там была нерассуждающая молодая любовь-страсть, которой помогают все добрые силы, все ангелы-хранители. А Васенька так много рассуждал и предвидел столько страшных страхов, что когда коляска с беглецами остановилась у дома Герцена, и тот выбежал их встречать, из нее выпрыгнул Василий Боткин, а на учтиво протянутую руку Александра Герцена с силой оперся... Белинский, хохоча во весь рот. Невеста бежать отказалась.

Но вообще, род Боткиных широко и уважительно прославил себя в русской истории. В особенности послужил отечеству один из младших сыновей старого купца от последней, третьей, жены. Врач «божьей милостью», профессор Боткин, академик, член Государственного Совета, спасший тысячи русских солдат в боях на Шипке и Плевне, составитель ранозаживляющих мазей и лекарств, много построил в столицах и в провинциях лечебниц и больниц, и поныне носящих его имя.

Итак, все были заняты своими делами, жили нелегкой созидательной жизнью, и никто не нуждался в руководствах старшего брата, упекшего самого себя в невозвратную ссылку в Европу.

И на далекой чужбине, в отверженности французской столицы в Бакуине просыпается национальное сознание. Он ощущает себя русским! Мало того! Отныне именно он, Михаил Бакунин, является наследником народных вождей Степана Разина и Емельяна Пугачева, отныне именно он — носитель святого русского бунта! Долой Российскую империю! Долой императора Николая! Опрокину, все опрокину!

Новый душевный переворот дал ему новую силу, новый огонь. Глаза его чуть ли не сыплют искрами. Белокурый великан с красивыми калмыцкими чертами, всегда полный надежд, веселый, остроумный, прекрасно воспитанный, он принят в хороших домах, он — украшение салонов, а репутация политического изгнанника лишь добавляет таинственного блеска его личности, личности первого русского революционера, столь непохожего на законопослушных подданных Его Величества Русского Царя. Бакунин молод, он в расцвете сил, но, к удивлению знакомых, ни одно женское имя не блистает возле него!

Да, теперь он знал, кто он таков. Но как поставить *дело*, найти сторонников, средства? В одиночку не сделать ничего.

Вдруг новая звезда блеснула на его небосклоне! Краковское восстание 1846 года сверкнуло молнией, вырвала его из бездействия.

— Я русский и люблю мою страну, вот почему я, подобно очень многим русским, горячо желаю торжества польскому восстанию. Угнетение Польши — позор для моей страны, свобода Польши должна явиться началом освобождения России и всех славян. Я хочу примкнуть к восстанию!

Панславизм — вот это слово! Освобождение и объединение всех славянских племен, предтеча всех населяющих ныне народов и языков не только Европы, но занимавшие когда-то все известные на континенте пространства, а ныне томящиеся под турецким, австрийским, немецким, даже русским (поляки) игом! Панславизм — вот во что можно вложить всю нелепую несчастливую жизнь, клокочущую энергию, искушенный в раздумиях ум!

Мишель окрылен. Дар проповедника влечет к нему и молодежь, жаждущую перемен, и серьезных людей, убежденных его

неотразимой логикой. Идея развивается, обретает все более явственные политические и социальные черты, теперь она — сила. И хоть польское восстание подавлено, это — частность, как говорится, лиха беда начало.

Однажды, когда обритый наголо после болезни и без копейки денег, потому что заплатил долги одного русского семейства, Мишель сидел в своей комнате, к нему пришли два поляка. Сказав, что много наслышаны о его направлении и красноречии, они пригласили его выступить на ежегодном памятном собрании, посвященном польскому восстанию 1831 года, подавленном царским правительством. Мишель согласился. Тут же заказав себе парик, через три дня он уже стоял перед собранием. В блистательной речи перед польской эмиграцией, в присутствии Адама Мицкевича и князя Чарторижского, он предложил себя, русского аристократа, в ряды борцов против Российской империи за освобождении Польши. В ослепительном головокружении уверял он присутствующих, что за ним — готовое восстать русское крестьянство, и огромная, покрывающая все пространство, русская армия!

Поляки растеряны. В их местные польские дела не влезает бакунинский размах, им не сладить с массовым движением в России! Хозяева не знают, что и думать. И тут русское посольство во Франции, а именно сам посол, господин Киселев, выводит их из затруднения, пуская слухок о том, что Бакунин — российский шпион.

Вокруг Бакунина пустота. Он вновь один, без денег, без друзей. Более того, он даже выслан из Франции по настоянию все того же русского посла.

Загрустив, он шел по дороге, глядя под ноги... Но вот взглянул вокруг себя и рассмеялся. Силы душевные, словно светлый родник, вновь играли и радовались жизни, несмотря ни на что. Ах, как он обожал в себе это чудо!

— Пусть гоняют, — сказал он и даже взмахнул рукой, — а я буду тем смелее, чутче и метче говорить. Жизнь моя определяется ее собственными изгибами, независимо от моих предполо-

жений. Мы обретаемся в живой среде, окруженные чудесами, и каждый миг может вызвать их наружу!

И все же... огромная чужбина требует хоть какого-нибудь объединения. Тоска по теплому братскому окружению, по давнему полудетски-юношескому ощущению безопасности, любви и понимания непрестанно гложет его.

Полный неопределенности, он заглядывает даже в масонскую ложу. Нет, и это не для него.

Дела, святого дела!

Панславизм! Всеславянская Федерация, словно живая, расцветает в его воображении. Она должна будет осуществить полную свободу личности, суверенитет каждой нации, отмену частной собственности и права наследования, отмену государства, чиновничества, ввести общественный труд, общественное воспитание детей, набрать армии труда, общежития и тому подобное. Кто же станет у власти в столь совершенной казарме? По мнению Бакунина, это будет широкий круг осведомленных, узкий круг посвященных, во главе с самым достойным, самым талантливым из всех, то бишь Михаилом Бакуниным!

В Брюсселе он заглядывает к Карлу Марксу, также высланному из Парижа. Здесь кипит работа, издается газета, читаются лекции для рабочих и служащих, проводятся занятия в кружках и собраниях. Догадки о могильщиках капитализма осеняют вещьную голову доктора экономики, из смутных пелен социальных туманностей встают очертания диктатуры пролетариата.

Бакунину противно. Его инстинкты полностью, наотрез противопоказаны диктатуре и дисциплине, его мироощущение — это порыв, страсть, смутный протест и разрушение.

— Маркс портит работников, делая из них резонеров. Все то же самое теоретическое сумасшедствие и неудовлетворенное, недовольное собой самодовольство. В обществе коммунистов нельзя дышать свободно, я держусь от них подальше и никогда не вступлю в их коммунистический союз, не желая иметь с ними ничего общего... Коммунизм есть логическая невозможность, но в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требова-

ния, в них-то и заключается та великая чудесная сила, которая поразительно действует на умы.

«Призрак бродит по Европе...». — эти слова уже произнесены в Манифесте Коммунистической Партии. Маркс и Бакунин — первые жертвы этого Призрака, этого признания необходимости насилия над людьми ради идеи свободы и светлого будущего всего человечества.

Одиноким, без собственного движения, без поддержки единомышленников, Мишель уязвим для любого слуха, которые так и липнут к нему, к его крупной сильной личности. Но мало-помалу собираются и сочувствующие. Это простые люди, вроде братьев Страка, но они общительны и преданны. Вокруг них теснятся другие, недовольные присутствием австрийцев, немцев, турок. Для пополнения казны кто-то продал мебель, кто-то отдал сбережения. Бакунин налаживает связи в Праге, Познани, Брюсселе, его уже многие знают и видят в нем славянского вождя. Он принимает участие в подготовке Славянского съезда в Праге, чтобы выработать программу действий, единую для всех славян, северных и южных, западных и восточных.

И вдруг... И вдруг приходит известие о восстании в Париже. Томительная пустота взорвана! По шпалам, пешком, словно правоверный в Мекку, добирается Михаил до Парижа, и, словно пьяный, ходит в дыму по улицам, командует на баррикадах, ночует и ест с монтаньярами и говорит, говорит о коммунизме, об освобождении всех славян, уничтожении всех Австрий, распоряжается, приказывает вести непримиримую революционную войну до избиения последнего врага! Насколько вид народного взрыва и разрушение Бастилии напугал полсотни лет назад его отца, Александра Михайловича Бакунина, навсегда отворачив от любых проявлений бесчинства и неподчинения властям, настолько сын его всем своим существом блаженно внимал гулу восстания, слыша в нем великую симфонию хаоса и разрушения. Он наслаждался. Это были лучшие дни его жизни!

— Что за человек!?! — восклицал Коссидьер, префект баррикад, пытавшийся делать порядок из беспорядка, — в первый день ему цены нет, а во второй его надобно расстрелять. Если бы

во Франции было триста Бакуниных, ею невозможно было бы управлять!

И Коссидьеру удастся отправить дорогого проповедника к его любимым славянам с братским поцелуем и надеждой, что там он сломит себе шею и не будет никому мешать. Для верности он даже выдал тому под расписку от Временного правительства две тысячи франков.

Бакунин помчался на восток, к русской границе.

Что делалось в его голове, в его душе! Он даже написал письмо Николаю I, умоляя того встать во главе освобождения народов. Несмотря на свирепые выступления против Романова, ядовитые насмешки в печати над голштинским происхождением и нерусскостью царя, вопреки этому детское доверие и обожание императора никуда не делось, оно тлело в глубине неостывающих юношеских восторгов, тех давних нежных воспоминаний о приезде Государя к воспитанникам Артиллерийского училища, о шуточных беседах и разговорах, когда все они запросто теснились вокруг августейшей особы Государя Всея Руси! Но не послал. Решил, что сам поведет войска соединенных вольных славян против русского царя, ворвется в Россию под любым предлогом и уже там разгуляется на воле в разрушении главных государственных устоев. Опрокину, все опрокину!

В Германии тоже произошли кое-какие мелкие беспорядки, вследствие которых самочинно, без стрельбы, даже возникло Франкфуртское собрание, что не мешало немцам говорить, попивая рейнвейн, о своих политических шалунах: «Наша революция».

Это и многое другое, наконец-то, отрезвили Михаила от революционного бреда. Надо начинать с самого начала, увидел он, нужна организация. Главная ее задача, неотложная цель и святое дело – разрушение. Его стезя — не оставить камня на камне. Строители-созидатели найдутся сами, потом-потом. С таким настроением он появился на Славянском конгрессе в Праге.

Много было делегаций, от всех племен, много шума и бестолковщины, но заговорил Бакунин и вскоре говорил один при общем внимательном молчании. Его благородная, чисто славянская внешность, энергия, открытый характер и обдуманная про-

грамма привлекли общее внимание. Он говорил о противостоянии немцам и австрийцам, о том, что русский царь предал Польшу немцам, призывал сплотиться всех в ненависти к угнетателям, организовать славянские государства внутри захвативших их земли инородцев.

— Мы будем беспощадно бороться не на жизнь, а на смерть!

На что получил едкую реплику Маркса в его «Новой рейнской газете».

— Полмиллиона вооруженных и организованных варваров только и ждут подходящего момента, чтобы напасть на Германию и превратить нас в крепостных православного царя. От нас, немцев, требуют создания славянских государств внутри нас! О, если они всерьез, то и мы всерьез. Самая революционная страсть немцев — это ненависть к русским! Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, сотрет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. Исчезнут целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом!

В Праге заволновались студенты. В гостинице «Под голубой звездой» артиллерийский офицер Бакунин устроил свой штаб. Оттуда же раздался и первый выстрел. Конгресс был разогнан князем Виндигрешем, стрелки которого случайно подстрелили в толпе его собственную жену.

Унося голову, Мишель ехал в коляске по живописной местности Богемии. Возница погонял лошадей, а ездок размышлял о том, что произошло и что предпринимать дальше. И вдруг увидел, как толпа крестьян пытается приступом взять имение, красивый укрепленный замок. По всем правилам военной науки Бакунин организовал осаду, и когда вновь сел в коляску, замок пылал со всех четырех сторон.

«Воззвание к славянам» Бакунин создает в райском уголке Швейцарии, на острове Св. Петра. Он отовсюду изгнан и выслан, но по-прежнему питает намерение поднять настоящее «дело» в Праге, центре непольских славян. Несколько верных людей должны подготовить его приезд в город к самому началу пражского восстания. «Воззвание к славянам» разделило мир на революционную и неревolutionную половину, поставило вопрос о

революции и вооруженной борьбе за свободу, резко и оскорбительно отнеслось к царской фамилии.

— «... немцы — бешеные враги нашей расы, которые хотели держать в рабстве вдвое многочисленное, чем они, племя славян. Необходим союз против Австрии и против Николая. Кто же этот Николай? Славянин? Нет. Голштинско-готторнский господин на славянском троне, тиран чужеземного происхождения! Друг своего народа? Нет, расчетливый деспот без сердца, без всякого чувства ко всему русскому, ко всему славянскому...».

И так неотвратимо и гибельно предсказывал сокрушительные революционные события, что Дубельт и граф Орлов вздрагивали, читая его.

— Схватить бы его и доставить к нам! Если бы прусское правительство действовало твердо, оно бы выдало нам этого мошенника.

— Может, подкупить его помилованием и обязать жить в России?

— Он сам допрыгается и очень скоро. Нам доносят, что он замахивается на восстание в Праге. Очень удобный случай.

Но явно преследуют Бакунина не прусское и не австрийское правительства, а почему-то господин Маркс. Именно в его «Новой рейнской газете» черным по белому было помещено сообщение, будто госпожа Жорж Санд располагает неопровержимыми документами, что Бакунин действует по поручению русского правительства. Журналистская «утка» сработала как бомба. Пока писательница в ужасе опровергала фальшивку, а редакция с прискорбием извинялась перед обоими, дело было сделано. Вокруг Бакунина вновь пустота, он страшно нуждается, бунтарь-одиночка, он зол, нелюдим, он питает самые разбойничьи намерения и относительно немцев, и относительно Императора Николая I.

Но... это последние провалы перед головокружительным взлетом.

При подъезде к Праге Михаилу доложили, что к восстанию еще не все готово, а проще говоря, не готово ничего, и лучше переждать время в Дрездене, пока события сойдутся в благоприятном сочетании. В Дрездене же само по себе начиналось какое-то

собственное народное волнение. Его руководители, все старые знакомые, пригласили Бакунина командовать отражением правительственных войск. Стрельба уже началась. Бакунин согласился. Его натура требовала деятельности, немедленной, сиюминутной. Он видел, что и здесь мало что готово для серьезного «дела», что люди растеряны и разобщены. И он встал у руля, командовал, распоряжался с офицерской уверенностью, его звонкий металлический голос звал «рискнуть головой».

В эти дни его узнал Рихард Вагнер. Удивительно! Во всех великих людях, встретившихся на пути Бакунина, он оставлял ощущение величия и мощи, «львиной натуры» как сказывал еще Виссарион Белинский, к тому времени уже год как умерший от злой петербургской чахотки. Так и Вагнер, бунтарь, ниспровергатель музыкальных канонов, ощутил в Бакунине, несмотря на страшные речи, тонкую нежную чуткость, варварская дикость его сочеталась с чистейшим идеализмом человечности, уловил в нем тончайшую музыкальность, огонь и страсть к огню. С ужасом восхищения наблюдал великий музыкант одетого в черный фрак Мишеля, высокого, отлично державшего свое крепкое атлетическое тело, уверенно распоряжавшегося в дыму, под обстрелом, ободрявшего растерянных людей. И еще заметил этот обостренный наблюдатель, что Бакунин будто занимался делом, которое не казалось ему серьезным. Очень странно!

— Оказывается, — удивился знаменитый композитор, — русского человека легко можно убедить в том, что предать огню замки и имения — дело справедливое и богоугодное, что привести в действие разрушительную силу — дело, достойное разумного человека. Я понял, что славяне — наиболее способные, неиспорченные люди, но к демократии, к республике равнодушны, как к вещам несостоящим.

С 4 по 9 мая 1849 года Бакунин — полный диктатор Дрездена. В артиллерийском азарте он громит самые художественные здания, устраивает в театре склад горючих боеприпасов и сжигает его, огонь и разрушения пронесли по всем улицам старинного города. Для защиты городских стен от солдат короля он приказал вынести из Дрезденской галереи и выставить в качестве щитов бесценные картины Рафаэля, Тициана, Рубенса, рассчиты-

вая, что противник не посмеет стрелять в шедевры. (Во всяком случае, он со смехом рассказывал об этом на склоне лет!)

Когда же войска начали теснить повстанцев, он в боевом порыве предложил своим друзьям взорвать себя вместе с ратушей. Те вежливо отклонили великую честь. Тогда Бакунин организовал на удивление правильное отступление, вывел людей из-под огня, скрылся сам, и лишь предательство принявших на ночь хозяев километрах в пяти от Дрездена позволило преследованию схватить его.

При виде жандармов Мишель дрогнул, представив, что будет немедленно выдан России. Это страшило его больше всего.

— Я готов к смерти, но не к выдаче.

Ответ, что его повезут в тюрьму Кенигштейн, удовлетворил его полностью.

В Петербурге известие это было встречено с воодушевлением. Не меньшее удовольствие доставил царю тот факт, что именно его офицер столь удачно действовал против прусского короля.

— Командовал? И как?

— Блестяще, Ваше Величество.

— В политике только успех решает, что есть великое дело, а что преступление, — размышлял Михаил в обществе конвойного офицера по пути в прусскую тюрьму Кенигштейн.

Впервые за много лет здесь у него теплая комната, еда, книги. Поначалу он даже доволен.

— У меня очень уютная чистая комната, много света, я вижу в окно кусок неба. Встаю в семь, пью кофе, затем математика, в двенадцать часов еда, потом на кровати — Шиллер, в два часа прогулка с цепью. До шести — английский, в шесть часов чай, и до половины десятого. Башенные часы бьют каждые четверть часа, а в двадцать один-тридцать звучит труба, гасить свет. Я спокоен и готов ко всему.

Допросы и кандалы, надеваемые на прогулку, может, и не беспокоят неприхотливого арестанта, но одиночество все же подтачивает его подвижный, вечно мятущийся дух.

— В этой жизни надо как-то выносить себя самого, — пишет он Руге. — Заключение мое столь сухо, что я должен хоть немного украсить его присутствием Граций. Кто сейчас один из лучших немецких сочинителей? Виланд? Пришлите Виланда, и еще географию, статистику, в особенности Германии, Австрии, Италии и Турции с картою, — и по обыкновению добавляет, — денег, друзья мои, денег!

На табак, стало быть, и на чай-кофе.

Чиновников Прусского правительства интересует роль Бакунина в восстании.

— Я не был ни зачинщиком, ни предводителем сей революции, даже не знаю, имела ли таковых эта революция.

Когда же следствие выложило на стол его письма и конверты, найденные в сундучке с бумагами, которые отобрали у арестованного, Бакунин напрочь «запамятовал» все адреса, имена и темы переписки, начинал говорить о пустяках, едва упоминались настоящие фамилии. Почти год длилось судебное разбирательство. Наконец, 17 марта 1850 года обвинение огласило ему смертный приговор.

По совету адвокатов, Михаил Бакунин написал прошение о помиловании. Смертную казнь через повешение заменили пожизненным заключением по второй категории.

Александр Герцен публикует благородно-печальные строки о великом революционере, скрывшемся за толстыми стенами казематов.

После прусского в свою очередь австрийское правительство желает пообщаться с Бакуниным. Австрийская полиция рассчитывала подузнуть от него о славянских замыслах. Бакунина посадили в Грачин и, ничего не добившись о подробностях готовившегося пражского восстания, отослали в Ольмюц. Скованного, его везли под сильным конвоем драгун; офицер, который сел с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.

— Это для чего же? — удивился Бакунин. — Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?

— В вас я уверен, но друзья ваши могут сделать попытку отбить вас; правительство имеет насчет этого слухи, и в таком случае...

— Что же?

— Мне приказано всадить вам пулю в лоб

И товарищи поскакали.

В крепости Ольмюц его поместили в темном сыром каземате, на охапке соломы, а во избежании побега приковали к стене, словно медведя. И вообще обращались неблагородно. Поначалу Мишель храбрится, распевает о Прометее с его скалой, которому двуглавый орел клюет печень, поет увертюру к вагнеровскому «Тангейзеру», но временами скисает, думает о самоубийстве, глотает спички, пытаясь отравиться, но не наносит ни малейшего вреда своему могучему организму.

Суд назначен на весну. Бакунин напрочь отрицал свое участие, утаивал сообщников. Впрочем, кое-какие свидетели нашлись.

— Ах, если бы у меня не было подагры! — восклицал один из них, нарушая строгую атмосферу в зале суда. — Ах, господа судьи, если бы у меня не было подагры!

Но это ничего не меняло. Слишком громко призывал Бакунин в «Воззвании к славянам» к полному разрушению Австрийской империи и слишком полно живописал способы революционных действий, ведущих к желанной цели. Австрийская Корона могла пропустить это мимо ушей. Поэтому еще в марте, задолго до окончания следствия, граф Нессельроде, со слов австрийского министра-президента, сообщил графу Орлову о том, что Бакунин, по всей вероятности, будет приговорен уголовным судом к смертной казни в конце нынешнего марта месяца. Так и вышло. В течение одного дня обвинительный акт, показания подсудимого, подписание протокола суда и вынесение смертного приговора были проведены с военно-полевой скоростью, что говорило о том, что все разбирательство было заранее решенной комедией.

И точно также, по прошению о помиловании, смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в работном доме.

Фемида сработала.

А что же Михаил Александрович? Каков-то он теперь, после двух лет тюремного заключения, двух смертных приговоров и всего, что открылось ему, сокрытому в заточении? По прежнему

ли боится быть выданным Царскому Правительству? Да, поначалу действие батогов и плетей, хождение сквозь палочный строй под бой барабанов представлялось его воображению весьма живо, но время шло, и он уже не знал, что страшнее, и не боялся ничего.

«Однажды ночью меня будят, ведут, везут. Я ужасно обрадовался: расстреливать ли ведут, в другую ли тюрьму — все к лучшему, все перемены. Наконец, приехали. Я увидел русских солдат, и сердце мое радостно дрогнуло.

— Здорово, ребята!

— Не велено разговаривать.

Австрийский офицер потребовал обратно Kaiserliche-konigliche, то есть цепи, собственность австрийской короны. Пришлось перековывать. Наши оказались тяжелее»

Так, в ручных и ножных кандалах провели Михаила Бакунина через Красное село 11 мая 1852 года. Он прибыл на родину и занял арестантский покой номер пять Алексеевского рavelина Петропавловской крепости.

— Наконец-то, — с облегчением вздохнул наследник.

Первые недели протекли на удивление тихо. Голуби за окном, русская речь караульных солдат, ласковый плеск невидимой невиской волны за гранитом. Такой ли встречи ожидал Мишель после всего, что натворил в Европе? Он не знал, что и думать. Ясно было, что физические унижения ему не грозят, но и суд, по видимому, тоже. Здесь же все известно!

Протекли еще три-четыре недели, всего около двух месяцев.

— Пора приступать к допросу, — решил, наконец, Николай

I.

Граф Орлов наклонил голову, соглашаясь с царской волей. Оба молчали. О чем допрашивать человека, дважды приговоренного к смертной казни? Следственные материалы прусских и австрийских судов давно лежали в папках Третьего отделения. И к чему приговаривать этого бунтаря? Смертной казни в России не было, одиночное заключение и каторжная Сибирь были единственными устрашениями для преступников.

Николай I был уже немолод и не всегда здоров. По утрам, часто после бессонной ночи, он с трудом подымался с узкой армейской койки, принуждал себя к легкой верховой прогулке и тотчас принимался за дела. У него был сильный характер, дела помогали справляться с приступами глубинного предутреннего истерического страха, возрастным сигналом наследственности несчастного отца, возможно, и деда, прадеда. Только дела да пустые любовные шашни помогали ему.

Неспокойная Европа кипела волнениями и притязаниями на собственные земли Империи в Польше и Бессарабии, на юге англичане целились в Крым, на Дальнем Востоке земли по Амуру и выход к океану препятствовались Китаем. Русская сила ежеминутно испытывалась возможным неприятелем, и пока сдерживала напор, устрашала блеском штыков и славой русского оружия немцев, турок, англичан, этих хитрых лис, способных объединяться с кем угодно.

Внутри Империи было не тише. Проект отмены крепостного права, десятки проектов такого рода не раз обсуждались и в тесных, и в широких кругах высших сановников, людей государственных, умных, и почти все подталкивали царя к Манифесту.

— Пока не поздно, Ваше Императорское Величество! — утверждали они. — Народ в волнении.

Николай смотрел на них тяжелым выпуклым взглядом, который не выдерживал никто.

-»Мне уже не в подъем такая махина, — думал он. — Дай бог справиться с текущими делами. Наследник сладит. После меня..».

Строительство железных дорог, промышленность, мануфактуры, науки и первопроходцы в богатейших сибирских месторождениях золота, руды, отделочного камня, и нефть в Баку, соблазнявшая англичан до иступления, — быстро меняли лицо страны. Разве не знал он о хищениях и казнокрадстве? Но они тоже служили России, на тех утайных средствах росли новые капиталы в провинциях и глубинках. Империя крепла трудами талантливых людей, с какими никакой Европе не сравниться. И только вольнодумцы-злоумышленники, разрушители вроде Бакунина, насмотревшись на беспорядки в Европе, мечтали о по-

трясениях: «Долой, долой!»... Зачем они мутят образованные слои, зачем волнуют черный народ?

— Недосуг нам разбираться с этим бунтарем, хотя он и многое знает о делах польских и европейских, — выпрямился Николай. — Скажи ему, пусть напишет мне сам о себе все, что считает необходимым. Как духовный сын духовному отцу. И будет с него.

Орлов поклонился и вышел, а в дверь уже входил граф Нессельроде.

Глава пятая

Дни тянулись бесконечно, бесконечные пустые дни!... и такими же тягостными были ночи. Тишина. Тишина. Тишина. Вот где наказание! Напрасно ухо ловит весточки, ведь он совсем, рядом огромный город! С десятками знакомых гостиных, салонов, редакций, полных музыки и говора. Кто у них сейчас? Некрасов, Панаев? Шумят, бранятся, дружатся. А он... И недалеко, сто верст до родного семейства, где жива неизменная любовь к нему, их Мишелю, любовь, без которой он ослабел, словно стебелек без солнца. А как цветет, как разрослось сейчас Прямухино, а сколько, надо полагать, свежих детских голосов оглашают его, как когда-то они... Ох, многое припомнишь в жесткой, словно «испанский колпак» тишине. Ни весточки, ни письма. Тихо.

— Страшная вещь — пожизненное заключение. Сегодня я поглупел, завтра стану еще глупее. Неужели сгнить заживо — мой удел? А я-то, дурак, страшился батога!

Вдруг в лязг замков и считанный дробот сапог встроились незнакомые звуки.

— Здесь, в пятом? — спросил полузабытый голос.

На пороге показался граф Орлов. Мишель поднялся. Когда-то они кланялись друг другу, перебрасывались словами, встречаясь в салонах московских и петербургских, и сейчас граф с любопытством окинул высокую, отяжелевшую в тюремных сидениях фигуру *государственного преступника*, втянул носом воздух: ну и дух! Тюрьма-с!

Заговорил просто, никак не называя стоящего перед ним арестанта.

— Я прибыл к вам с поручением из дворца. Его Величество Император Николай I изволили предложить вам написать лично Ему все, что вам представляется необходимым, с полной искренностью, как духовный сын духовному отцу. Согласны ли вы?

Мишель смотрел ему прямо в глаза. Что это? Ловушка? Зачем? Он и так в их руках... Ах, они не хотят нового суда! Или, напротив, желают его?

— Это великая честь и милость для меня в том положении, в каком я нахожусь. Справедливость Его Императорского Величества не имеет границ. Пусть принесут несколько тетрадей и принадлежности для письма.

— Время, потребное вам для работы?

— Месяц.

— Прощайте. Это ваша единственная возможность оправдать себя в глазах Его Величества. Мой совет: точнее выбирайте слова.

Лязг и дробот повторились в обратном порядке и все стихло. Мишель прошелся по «арестантскому покою». Семь шагов туда, семь обратно, раскинув руки и качнувшись, достаешь руками от стенки до стенки. Поначалу, еще в Кенигштейне, острее всего угнетала невозможность своевольного передвижения, входа, выхода, бега по лестницам, ходьбы по улицам большими скорыми шагами, таких простейших свобод на воле и столь бесценных в заключении, потом цепь и солома уложили его в Ольмюце, словно быка на подстилку но и здесь, в Петропавловской, лежание на койке мало-помалу, исподволь отменило физические нагрузки на прекрасное здоровое тело, и оно стало грузнеть, оплывать, подавать сигналы внутренних бедствий.

Но теперь не до того! Его слова будет читать сам Романов, Император Всея Руси, человек, получивший все ругательные, возмутительные, злонамеренные статьи, писанные Бакуниным и произнесенные в запальчивых речах, желает выслушать его, как духовный отец духовного сына! Михаил прошелся еще раз и стал ходить как маятник, от окна к двери. «Духовный сын духовному отцу..». Такого еще не бывало. Тогда почему бы не напи-

сать, не заговорить после немоты двухлетнего молчания? Не подать голос из подземелья? Кому оно нужно, его глухое геройство! Зато каков читатель!

— Итак, от меня ждут исповеди, а исповедником решил стать сам Николай I. — он хрустнул скрещенными пальцами. — Будь я перед ягу, в открытом пространстве... о, там надобно было бы выдержать роль до конца. Но в четырех стенах, во власти медведя, можно без стыда смягчить формы, надеть искусную маску тонкой лжи и лукавства, кажущегося раскаяния и сплести с подлинной стихией души.

Он присел на постель, потом вскочил, вновь услышав дробот сапог и лязг замка. Солдат принес несколько тонких тетрадей в зеленых обложках, по двенадцать листов в полоску (как раньше!), чернильницу, гусиные и металлические, как в Европе, ручки с перьями. Ушел.

— Да, тут надобно большое искусство, высокий слог и тон. Расчет на безвыходность моего положения и на энергичный нрав Николая могут сыграть в мою пользу. Надобно никак не утаить громко-известных грехов, но и вывернуться до нутра будто-бы в полной искренности, одновременно, там и сям умалять, на радость венценосного читателя, достоинства всех его врагов в Европе, не преминуть указать пальцем на причины недовольства русского народа и пути их устранения, а тем временем то и дело призывать на свою голову гром и молнию, все наказания, как на государственного преступника, и убедить, склонить, умолить разрешение на ссылку в Сибирь.

— Начнем, пожалуй, — Мишель сосредоточился над первой строчкой. — Как говорил Станкевич: авось путь выйдет!

В течение двадцати дней он писал и вычеркивал, переставлял, менял события, выбрасывал лишнее, потом еще около полутора недель наводил глянец, и снова рвал, убирал «бешеные» выражения, но как не старался, не смог удержать язык, рассчитывая на понимание, будто встарь, в благословенные времена душевной распаханности в диссертациях к друзьям и сестрам! Увлекся, забыл, кто его Читатель! Зачем писать о революционных желаниях, зачем советовать и пророчить? Зачем? Для убедительности. Пусть, пусть. Давным-давно, чуть не двадцать лет назад, заметил

Белинский ему и, осторожненько, его сестрам, что в русском языке, в отличие от французского и немецкого, Мишель делает пропуск грамматических ошибок. Они и сейчас при нем, но тут Бакунин положился на переписчиков.

Наконец, рукопись, изящно выбеленная в четырех экземплярах придворными писарями, переплетенная в четыре тетради, оказалась у князя-канцлера Горчакова. Прочитав ее, он качнул головой и признался самому себе.

— Жаль этого человека. Не думаю, чтобы в русской армии нашелся хоть один русский офицер, который мог бы сравниться с ним в познаниях. Жаль, очень жаль.

А между тем, экземпляры уже гуляли по осторожным рукам. К Алексею Бакунину пришла записочка от придворной кузины с полупрозрачным изложением «Исповеди».

— ... Твой прежний знакомый, брат Дьяковой, живет здесь на самом берегу Невы и пишет теперь свои записки, разумеется, не для печати, а для Государя. Он весьма умно поправляет свои дела, увертлив, как змейка; из самых трудных обстоятельств выпутывается где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. Нечего сказать, умен!

И вот «Исповедь» легла на стол Императора Николая I.

Он работал с нею по уграм, по несколько страниц в день, и тонким карандашом отмечал на полях и подчеркивал в тексте поразившие его места. Места эти были расчетливо поставлены автором, как если бы они оба, Николай I и Михаил Бакунин оказались бы в одном кабинете за долгой беседой. Даже там, где Бакунин «увлекался», он лишь открывал себя для «укола», лстя противнику и отводя подозрения в неискренности. Но сам-то Николай искал у него откровенного мнения о революционном опыте в Европе, о состоянии революционного движения. Потому-то и не понял Бакунин, переиграл, безнадежно переиграл лишь самого себя, признаваясь в разрушительном революционном желании.

Ваше Императорское Величество!
Всемиловейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу неодолимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте противу воли Вашего Императорского Величества, — зная также всю тяжесть моих преступлений, которые не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, — я сказал себе, что мне остается только одно: терпеть до конца, и просить у Бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. — Я знал, что лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором Правительственного Сената и Указом Вашего Императорского Величества, я мог быть законно подвергнут телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу выразить, Государь, как я был поражен, глубоко тронут благородством, человеческим снисходительным обхождением, встретившем меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, что услышал, все, что испытал в продолжение целой дороги, от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояли в таком противуречии со всем тем, что я сам по слухам, и думал, и говорил, и писал о жестокости Русского Правительства, что я в первый раз усумнился в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением: не клеветал ли я?

Двухмесячное пребывание в Петро-Павловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

Не подумайте, впрочем, Государь, что поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, я возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я знаю, сколь велики мои преступления и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь, и сказать ли Вам правду, Государь, так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от имени Вашего Императорского Величества, что Вы желаете, Государь, чтоб я Вам написал полную Исповедь о всех своих прегрешениях. Государь! Я не заслужил такой милости, и краснею, вспомнив все, что дерзал гово-

рять и писать о неумолимой строгости Вашего Императорского Величества.

Государь! Я кругом виноват перед Вашим Императорским Величеством. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте противу Вас, Государь, писал, говорил, возмущал умы против Вас где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, Государь.

Но граф Орлов сказал мне слово, которое потрясло меня до глубины души и переверотило все сердце: «Пишите, сказал он, пишете к Государю, как бы вы говорили с своим духовным Отцом»

Молю Вас только о двух вещах, Государь! Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих, клянусь Вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А во-вторых, молю Вас, Государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои.

(— Этим уже уничтожается всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью, — подчеркнул и приписал на полях Николай I.)

... Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что я для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем. И в Ваших собственных глазах, Государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом.

Итак, я начну свою Исповедь.

Для того, чтобы она была совершенна, я должен сказать несколько слов о своей первой молодости. Я учился три года в Артиллерийском училище. Одаренный пылким воображением, и, как говорят французы *d`ure grande dose d`exaltation* — простите, Государь, не нахожу русского выражения, я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от души, хотя и поздно, каюсь! Только одно могу сказать в свое оправдание: мои тогдашние глу-

пости, и также и позднейшие грехи и преступления происходили частью от ложных понятий, но еще более от сильной и никогда не удовлетворенной потребности знания, жизни и действий.

В первом году моего пребывания в Берлине и в начале второго я был еще чужд всем политическим вопросам, смотрел на них с высоты философской абстракции. Занимался же науками, особенно Германской метафизикой, в которую был погружен исключительно, почти до сумасшествия, и день, и ночь ничего, кроме категорий Гегеля. Познакомившись поближе, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизнь, а в ней смерть и скука, искал дело, а в ней абсолютное безделье. Таким образом, излечившись от Германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле действия.

Со вступлением на престол ныне царствующего Прусского короля, Германия приняла новое направление: Король своими речами взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли. Появилось множество брошюр, журналов — я читал все с жадностью. Мне открылся новый мир, в который я бросился со всей пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвешение новой благодати, открытие новой религии возвышения, достоинства, счастья, освобождения всего человеческого рода. Я написал философско-революционную статью под заглавием: «Die Parteien in Deutschland» под псевдонимом Jules Elezard, и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили.

Знакомство и дружеская связь с поэтом Гервегом, с Руге и его кружком обратило на меня внимание посольства в Дрездене. Я услышал, что будто бы уже начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью. В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие — и решился оторваться от родины. Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шагу. Гервег

должен был оставить Германию, и я отправился в нем вместе в Швейцарию. Но так как политическая немощ тяжелее, вреднее, глубже вкореняется в душу, чем философская, то и для излечения от нее требовалось более времени, более горьких опытов: она привела меня в то незавидное положение, в котором ныне обретаюсь, да и теперь еще сам не знаю, выздоровел ли я от нее совершенно?

(—Гм... — подчеркнул и отметил Николай I, осуждающе подняв брови.)

... Гервег прислал ко мне с запиской коммуниста портного Вейтлинга. Я был рад случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя всеобщее внимание. Вейтлинг мне понравился, он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости и дикого фанатизма и веры в освобождение поработенного большинства. После немецких профессоров я был рад человеку свежему, простому, но энергическому и верующему. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством. Ни в это время, ни потом я сам никогда не был коммунистом. Я говорю о Западной Европе, потому что ни в одной славянской земле коммунизм не имеет ни места, ни смысла. Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием: сим одним могут объясняться и та невероятная слабость, и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англию, но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь. В Западной Европе, куда не обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, происходящий от безверья, начиная с самого верха общества ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право, все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому не верит; привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою, — слабая препона против возрастающей бури!

(— Разительная истина. — отчеркнул и надписал Николай I, откачнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел перед собой.)

Комунизм столько же произошел и происходит сверху, сколько и снизу; в низу, в народных массах он живет и растет как потребность неясная, но энергическая, как институт на возвышение, в верхних же классах как разврат, как институт угрожающей заслуженной беды, как неопределенный и беспомощный страх. Страх сей и беспрестанный крик против комунизма чуть ли не более способствовали к распространению последнего, чем сама пропаганда комунистов. Мне кажется, что этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий комунизм, живущий в том или другом виде, во всех без исключения, в тысячу раз опаснее того определенного и приведенного в систему, который проповедуется в немногих тайных организованных обществах.

(— Правда, — заметил Николай I, качнув головой.)

Разумея причину существования сих сект, я не любил их теорий и слишком ценил свою независимость для того, чтобы согласиться быть рабом или слепым орудием какого бы то ни было тайного общества.

До 1844 года, Государь, мои грехи были грехи внутренние, умственные, а не практические. Отказавшись ехать в Россию на повелительный зов Правительства, я совершил свое первое положительное преступление. Побыв несколько месяцев в Брюсселе, я отправился с Рейхелем (пианистом, чуждым всякой политики) в Париж.

Париж подействовал на меня сначала как ушат воды на горячешного. Нигде не чувствовал себя до такой степени уединенным, отчужденным, дезориентированным, простите, Государь, это выражение, как в Париже. Здесь я впервые услышал о приговоре, осудившим меня на лишение дворянства и на каторжные работы. На это я написал статью в демократический журнал «Reforme»; первое слово, сказанное мною печатным образом о России, было моим вторым положительным преступлением. Видал я иногда и русских. Молю Вас, Государь, не требуйте от меня имян.

(— Гм... — усмехнулся Николай I.)

Уверяю Вас только и вспомните, Государь, что в начале письма я Вам клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи

не осквернит чистоты моей сердечной исповеди, — и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским, ни тогда, ни потом я не находился в политических отношениях. Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, — а именно начиная в 1846 года — обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна моя попытка не имела успеха, они слушали меня с усмешкой, называли меня чудачком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда и то весьма изредка помогали.

(— Гм, — Николай I насмешливо усмехнулся.)

Я никогда не писал о России за деньги. Кроме вышеупомянутой статьи в «Reform», и еще другой статьи в «Constitutionnel» да той несчастной речи, за которую был изгнан из Парижа, я о России не печатал ни слова.

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, Государь! Не только по бедности, как по тому, что, пробудившись от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере. Чем долее жил за границей, тем глубже чувствовал, что я русский и никогда не перестану быть русским. Мне так было иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование.

Краковское восстание и происшествия в Галиции меня столько же поразили, как и всю протчую публику. Впечатление же, произведенное ими в Париже, было невероятным, в продолжение двух или трех дней все народонаселение жило на улице. Я и сам как будто проснулся и решил во что бы то ни стало вырваться из своего бездействия и принять деятельное участие в готовившихся происшествиях. Я написал статью о Польше в «Constitutionnel».

« —Пусть вспыхнет мир со всех четырех сторон, лишь бы только мы вышли из этого постыдного и невыносимого положения!» — сказал мне тогда редактор.

С этого времени, возмужав летами, я принялся грешить с сознанием, намеренно и с более или менее определенной целью.

Государь! Я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления, не говорить Вам о своем позднем раскаянье: — раскаянье в моем положении столь же бесполезно, как раскаянье грешника после смерти, — а буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного.

(— Неправда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное, может спасти, — колко и назидательно заметил Николай I, возможно, думая о самом себе.)

Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтись: они мне показались тесны, ограничены, ничего не видели, кроме Польши, и отчасти потому еще, что они мне не доверяли. Я оставался в полном бездействии, занимаясь науками, следуя с трепетным волнением за возраставшим движением в Европе и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимая ничего положительного. В ноябре 1847 года я был болен и сидел с выбритой головой, когда ко мне пришли два молодых поляков, предлагая произнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831 года. Государь! Вы, может быть, знаете эту несчастную речь, начало моих несчастных и преступных похуждений. За нее, по требованию Русского Посольства, я был изгнан из Парижа и поселился в Брюсселе.

(— Гм..., — Николай I, должно быть, вспомнил этот случай.)

Поляки смотрели на меня с недоверием. К моему удивлению и немалому прискорбию, пронесся в первый раз слух, что будто бы я тайный агент Русского Правительства. С коммунистами я тоже не сходился, потому что манеры и тон их мне не нравились, а требования их мне были нестерпимы, так что я навлек на себя ненависть немецких коммунистов, которые громче всех стали кричать о моем мнимом предательстве.

Наконец, грянула Французская революция. Взяв на всякий случай у знакомых паспорт, я отправился обратно во Францию. Но паспорт не был нужен, первое слово, встретившее нас на границе, было: « В Париже объявлена республика!» У меня мороз пробежал по коже. Железная дорога была сломана, везде толпа, восторженные крики, красные знамена на всех публичных здани-

ях Парижа! Этот огромный город, центр Европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: баррикады, взгроможденные как горы досягавшие крыш, а на них между камнями и сломанной мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники с поглупевшими от ужаса лицами, на улицах ни одного экипажа, исчезли молодые и старые франты, а на место их мои благородные увриеры...

(— Ага... — подчеркнул Николай I и коротко рассмеялся.)

... торжествующими ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями упивающиеся своей победою! Я жил с работниками более недели, имел случай видеть и изучать их с утра до вечера. Государь! уверяю Вас, ни в одном классе никогда и нигде не нашел я столько благородного самоотвержения, любезной веселости, героизма, как в этих простых необразованных людях! Если бы эти люди нашли себе достойного предводителя, то он сделал бы с ними чудеса!

Это был месяц духовного пьянства! Все были пьяны, это был пир без начала и конца. К поддержанию и усилению всеобщей горячки немало способствовали такие известия, бывало, только и слышно: «В Берлине сражаются, король бежал! Борьба в Вене, Меттерних скрылся, объявлена республика! Восстала вся Германия! Итальянцы победили в Милане, в Венеции, Австрийцы потерпели постыдное поражение! Объявлены республики; вся Европа будет республика — да здравствует республика!» Одним словом, умы находились в таком состоянии, что если бы кто пришел и сказал: «Сам Бог изгнан с неба, там объявлена республика!» — никто бы не удивился.

Но мое призвание было на русской границе, в Славянской войне в соединенных войсках славян против Русского Императора.

Государь! Я не скажу ни слова о безумном и дон-кихотском безумии моего предприятия. При всем безумии я сохранял слишком много гордости, чувства достоинства и, наконец, любви к родине, чтобы быть слепым и грязным орудием какой-то ни было партии, какого бы то ни было человека! В своем безденежье я

попросил демократических членов провизорного Правительства дать мне 2000 франков *не даровой помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа*. Если бы меня спросили о цели моей поездки, и я бы захотел ответить ему, то между нами мог бы произойти следующий разговор.

— Зачем ты едешь?

— Еду бунтовать.

— Против кого?

— Против Императора Николая.

— Каким образом?

— Еще сам хорошо не знаю.

— Куда ж ты едешь теперь?

— В Познанское Герцогство.

— Зачем именно туда?

— Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения, и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем через Галицию.

— Какие у тебя средства?

— Две тысячи франков.

— А надежды на средства?

— Никаких определенных, но авось найду.

— Есть ли знакомые и связи в Познанском Герцогстве?

— Исключая нескольких молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, там никого не знаю.

— Есть рекомендательные письма?

— Ни одного.

— Как же ты без средств и один будешь бороться с Русским Царем?

— Со мной революция, а в Поздене надеюсь выйти из своего одиночества.

— Теперь все немцы кричат против России, возносят поляков и собираются вместе с ними воевать против Русского Царства. Ты русский, неужели ты соединишься с ними?

— Сохрани Бог! Лишь только немцы дерзнут поставить ногу на славянскую землю, я сделаюсь им непримиримым врагом.

— Но поляки одни не в состоянии бороться с русской силой.

— Одни нет, но в соединении с другими славянами, особенно, если мне удастся увлечь русских в Царстве Польском.

— На чем основываются твои надежды, есть ли у тебя с русскими связи?

— Никаких, надеюсь же на пропаганду и на мощный дух революции, овладевшей нынче всем миром.

Теперь я вижу ясно свое безумье, и сам бы смеялся, если б мне было до смеху, и поневоле вспоминаю одну басню Ивана Андреевича Крылова. Ехал из пьяного Парижа, и сам был пьян, да и все вокруг меня были пьяны. Чем ближе к северу, тем холоднее становилось на душе. В Кельне мной овладела тоска невыразимая, как будто бы предчувствие будущей гибели!

Моими стараниями мой старый приятель Арнольд Руге был избран во Франкфуртское собрание от Бреславля. Немцы смешной, но добрый народ, я с ними почти всегда умел ладить, исключая, впрочем, литераторов-коммунистов. Меня слушали как оракула. Заговоров и серьезных предприятий между ними не было, а шума, песен, пива и хвастливый болтовни много.

Я много ждал от Пражского Конгресса. Славяне в политическом отношении дети, но я нашел в них невероятную свежесть и несравненно более природного ума, чем в немцах. Чувство, преобладающее в славянах, есть ненависть к немцам, это была неистощимая тема всех разговоров. Важность Конгресса была в том, что это было первое свидание. Славяне ожидали случая объявить себя миру. В 1848 году этот случай обрелся. Я вступил в северное, то есть в Польское отделение, сказав коротко, что Россия, отторгнувшись от славянской братии через порабощение Польши, не может иначе возвратиться к Славянскому единству, чем через освобождение Польши. Поляки приняли меня рукоплесканиями.

Старообрядческий поп вместе со мною вступил в отделение поляков, мне приходила мысль употребить этого попа на революционную пропаганду в России. Он был человек хитрый, смысленый, настоящий русский плут и пройдоха, знал много о расколах и старообрядцах, и находился в ними в постоянной связи. Но я не имел времени заняться им.

Дни текли, конгресс не двигался. Зачем вы съехались в Прагу? Толковать здесь о своих узконациональных интересах? Надо объединяться для разрушения Австрийской Империи!

О России я ничего не знал, кроме слухов. Я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России, вследствие этого должен был верить или, лучше сказать, должен был заставлять себя верить в русскую революцию. По природе я не шарлатан, Государь, и никогда жажда простой чистой истины не угасала во мне. Одним словом, я хотел верить, чтобы верили другие. Не без труда и не без тяжкой борьбы доставалась мне сия ложная насильственная вера, я заглушал в себе совесть и отвергал сомнения как недостойные. Я знал Россию мало, восемь лет жил за границей, а когда жил в России, то был исключительно занят Немецкою философией. Теперь я стал собирать старые бессознательные впечатления, вспоминать, создал себе фантастическую Россию, готовую к революции. Вот каким образом я обманывал себя и других.

Государь! Тяжелы мне будут сии признания! Если б я стоял перед Вами, Государь, только как перед Царем-Судьею, я мог бы избавить себя от сей внутренней муки, не входя в бесконечные подробности. Для праведного применения карательных законов довольно бы сказать: «я хотел всеми силами и всеми возможными средствами вдохнуть революцию в Россию, хотел ворваться в Россию и бунтовать против Государя, и разрушить вконец существующий порядок».

Но по чрезвычайной милости Вашей, Государь, я стою перед Царем Исповедником и должен показать все сокровенные мысли.

Более всего поражало и смущало меня несчастное положение, в котором обретается ныне так называемый черный народ русский, добрый и всеми угнетаемый мужик. Правительство смотрит на сии вещи сверху, я же, смотря на них снизу, не могу видеть всех препятствий, всех трудностей, обстоятельств и современных условий, как внутренней, так и внешней политики, поэтому не могу определить удобного часу для каждого действия...

(— Гм... — согласился Николай I.)

... вместо сих ответов я дерзостно и крамольно отвечал в уме и речах своих.

— Правительство не освобождает русского народа и потому, что ограничено множеством обстоятельств, и потому, что не хочет ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем бездушную машину для завоевания Европы.

Я усумнился в истине многих старых мыслей, въехав в Россию, найдя в ней благородную сострадательную встречу, вместо ожидаемого жесткого и грубого обхождения. Я довольно сказал, чтобы показать, сколь велика была необузданность моей мысли. Мне так и слышится, что Вы, Государь, говорите: « мальчишка болтает о том, чего не знает! « А более всего тяжело моему сердцу, потому что стою перед Вами, как блудный, отчуждившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом .

(— Напрасно бояться, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца, — Николай I пожал плечами и написал более для наследника, чем для себя.)

Одним словом, Государь, уверил я себя, что Россия, чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть Вашу Царскую Власть, стать во главе Славянского движения; обратить оружие свое против Императора Австрийского, Прусского Короля, Турецкого Султана и против Германии, одним словом, против целого света для освобождения славянского племени.

Я не хотел быть диктатором. В моей природе был всегда коренной недостаток: это любовь к фантастическому, к необыкновенному, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный, которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Спокойствие приводило меня в отчаяние, душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения, жизни. Мой единственный двигатель — любовь к свободе и неотвратимая ненависть ко всякому притеснению. Вот, Государь, истинный ключ ко всем моим бессмысленным поступкам, грехам и преступлениям. Я говорил: мы призваны разрушать, а не строить, строить будут другие, которые и лучше, и умнее, и свежее нас. Могли бы спросить меня: разве не помнишь

слова Пушкина: «избавь нас Бог от русского бунта, бессмысленного и беспощадного?»»

Государь! На этот вопрос мне будет тяжелее всего ответить, оттого, что хоть преступление мое не выходило из области мысли, я в мысли уже и тогда чувствовал себя преступником, и сам содрогался от возможных последствий моего преступного предприятия — и не отказывался от него! Достало ли бы у меня довольно характера, силы и злости, чтобы начать преступное дело? Бог знает? Хочу верить, что нет, а может быть и да. Чего не делает фанатизм! Не даром же говорят, что в злом деле только первый шаг труден. И благодарю только Бога, что не дал мне сделаться извергом и палачом своих соотечественников! Я готов был ухватиться за любые средства, заговоры, возмущение крестьян, наконец... Одним словом, Государь, моему преступлению против Вашей Священной Власти в мысли и намерении не было ни границ, ни меры. Не так само действие, как само намерение делает преступников, и, оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые был осужден сначала на смерть, потом на вечное заключение в работном доме, я вполне и от глубины души признаю, что более всего я преступник против Вас, Государь, преступник против России, и что преступление мое заслуживает казнь жесточайшую.

(— Повинную голову меч не сечет, прости ему Бог! — усмехнулся Николай- Исповедник.)

Самая тяжелая часть моей исповеди окончена. Теперь мне остается исповедовать Вам грехи немецкие. Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера, ходил с ружьем, несколько раз стрелял, впрочем, как гость, не ожидая больших результатов. Потом отправился во Франкфурт. Франкфуртское собрание, вышедшее само из бунта, основанное на бунте, стало уже называть итальянцев и поляков бунтовщиками, смотреть на них, как на крамольных и преступных противников.

(— Прекрасно! — с довольным смехом отозвался Николай I.)

Немцы мне вдруг опротивели. Опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка, немецкого голоса...

(— Пора было! — язвительно заметил Николай I.)

... и помню, когда ко мне подошел раз немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтобы не поколотить его.

Не я один так чувствовал. Поляки стали говорить громко, что им остается одно: прибегнуть к покровительству Русского Императора и просить у него присоединения всех польских, австрийских и прусских провинций. Если б Вы, Государь, захотели тогда поднять славянское знамя, то они с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья Российского Орла и устремились бы с яростью не только против неславянских поработителей, но и на всю Западную Европу.

(— Не сомневаюсь, т.е. я бы стал в голову революции Славянским Mazaniello, спасибо! — ехидно улыбнулся Николай I.)

Тогда во мне родилась странная мысль. Я вздумал вдруг написать к Вам, Государь! и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, но и молил Вас, Государь, по имя всех угнетенных славян прийти им на помощь, быть их Спасителем, Отцом и объявив себя Царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам. Я разорвал это письмо и сжег, не докончив.

(— Жаль, что не прислал! — Николай I окончательно развесялся.)

Только в одной мере условились мы положительно, в необходимости готовить в Праге общеславянский революционный комитет. Странное дело, в немцах преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархизм есть основная черта немецкого ума.

(— Разительная истина!!! — ахнул Николай I.)

Анархия между провинциями, между городами, наконец, в каждом немце, взятом особенно, между его мыслью, сердцем и волею. «Каждый имеет право и должен иметь свое мнение».

(— Неоспоримая истина!!! — качнул головой Николай I.)

Поэтому демократы одного и того же немецкого государства не могли, не умели да и не захотели объединиться. Все были разъединены мелким, еще более самолюбием, чем честолюбивым соперничеством.

(— Правда, — вновь согласился Николая I.)

Я постоянно остерегал себя от вмешательства в их дела. Все ожидали к весне 1849 года решительных мер. Все готовились, но мало приготовили. Я жил в Дрездене ради близости к Праге. Я долго не знал, что делать? Остаться в Дрездене было опасно. Но, оставшись, я ни по положению, ни по характеру не мог быть равнодушным и бездействующим зрителем дрезденских происшествий.

Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтобы под предлогом угашения пожаров предали город войскам.

Государь! Я преступник великий и не заслуживаю помилования. Я это знаю, и если бы мне суждена была смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью, она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, Государь, не велите мне жить в вечном крепостном заключении. Пусть каторжная работа, самая тяжелая, будет моим жребием.

Другая же просьба, Государь! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством, если не со всем, то, по крайней мере, со старым отцом, с матерью и с одной любимой сестрой, про которую я даже не знаю, жива ли она?

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего Императорского Величества, подписываюсь от искреннего сердца
кающийся грешник
Михаил Бакунин.

(— На свидание с отцом и сестрой согласен, в присутствии г. Набокова, — постановил Николай I.)

Император закрыл тетрадь. Побарабанил по столу длинными пальцами, подумал и написал на первом листе для сына, наследника Александра.

— Стоит тебе прочесть, весьма любопытно и поучительно.

После этого вызвал Дубельта, передал ему тетрадь и, усмехнувшись, мягко провел левой рукой по аккуратно причесанным волосам.

— Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать взаперти.

Дубельт молча наклонил голову, унес тетрадь к себе и стал покрывать лаком все карандашные пометы царя.

«Собственной Его Величества рукою написано карандашом».

Поставил дату и собственную подпись. 27 сентября 1851 года, генерал-лейтенант Дубельт. После этого «Исповедь» Михаила Бакунина оказалась на столе наследника Александра. Он прочел ее по-своему и отозвался с краткой пронизательностью.

— Нет и следа раскаяния.

И Бакунина оставили в «покое».

В Прямухино уже многое знали. Ни слова упрека не прозвучало в семье. К старшему брату по-прежнему сохранялись любовь и уважение, не охлажденное годами молчания и разлуки, хотя того мощного давления, которое испытали когда-то доведенные до истерик, до видений юные сестры, одна за другой переболевшие нервными расстройствами, такого влияния давно уже не было. Все стали взрослыми, искушенными, вполне ощутившими разницу между мечтами и действительностью. Уходили навеки участники прежних молодых споров, шумело подрастающее поколение, которое личность дяди Миши ничуть не занимала, но само присутствие его в крепости казалось чем-то необыкновенным.

Наконец, офицер от графа Орлова известил Бакуниных, что милостью Государя родным разрешено свидание с заключенным Михаилом Бакуниным. Поехали, конечно, Татьяна-Титания и Николай, нынешняя опора семейства. Александру Михайловичу, восьмидесятипятилетнему старику и просидевшей возле него сорок лет супруге затруднительно было бы сие путешествие в северную столицу, несмотря на недавно построенную, прямую, как стрелка, железную дорогу.

Молодых и загорелых брата и сестру (Татьяне было тридцати пять лет, Николаю минуло тридцать) ввели в обширную залу в квартире коменданта крепости Ивана Александровича Набокова. Это был добрый и заботливый человек, считавший за-

ключенных своими подопечными, почти детьми. Он предложил приехавшим чаю и нехотя рассказал о запретах в общении с... заключенным: общаться только на русском языке, не говорить о политике, о высокопоставленных особах, передавать и принимать письма, за исключением тех, что прошли через руки местной канцелярии, и, разумеется, любые колющие и режущие предметы, пояса и веревки невозможны тоже.

— Увы, — он развел руками. — Служба.

Наконец, за дверью послышались тяжелые шаги.

— Мишель!

Все обнялись. Одиннадцать лет! Мишель выглядел бледным, отяжелевшим, передних зубов не было. Два из них выпали из кровоточащих десен уже здесь, накануне. Но он не выглядел ни грустным, ни отчаявшимся.

— Во-первых, друзья мои, нужны книги, много книг, тетради, принадлежности для письма, — распорядился он после объятий и поцелуев.

— Извините, Михаил Александрович, что вы собираетесь писать? — насторожился Набоков.

— Письма родным, Иван Александрович.

— Но и только. Читать вам можно, но писать ни в коем случае. Извините. Пейте чай. Какое варенье вам нравится? Супруга припасет к следующему разу. Говорите, говорите, господа.

Они говорили долго-долго. Татьяна со сдержанной улыбкой, лаская брата темно-голубым взглядом, предложила поместить к нему в камеру клетку с канарейкой.

— И веселье, и заботушка тебе, Мишель. Согласен? Но, главное, — она повернулась к коменданту, — свежие овощи, домашнюю буженину, зелень из премухинских теплиц, еловый отвар. Это допускается, господин Набоков?

— Весьма умеренно, госпожа Бакунина. В камере нет ледника.

— Ах, как жаль! Как часто дозволены свидания?

— Один раз в два месяца.

Они ушли.

— Мишель будет возвращен в семью, — с убеждением произнес Николай. — Старший брат — краеугольный камень дома, без которого вся семья расплзлась во все стороны.

Потянулись дни. Потянулось или остановилось время. В Лондоне Герцен печатает благородно-прощальную статью о доблестном рыцаре Бакунине, борце за свободу, которого теперь скрыли тяжелые каменные своды каземата. В Петербурге, сам опальный, Тургенев составляет для него библиотеку.

— Дорогой наш сын, для ободрения духа займись переводами, это освежит твою умственную жизнь, — советует ему в письме престарелый отец Александр Михайлович. Ему ли, верноподданейшему родовому дворянину, присягавшему трем царям русским, дожить до такой крайности! Ах, предчувствие, предчувствие полувековой давности, ведь как сбылось, как наказало все семейство!

— Вы хотите, батюшка, чтобы я занялся переводами, — отвечал непокорный сын. — Я не думаю, чтобы это было возможно, во мне умер всякий нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, охота к жизни.

Ведь переписка шла через канцелярию, нельзя было и намекнуть на жажду деятельности.

Год, другой. В душной камере, неподвижный, почти без прогулок, Бакунин полнеет, набирает вес. По ночам больно схватывает сердце, не в порядке печень, десны кровоточат, зубы во рту можно раскачивать пальцами.

Распоряжением Набокова ему поступают овощи, домашние обеды. Здоровье поправляется, но действия, действия нехватает всегда заряженного на движение Мишеля. Через два года умер Иван Александрович Набоков, завещая заботу об арестантах приемнику генералу Мандерштерну. Пока тело усопшего стояло у него в квартире, кто-то из «лиц» от Бакунина проник в дом, чтобы поклониться ему и поцеловать руку.

Всвязи с начавшейся войной с англичанами его перевели в Шлиссельбург, опасаясь, как бы те не освободили знаменитого бунтовщика. В благословенном Прямухино навеки угас Алек-

сандр Михайлович, тихо, как свеча, в его восемьдесят восемь лет. А через два месяца в феврале 1855 года умер Николай I.

На престол, в разгар Крымской кампании вступил Александр II. Из всех списков на помилование, поданных по обыкновению новому царю в честь восхождения на престол, он вычеркнул только Бакунина и Шевченко. Первому он не доверял, а второй «Он слишком оскорбил мою бабу» (Екатерину великую).

Кадровый офицер Николай Бакунин давно уже воевал на позициях Севастополя. Но и другие братья, все четверо, в составе тверского ополчения, отправились на фронт. Даже Екатерина Михайловна Бакунина, придворная дама, встала во главе миссии медицинских сестер с благословения Великой княгини Елены Павловны, чтобы спасти жизни раненых солдат вместе с врачами-хирургами, ведомыми великим Пироговым.

Свидания тем временем продолжались уже в Шлиссербурге, также на квартире коменданта крепости генерала Мандерштерна. Об этом человеке говорили, и справедливо, немало хорошего, Мишелю по-прежнему везло «по-возможности».

— Редко видел я узника столь благоразумного и мужественного, как ваш брат, Татьяна Александровна, — комендант уже накормил всех обедом и распорядился подавать кофе. — Всегда он в хорошем настроении, всегда смеется, право, надежда утешает его, как никого из моих подопечных, — улыбался он, привычно пролистывая принесенные ею книги, в то время как сам Мишель быстрым движением завернул в салфетку и передал Татьяне тайную записку.

— «... а между тем, Танюша, двадцать раз в день хотел бы я умереть, настолько жизнь для меня стала тяжела. Дух мой крепок, но тело слабеет. Неподвижность, вынужденное безделье, отсутствие воздуха, и особенно жестокие внутренние мучения, которые только узник, одинокий, как я, мог бы понять и которые не дают мне покою — все это развело во мне зачатки хронических болезней. Головная боль совсем не покидает меня, кровь бурлит и бросается мне в грудь и в голову, и душит меня. Только один раз я имел случай посмотреть на себя в зеркало и нашел себя ужасно безобразным. Я не желал бы ничего лучшего, как поскорее исчезнуть, но медленно ползти к могиле, по дороге глупея —

вот на это я не могу согласиться. Воля моя, я надеюсь, никогда не сломится, сердце мне кажется каменным и это правда; дайте мне возможность действовать, и оно выдержит. Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая? — спросите вы. Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большей выдержкой и большей предусмотрительностью, может быть. Вы впали в христианское смирение, а нужно действовать! Я должен выйти отсюда. Действовать!»

И Мишель становится центром штаба своего собственного освобождения.

Сначала прошение о помиловании на имя нового царя подаст Варвара Александровна Бакунина, мать Мишеля.

«... Уже пятеро сыновей моих, верные долгу дворянства, вступили на военную службу на защиту отечества. Благословив их на святое дело, я осталась одна без опоры. И могла бы как милости просить о возвращении мне шестого, но я молю Ваше Величество о дозволении ему стать с братьями в передних рядах храброго Вашего воинства и встретить там честную смерть или кровью заслужить право называться моим сыном. Ручаюсь всеми сыновьями моими, что где бы он не был поставлен Волею Вашего Величества, он везде исполнит долг свой до последней капли крови».

Но Александр II не верит раскаянью одержимого революцией дрезденского диктатора. Слишком глубоко открылся в своей «Исповеди» сам государственный преступник! Государь боится этого человека.

Прощение отклоняется.

Военная кампания кончилась неудачей. Севастополь оставлен, хотя и не совершенно взят. Войска уходили в отступление, как во сне. Стояла темная ночь, еще свистели редкие пули, изредка отдавался гул орудий. Где-то на последних бастионах на батарее Николая Бакунина вышел Лев Толстой, уже печатавший в «Современнике» «Севастопольские рассказы». Они поговорили. Никому не верилось, что война проиграна, что русские солдаты отступают на собственной земле. Правда, далеко на юге русские войска отбили у турок крепость Карс, что намного облегчило и смягчило мирные переговоры.

Вскоре в Прямухино встречали своих героев. Все пятеро вернулись живыми и невредимыми, как в сказке. И вновь Мишель требует от них действия!

Но и прошения братьев-героев не произвели впечатления на Александра II!

Тогда за дело берется вернувшаяся с полей сражения, покрытая славой Екатерина Михайловна Бакунина, всю войну прошедшая среди окопов под пулями вместе с созданным ею, впервые в мире, отрядом сестер милосердия. Ее принимает во дворце великая княгиня Елена Павловна, миссию которой Екатерина Михайловна исполнила сердечно и бесстрашно, и теперь уже она упрасивает Ее Высочество просить об узнике Государыню-Императрицу Марию Александровну. Против этого хода бессильны и генерал-лейтенант Дубельт и граф Орлов.

Наконец, через Долгоруких, Бакунину дали понять, что пришло время личного прошения на имя Его Императорского Величества Александра Второго.

Это письмо — образец чистейшего арестантского лицедействия. В нем Бакунин размазал себя по стенке, унизился до праха на императорских сапогах и подписался: молящий грешник Михаил Бакунин

И Государь нехотя поверил, что «святое чувство русского бунта» умерло в слезно *молящем грешнике*, что тот забыл и гул восстания, и запах пороха, и грохот воздвигаемых баррикад. С письмом в руке и тетрадь «Исповеди» он вышел к министру иностранных дел к князю Горчакову Алексею Михайловичу, которого Бакунины тоже просили походатайствовать за Мишеля.

— Mais j'en vois pas le moindre repentir dans cette lettre! Дурак хотел *repentir!* (покаяния!)

Горчаков осторожно скосил глаза. Он не рискнул входить в подробности, ему было не по себе. Ведь ... в Европе так неспокойно, и внутри наших рубежей сеют смуту злонамеренные умы из разных чинов, надобна сугубая осмотрительность. Хотя... этот Бакунин постарел, одумался в заточении и вряд ли опасен.

Молодой Государь качнул лобастой головой.

— Но засыпали же! Прощениями! И ты туда же! Дыхнуть не даете!

Горчаков дипломатично улыбался. Александр II хлопнул себя по бедру.

— Черт с ним! Выпущу. Из уважения к его братьям, к тетке, — и присел к столу.

«Другого для него выхода не вижу, как только в Сибирь на поселение», — начертал, наконец, своей рукой Император Всея Руси.

Дорого обойдется Александру Николаевичу эта мгновенная человечность!

Пятого марта 1857 года Михаил Бакунин вышел из крепости. Две недели оформлялись его дела в Петербурге, затем в сопровождении двух жандармов, в прицепном вагоне он был доставлен в Тверь, там в коляске — в Торжок и в Прямухино.

Вся семья была в сборе. Михаил был мрачен. Он отвык от людей. У него был тяжелый упадок духа, после-тюремная депрессия. Надобно время, чтобы придти в себя и вновь научиться беседовать со всеми сразу. Поклонившись родным могилам, в том числе и свежему холмику над мятежной сестрой Варенькой, он провел в родном доме ровно сутки, играя в дурачки со старой нянькой Улитой Андреевной. Наконец, в сопровождении тех же жандармов навсегда покинул родной дом.

Сибирь, Сибирь... необъятная русская земля. Волна декабристов, доживших до нового царствования, вернулась в столицы, срок отбывают сплошь разночинцы. Жизнь их тяжела, полна нужды, духовная деградация стремительна, сопротивление их выражается в путаных бессвязных письмах, которыми завалены канцелярские столы губернского и полицейского начальства. Весть о приезде революционера с мировым именем вселила в них надежду и бодрость. Его ждали, как вождя и пророка.

Бакунину определено место поселения в Нелюбинской волости Томской Губернии. В мае 1857 года Михаил Бакунин прибыл к месту назначения и был сдан под расписку начальнику края генералу Гасфорду.

Вокруг простиралась лесостепь, сильные пыльные ветры, окружение убогое, как туземцы, как показалось на первый

взгляд. Что тут можно «делать»?! Тихое постепенное опошление, как пророчил он себе когда-то Москве. В Москве! А тут забытая Богом нелюбинская волость... О, Господи!

Но Бакунину вновь везет «по-возможности». Могущественный генерал-губернатор Сибири граф Муравьев-Амурский, родной дядя Мишеля по матери, блистательный чиновник, обласканный государем за выгодный договор с Китаем о границах по Амуру, приамурских землях о открытом выходе к океану, нарочно дает крюка в полторы тысячи километров из столицы края Иркутска через таежные хребты и бурные речные перекаты, где в коляске, где верхом по тяжелому сибирскому тракту.

— Мишель! Ты ли это? Рад, рад тебе, племянник!

— Николай Николаевич! Вот куда судьбина занесла!

— Досталось тебе, вижу, вижу. Отдыхай теперь, сил набирайся, зеленого ешь побольше, ягоды, орехи. Рыба знатная у нас. Где ты обосновался?

— В домишке деревянном, на окраине.

— Ну, вели носить тебе молока, да яиц, да курочек. Я распорядюсь. Да не желаешь ли в Томск? Повеселее, как будто?

И мановением руки генерала-губернатора племянник был переведен в Томск и даже устроен на государственную службу к золотопромышленнику канцелярским служителем 4 разряда с правом выслуги первого офицерского чина через одиннадцать лет! Здесь, в Томске те же ветры и лесостепь, но есть общество, собственный домик, служба его не тяготит, ведь в канцелярии он — редкий гость, ему платят из страха перед Муравьевым.

И полетели дни. Время, свобода, питание. Генерал-губернатор даже приставил ему слугу из местных, узкоглазого мужичка, мастера на все руки.

— Ты христианин? — зевая спросонок, поинтересовался Михаил, разглядывая малознакомое доселе смуглое монголоидное лицо слуги.

— Да, моя крестился.

— А как тебя зовут?

— Алдын.

— Ну, тогда подай квасу, любезный Алдын!

Михаил будто пробудился. Силы его восстанавливались не по дням, а по часам! Он обошел весь город, познакомился с обитателями, вместе с ними стал выезжать в лесные и таежные сопки. Здоровье, здоровье его восстанавливалось, как в сказке, могучее, прежнее, оно уже распирало грудь, звало к деятельности.

Сам генерал-губернатор Николай Николаевич, «демократ и татарин, либерал и деспот», по выражению современника, которому не с кем было поговорить на высокие темы по-французски, по-немецки, брал Михаила с собой в поездки.

Муравьев присоединил к Русскому царству огромный богатый край, придвинувший Сибирь к Тихому океану и тем впервые осмыслил Сибирь. В 1858 году по Айгунскому трактату Амур стал русской рекой.

А край-то! Тысячи километров во все стороны, таежные хребты, могучие реки и десятки племен! О многом беседовали два образованных родственника, любуясь на таежные дали, вереницы горных хребтов, синие стремительные реки. Муравьев был не чужд передовым идеям, главная из которых — освобождение крестьян. Мишель, государственный преступник, в своих мечтах уже поставил его во главе революционного республиканского войска Соединенных Штатов Сибири, призванного уничтожить Австрию и учредить славянский союз! Муравьев смеялся до слез. Он не собирался задерживаться в этой глуши, его успехи приближали его к заветной карьере: стать русским консулом в Париже либо в иной европейской столице. О многом говорили они всерьез, много шутили. В его обществе, в целебном чистом таежном углу Мишель вновь «возстал».

Однажды по служебным делам Муравьев вместе с племянником поехали к бурятскому тайши. Тайши жил в роскоши, имел несколько комнат, кое-как говорил по-русски, но, как все зависимые люди, очень боялся начальства. Угостив гостей на-славу, он пригласил их в другую комнату. Муравьев стал расспрашивать о состоянии края, о здоровье населения, о промыслах. Тайши ужасно робел перед гостями и все хотел было снова накормить их до отвала жареным мясом, лепешками и бурятской водкой, чтобы выпроводить поскорее. По-здешним обычаям, сытый гость долго не сидит.

— Извольте обедать, бачка!

— Рано, друг мой. Еще аппетит не пришел.

Тайши решил, что Аппетит — это чиновник, которого необходимо дожидаться. А того нет и нет! Еще через полчаса он осмелился вновь предложить угощение. Уж больно хотелось поскорей выпроводить высокого гостя!

— Угощайтесь, бачка! Барана молодого зарезали, блюдо простынет.

— Спасибо, щедрый хозяин, но как можно есть без аппетита!

Тайши взмолился.

— Бачка! Вы себе кушайте, кушайте. Аппетит — маленький человек, ну, придет после, мы его после и накормим.

Множество подобных историй мог рассказать Николай Николаевич Муравьев своему племяннику. А сколько выслушать взамен!

Бакунин начинает переписку с внешним миром и первому, кому посылает письмо, — в Лондон, Герцену

« — Прежде всего позволь мне, воскресшему из мертвых, поблагодарить тебя за благородные симпатичные слова, сказанные тобою обо мне печатно во время моего печального заключения. Они проникли через каменные стены, уединившие меня от мира, и принесли мне много отрады...»

Мишель всегда так любил писать письма! О, переписка, привилегия и наслаждение свободного человека! Он пишет домой, Татьяне, брату Николаю, пишет Каткову, пишет всему свету, всем, с кем хотел бы поговорить! А уж в «Колокол» Александру Герцену и Николаю Огареву улетели уже с десятков писем-тетрадей, он уже публикуется там, в самом «Колоколе». Все же письменного общения мало, мало. Необходима трибуна!

... Жили-были в Томске переселенцы из Молдавии, некие Квятковские, обедневшие дворяне. Ксаверий Васильевич, глава семейства, служил в местном департаменте, жена его, полька по национальности, вела дом. Детей у них было трое, две дочери и сын. И как везде по Сибири, проживали в Томске ссыльные поляки, прошедшие каторгу после подавления восстания 1831 года и оставшиеся жить на поселении. Того самого восстания, которому

посвятил негодующее послание Пушкин, и каждую годовщину которого отмечали в Париже траурным заседанием, на одном из которых прославился безумной речью сам Бакунин. Давно смиренные, уже не питавшие ненависти к стране, в которую неволью попали, сибирские поляки где-то служили, имели семьи, хозяйства. Иногда собирались друг и друга и пели потихоньку свой гимн.

Еще Польша не сгинела...

С ними Бакунину было о чем потолковать, отвести душу.

— Ваш Мицкевич пережил сам себя, — говорил он. — Он ударился в мистицизм и уже ни к чему не годен.

— Ах, пан Бакунин, какой это был поэт! Его ваш Пушкин обнимал, как родного брата, как гений гения!

— А как поживает в Париже князь Адам Чарторижский?

— Он много хлопочет, но силы у него немного, пока он ничего не может противопоставить русскому Императору. Вот если бы поднять русских, живущих в Польше, то Речь Посполитая могла бы поспорить...

— Тсс, тсс, пан Бакунин, такие слова могут не понравиться полиции, а мы, знаете, как-то уже привыкли жить здесь.

Зато во все глаза смотрела на него семнадцатилетняя Антония. От ее молодого, как солнце, лица шла в него та самая сила, которую некогда он черпал у собственных сестер, у сестер Беер, и везде, где удавалось развернуться в красноречии, запустить в себе некий блаженный вихрь, уносивший души его очарованных слушателей в невесть какие просторы. Тогда, соединившись с ними, он становился сильнее, увереннее, в чем-то утвержденнее на этом свете.

Кому пришла идея об уроках французского языка сестрам Квятковским? Матери? Мишель преподавал интересно, много шутил по-французски, даже пел песенки, успехи не замедлили, обе защебетали как птички, а за семейным обедом, который следовал после занятий, урок продолжался еще увлекательнее, он обучал девочек манерам, принятым в его аристократическом кругу. Лишь Франтишеку, «жениху» Антонии с детства, все это не нравилось до возмущения, до сердечного стога.

— Зачем ты так восторженно на него смотришь, Тося! Что он подумает?

— Михаил Александрович умнее тебя в сто раз и ничего плохого подумать не может.

— Ты просто дурочка, Тоська! Он же видит, и все видят, что ты влюбилась в него до горячки, у тебя вот глаза горят, посмотри в зеркало.

— Ну и пусть! Оставь меня в покое. А вдруг это моя судьба?

Михаилу Александровичу шел сорок пятый год. Он был здоров, сердце работало как молот, сильно и точно, но одиночество вновь глодало его. Мысль о женитьбе на молоденькой семнадцатилетней Антонии все чаще посещала его душу, пока не поселилась в ней насовсем. Ах, что за таинственное обаяние исходило от его существа, и как пламенела ответно ее душа! Он видел все, ловец человеков, он наслаждался искрами страсти в темных карих девичьих глазах!

Мой отец женился почти в сорок четыре года и прожил счастливо всю жизнь, — забывался в мечтах обласканный преступник. — Она — девушка чистая, невинная, она просто не поймет поначалу, что у них никогда не может быть детей. Да, это обман. Но пусть. Ведь я так одинок!

Тяжело поскрипывали половицы под его шагами в пустом деревянном домишке. Немало шишек было набито на лбу, прежде чем Мишель научился наклонять голову при входе в двери. Тепло в Сибири берегут пуще всех благ, оттого и притолоки низкие, и пороги высокие. Тишина в доме напоминала тюрьму, лишь тиканье часов да мурлыканье кошки, любительницы мяса и рыбы, скрашивали досуг. Мышей кошка не ела, и если ловила, то для игры, азартной, шумной, страстной игры, с подбрасыванием жертвы чуть не до столешницы, после чего она равнодушно бросала искусанный трупик в любом месте. Кто он, кошка или мышь? Большой Мышь... Нет, чепуха. Мишель вывернется в любых обстоятельствах, пока сама Судьба благоволит ему.

Приходя поутру, Алдын брал замученного мыша за хвост и выбрасывал подальше от дому.

Второе: деньги. Лишенный прав состояния, он служил милостью Муравьева за вполне сносное жалование. Поэтому аре-

стантское пособие в сто четырнадцать рублей двадцать восемь с половиной копеек в год ему не выплачивали. В канцелярии же толку он Мишеля не было никакого, он был рассеян, и только портил документы неряшливым почерком. Ни французский, ни немецкий здесь в дело не шли, а работать писцом Бакунину было не с руки. Его уже не любили на службе. Ох, опять проклятые «гривенники»! А когда уедет Муравьев, что будет с его службой? Как он прокормит жену и себя? Но попробуй-ка поворочайся в одиночестве с боку на бок в проклятой тишине старого дома!

В общем, так или иначе, Михаил Александрович сделал предложение Антонии Квятковской.

Отказ Ксаверия Васильевича был более чем оправдан. Такой брак он не благословит даже под дулом пистолета, такого зятя и на порог не пустит. Они, конечно, люди скромные, но достоинства им не занимать! Как! Лишенный звания дворянина и прав состояния государственный преступник, более чем вдвое старше его дочери предлагает себя в мужья его ласточке, его кровиночке, Антосеньке! Ни за что! Пусть она плачет, девичьи слезы что вешняя вода, зато со временем она поймет, что отец с матерью были правы, и будет благодарна.

Они негодовали, добрые люди, праведно защищая единственное достояние. Но вот в их доме появился блистательный генерал-губернатор Муравьев-Амурский. Он вошел в роли свата, с подарками, с повышением Квятковского по службе, с намеками на дальнейшее продвижение, поскольку теперь он сам будет их родственником! И бесправному чиновнику, во избежания еще больших бед, пришлось уступить. Он благословил дочь и ее избранника.

Написал своей матери и Михаил Бакунин.

«Благословите меня без страха, мое желание вступить в брак да послужит вам новым доказательством моего обращения к источнику, началам положительной жизни и несомненным залогом моей твердой решимости отбросить все, что в прошедшей моей жизни так сильно тревожило и возмущало ваше спокойствие»

Перед женитьбой Бакунин стремительно помолодел. Пятого октября 1858 года в Градо-Томской церкви в церковной книге

Бакунин убавил свой возраст на пять лет. Опять обман, стратегическая хитрость, или Судьба, в самом деле?

На свадьбе было съедено несколько сот пельменей. Шумно не было. Молодежь и гости-поляки боязливо взирали на беззубую громаду жениха и сухощавого, подстриженного под Александра II, могущественного генерала-губернатора Восточной Сибири. Его превосходительство Муравьева-Амурского, стараниями поваров которого стол был украшен фаршированной стерлядью, черной икрой, цветным мороженым и многоярусными тортами.

А под ногами все равно потрескивала скорлупа кедровых орехов.

— Тонька, тебе не страшно? — плакала Юля, младшая сестренка. — Он же старый, он старше мамы.

— Ты дурочка, Юлька! При чем тут возраст, когда любовь!

Старшие помалкивали, им было не по себе, а молодежь, друзья детства, в неуважительном молчании и душевной неловкости поедали редкостные лакомства. Лишь «мальчик-жених» был безутешен.

— Антося, что ты делаешь? Антося! Что ты делаешь? — глядя в одну точку, твердил и твердил Франтишек. — Антося! Опомнись! Не губи себя. Анто-ося!

Сама же Антония влюбилась в жениха, как Дездемона.

— Он герой и стоял за Польшу, — отбивалась она от всех укоров.

В далекий Лондон Александру Герцену ушло игривое письмо друга-молодожена.

«Я жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню, и вам, как и себе, остаюсь неизменно верен.

Уж если кто вздыхает,

Так это я, я, я.

(французская песенка) «

Началась семейная жизнь. Михаил показал себя весьма снисходительным и заботливым мужем. Под сенью губернаторского благоволения жизнь катилась легко, с деньгами трудностей

не было. Наконец, через год-другой с разрешения генерал-губернатора Муравьева Бакунины и Квятковские совершили нелегкое путешествие со всем домашним скарбом за тысячу двести сибирских километров в самую глубь таежной страны, в столицу Восточной Сибири Иркутск. Это было повышением статуса для всех. Квятковский получил прекрасную работу, дети стали учиться у хороших преподавателей, а Михаил Бакунин воспрял духом, обдумывая *далеко бегущие* планы.

... Вокруг шумели благословенные кедры, стеной стояла темнохвойная душистая тайга, раскинулся между зелеными хребтами священный Байкал. Вдоль реки Иркут на юг уходил наезженный путь на Кяхту, столицу азиатской торговли, а от нее расходились пути в Манчжурию, Китай, на Амур, к Тихому океану. Поэтому и жизнь в Иркутске была живее, особенно при новом царе Александре II.

В новое царствование появились в столице городские и крестьянские банки, общества распространения грамотности, коммерческие школы, женская гимназия. Купечество быстрее наживало свои капиталы, началось и слабое общественное движение: во всех слоях были живые умные головы, которые учили, лечили, изучали край, выпускали газеты и журналы.

Здесь отбывали поселение разночинцы Буташевич-Петрашевский, Спешнев, Завалишин. Петрашевский продолжал «воевать за справедливость», отчего столы всех сибирских столоначальников, все местные канцелярии Третьего Отделения были завалены его и Завалишина многостраничными жалобами без абзацев, запятых и точек. Где-то поблизости был Достоевский, восьмилетняя каторга которого закончилась, и он «мотал срок» поселения.

К сожалению, малочисленная интеллигенция, подобно всем мелким столицам и уездным городам, была разделена на две враждующие партии: партия туземная, местная, малообразованная, и партия «навозная», то есть приезжая, из окружения чиновников Муравьева. Сам Муравьев-Амурский, конечно, любил своих людей и много и полезно работал с ними на благо Российской Империи, но к «туземцам» относился с видимым пренебрежением. Это еще больше распяляло страсти между иркутскими Монтекки

и Капулетти. В последнее время, уже при новом царе в «туземной» партии тоже появились люди ученые, с университетским образованием. К сожалению, это не смягчило нравы соперничающих, а, напротив, ужесточило их.

Обе партии ревниво следили, куда примкнет всемирно известный Михаил Бакунин. И кто из них первый? Бакунин или Петрашевский? Кто первый, тот против второго. Вражда и вражда, никакого сотрудничества. Кто, кто?

Самому Михайле Александровичу эти местные стычки казались мелочью. Что ему в них? Новый Париж, новый Дрезден — вот что роилось в львообразной голове старого бунтовщика! Недаром же в письмах к Герцену он восхвалял Муравьева и прочил ему место впереди революционного правительства в Сибири!

Почти в самый канун прибытия Бакуниных и Квятковских в Иркутск в городе произошла трагедия. Дуэль между молодыми людьми из окружения губернатора была подстроена из-за скуки, этого бича обывательской жизни, с нарушением правил, о которых здесь, во глубине «сибирских руд» навряд ли кто «слыхом слышал, видом видал». О них спохватились после, когда один из соперников был убит, и увидели, что получилась не дуэль, но убийство. Случилось это почти накануне долгожданного для генерала отъезда в Санкт-Петербург. Муравьев любил погибшего молодого человека, к тому же это событие сильно омрачило концовку его блестящей службы в Сибири.

Тем временем в библиотеке Шестунова собирались самые злые городские языки во главе с Петрашевским и составляли воззвания к властям и письма, письма... Отсюда в далекий Лондон к Герцену в «Колокол» ушла гневная статья доктора Николая Белоголового «Под суд!» с обвинениями в адрес порядков, введенных генерал-губернатором в его правление. Узнав об этом, Муравьев закрыл библиотеку, выслал Шестунова за Байкал, а Петрашевского в сопровождении жандармов загнал в Енисейскую губернию.

Но было поздно. «Колокол» раззвонил об этом на весь мир. А все знали, что каждый номер этого мятежного журнала внимательно читает сам Император Всея Руси.

Иркутск торжествовал.

Тогда, зная о дружбе Бакунина с Герценом, и полагая, что официального опровержения Герцен не примет, Муравьев попросил племянника написать подобное опровержение с его слов, но будто бы от себя, и послать в Лондон.

И эта статья также появилась с «Колоколе». Отказать Бакунину Герцен не мог.

Генерал-Губернатор успокоился.

— Я тебя вытащу в Россию, вот увидишь, Мишель. Всю жизнь здесь ты жить не будешь. К весне вернешься в свое Прямухино, — пообещал он.

— «Ну, как не порадеть родному человечку?»- рассмеялся Мишель.

И генерал-губернатор Муравьев-Амурский, увенчанный славой, отправился за повышением в Санкт-Петербург, а Бакунин остался один на один с разъяренным городом.

Обещания своего Муравьеву сдержать не удалось. Из списка, поданного им Царю Александру II, удалось помочь Петрашевскому, Спешневу, Завалишину, но не Бакунину.

— При жизни моей Бакунина из Сибири не переведут!

Жизнь становилась все хуже. Способность наживать врагов с годами у Бакунина не убавилась. Еще Тургенев, поживший с ним долгое время, удивлялся, что «Мишель любит изображать из себя сточную канаву». Разве не били его за сплетни, неприличные выдумки, бестактные поступки? Казалось бы, хватит.

Но куда там!

Генерал Болеслав Казимирович Кукель был земляком Квятковских. Встретившись в Иркутске, они стали бывать друг у друга семьями, тем более, что стараниями Муравьева Ксаверий Васильевич занимал теперь весьма солидное положение.

— А помнишь...

— А помнишь...

Присутствовал на встречах и Бакунин, член семьи Ксаверия Васильевича, иной раз заглядывал к генералу и один, поболтать в уютном кабинете. Однако, со временем домашние Кукеля стали прятаться от него, перестали замечать, здороваться с ним и вообще выходить к столу, если в доме присутствовал Бакунин. Генералу это, в конце концов, надоело, он устроил очную ставку и

при всех уличил Мишеля в постыдных немислимых сплетнях о своем семействе.

В довершении бед, после отъезда Муравьева, золотопромышленник, в канцелярии которого Мишель, не работая, получал деньги, взялся требовать эти суммы обратно. Две с половиной тысячи!

— Герцен, помоги!

— Катков, помоги!

— Братя, выручайте!

Братя выручили, заплатили, но не более того. Жить на «пособие арестанта» с женою было невозможно, неприлично.

Весь город, обе партии, ополчились на Бакунина.

Мрачные минуты, быстрые переходы от отчаяния к надежде, к лучезарности по-прежнему сотрясали его дух.

— Не вешай носик, Антося, мы с тобой еще поедим в Италию! Я покажу тебе Рим, Париж, мы будем бродить с тобой по горным тропам Швейцарии. Ах, Антося! Потерпи немного. Я не рожден для спокойствия, я отдыхал поневоле столько лет, мне пора опять за *дело*.

На его счастье, Восточная Сибирь уже получила нового генерала-губернатора — Корсакова. Этот Корсаков тоже оказался его родственником, на его родной сестре был женат брат Бакунина Павел. Он привез известие о Манифесте от 19 февраля 1861 года, которым отменялось крепостное право.

Общественная жизнь забурлила.

В то же самое время автор статьи «Под суд» врач Николай Андреевич Белоголовый поехал в Москву для сдачи докторского экзамена. Сдав его, он отправился в Европу, чтобы повидаться с Герценом и рассказать ему всю правду. Бродя до изнеможения в дремучем для него лесу шумных улиц Лондона, он деликатно дожидался вечернего обеденного времени, когда, по его представлениям, Герцен закончит дневные труды и будет готов выслушать его, ничем не отвлекаясь. Особняк он нашел сразу, и при вечерних огнях позвонил.

— Хозяина нет дома, — ответила прислуга.

Белоголовый стряхнул со шляпы капли дождя.

— Могу ли я обождать его?

— Александра Ивановича нет в Лондоне, он в Париже.

Взяв парижский адрес, Николай Андреевич устремился к пароходу через Ламанш. Утром он позвонил в дверь с красивым бронзовым номером.

Открыл сам Герцен. Вопросительно посмотрел удивительно живыми глубокими глазами, освещающими огнем красивое лицо с высоким, прекрасным лбом. Белоголовый представился.

— Очень рад, входите, прошу вас. К сожалению, у меня мало времени, уже заказаны билеты на пароход в Англию.

— Я только что оттуда, спешил застать вас в Париже, чтобы не разминуться еще раз.

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу быть полезен?

Белоголовый рассказал об Иркутской истории, о туземной и «навозной» партиях и о Бакунине.

— Я прошу у вас разрешение на помещение в «Колоколе» ответа на возражение Бакунина. Он возбудил против себя всю молодежь тем, что с его репутацией примкнул к губернаторской партии. Конечно, узкая провинциальная борьба не могла заинтересовать, — Николай Андреевич осторожно кашлянул, — заинтересовать коновода общечеловеческой революции, с его орлиного полета она казалась ему сплетнями и дрызгами. Или... он рассчитывал на губернаторскую благодарность в дальнейшем.

Он умолк. Герцен поднялся и, засунув руки в карманы широких брюк, прошелся по комнате, морща прекрасный лоб.

— Я верю совершенно, что правда на вашей стороне, а не на стороне ваших противников. Даже помещенное мною против вашей статьи возражение очень неубедительно, на мой взгляд, и далеко не разбивает всех ваших доводов. И самый тон его мне не нравится, но я не мог отказать Бакунину в его опубликовании.

Герцен замолчал и глубоко вздохнул. На лице его вдруг отразились множество оттенков грусти, тайной печали, муки, видимые только врачу, глубокие страдания, которые он перенес и не изжил до сего дня. Гость подумал, что напрасно докучает этому человеку мелкими неприятностями в далеком Иркутске.

— Мало того, что с Бакуниным меня связывает старинная дружба, — продолжал Герцен, — я никогда не могу и даже не должен забывать, что этот человек всю свою жизнь борется за человека. Даже друг мой друг Коссидьер, префект полиции в изгнании, помнящий Бакунина со времен Парижского восстания, говорит мне при встречах, ударяя огромным кулаком своим в молодецкую грудь с силой, с какою вбивают сваи в землю: «Здесь ношу Бакунина, здесь!». И потому не сердитесь на меня. Я вам верю, хотя рассказ ваш заставляет тускнеть образ героя Бакунина. Но вы поймите сами, что печатать сейчас какие-нибудь разоблачения против него, когда он в ссылке и не может ничего сказать в защиту своих поступков, было бы с моей стороны более чем непростительно. Правда мне — мать, но и Бакунин мне — Бакунин.

— Я глубоко понял вас, Александр Иванович, — Белоголовый приподнялся, повернувшись было к двери, но задержался еще на минутку. — Если позволите, дайте совет одному моему другу, который задумывается над эмиграцией.

Герцен покачал головой.

— Я бы не советовал вашему другу принимать такое решение. Эмиграция для русского человека — вещь ужасная, это не жизнь и не смерть, это нечто худшее, чем последнее, какое-то глупое бессловесное прозябание. Я не знаю на свете положения более жалкого, более глупого, бесцельного, чем положение русского эмигранта.

Белоголовый поблагодарил и вышел.

Светлым летним днем в губернаторском особняке сидели в креслах Корсаков и Михаил Бакунин. Они говорили о земельной реформе, о том, как оно чревато крестьянскими недовольствами такое освобождения без земли, потому что сами-то крестьяне повсеместно сочли, что воля, дарованная царем, не настоящая, не «мужицкая», а поддельная, барская, что надо ждать настоящую волю и не подписывать уставные грамоты. «Нас надули, воли без земли не бывает» — был общий говор, отзывавшийся в статьях герценовского «Колокола».

— «В народ!»- кликнул клич Герцен.

Он вместе с Чернышевским очень надеялся на крестьянскую революцию в России. Вот когда в 1863 году истечет срок ввода в действие уставных грамот и крестьяне увидят, сколь тщетны их ожидания подлинной воли, Россия будет охвачена взрывом крестьянского возмущения, которое можно перевести в победоносную революцию. А пока: «В народ!», готовить почву. Сотни людей последовали призыву. Начиналась эпоха «народничества».

— Ты томишься здесь, Мишель? Я наслышан о твоих трудностях. Увы, я присоединяюсь к тем, кто считает, что ты сам наживаешь себе врагов, Но знаю, что Муравьеву ты оказал бесценную услугу. Он сейчас в Париже, и смеется над нами, таежными медведями.

— Он в Париже? — Мишель завистливо ударил правым кулаком в левую ладонь.

— Да.

Они посмотрели в глаза друг другу.

— Я тебя вижу насквозь, — кивнул Корсаков. — Но что я могу?

— Дай мне разрешение вести торговые дела в Американской торговой компании беспрепятственно по всему Амуру, поручение проверить что-нибудь по твоему ведомству...

— Не могу. Ты — государственный преступник. По инструкции тебя и по городу-то повсюду должен сопровождать жандармский офицер. Не говоря уж о столь дальних предприятиях.

Мишель повел мощными плечами. Тюремная дряблость давно сменилась на плотное мускулистое тело, сохранив внушительный борцовский объем.

— Я не могу бездействовать, я рожден для *дела*, — проговорил он. — В России назревают настоящие события, посмотри листки «Земля и воля». И мои собственные братья Николай и Александр, по делу о «13 тверских дворянах», несогласных с манифестом от 19 февраля, сидят в Петропавловской крепости. А я, как байбак, лежу на печи. Еще немного и я не знаю, на что решусь, если буду по прежнему сидеть в Иркутске. Этому вашему

болоту я устрою такое «трясение», что все полетит вверх дном! Я не шучу.

Бакунин был откровенен с родственником. Терять ему было нечего.

Корсаков задумался.

«Да, он может. Такова семейка. С его даром оратора и проповедника ничего не стоит возмутить речами весь край, поднять такую «бучу», как говорят местные, когда напьются своей араки, что всем тошно станет, — думалось ему. — Ишь как жаром-то пышет, что твоя русская печь. И жар, и пот, и глазищи, чистые, как небо, а сколько бешеного пыла! Все может! И все эти партии, ссыльные, поселенцы, политкаторжане, вся эта противуправительственная дерзость и мерзость сочтут за честь поддержать коновода всемирной революции. Все вокруг вспыхнет как порох, как таежный пожар! Это не шутки... Нет уж, батюшко Михайло Александрович, иди-ка ты подальше и сломи свою шею в революционном безумии где-нибудь в другом месте! Так и решим, — подумал Корсаков, успокаиваясь, — и ежели его задумка увенчается успехом, то лично Корсаков будет в ответе весьма-весьма косвенно. Зато перед семьей я и сам стану героем не хуже своего деверя».

— Будь по-твоему, Мишель.

Вздыхнув, он придвинул к себе лист гербовой бумаги с вензелями и титулом Генерала-Губернатора Восточной Сибири. Написал, расписался, поставил печать, присыпал песком для просыхания. Встряхнул, подал Бакунину.

— Этого достаточно.

У Мишеля застучало сердце.

— Когда я могу начинать?

— Хоть завтра. В добрый час.

После него он вызвал Кукеля. Беседа была сверттайной. После нее Кукель вызвал жандармского офицера Казаринова.

— На вас возлагается сопровождение Михаила Бакунина в его деловой поездке до Николаевска. Имейте в виду, что ... а впрочем, все равно. Идите.

В течение недели, пока шли дожди, Бакунин налаживал связи с иркутскими купцами. Все они вели свои дела в Кяхте, по

Амуру, в Манчурии. «Разрешение», выданное губернатором, действовало, как самый доверительный документ. Пользуясь «верной» и бесплатной оказией ему надавали поручений и денег десятки людей, без расписок, «под честное благородное слово».

Накануне отъезда, не удержав хвастливого волнения, Бакунин отправил письмо Герцену в Лондон.

«... Ты хоронил меня, но я воскрес, слава Богу, живой, не мертвый, исполненный той же страстной любовью к свободе, к логике и справедливости. Выпущенный из Шлиссельбургской крепости четыре года назад, я окреп здоровьем, женат, счастлив в семействе, и, несмотря на это, готов удариться в старые грехи, лишь было бы из-за чего. Я могу повторять слова Фауста:

Ih bin zu alt um nur spieler
Zu jung um ohne Wunuh su sein».

Антония провожала его сибирскими шанежками и пирожками, сварила курицу и десяток яиц. Аппетит у ее муженька был богатырский, подстать его росту и физической силе.

— В добрый путь, Мишель. Когда ожидать обратно?

— Тс-с, Антося. Я обещал тебе показать Италию, и ты ее увидишь. Тс-с.

Пятого июля 1861 года Михаил Бакунин с «Разрешением вести дела по реке Амур», с деньгами доверившихся ему «под честное благородное слово» и в сопровождении офицера отбыл из Иркутска по торговым делам.

До Николаевска добрались благополучно. Погода стояла жаркая, по берегам широкой реки Амур медленно плыли гористые берега, сплошь покрытые темнохвойной тайгой. Из воды то и дело выпрыгивала крупная рыба. Навстречу шли американские и японские торговые суда, путь для которых был открыт благодаря «Договору», заключенному Муравьевым-Амурским.

— Из Николаевска еще далеко вам? — интересовался офицер Казаринов.

Ему было душно в мундире столичного иркутского офицера, но не расстегнуть пуговицы кителя, не ослабить ремней, не

даже обмахнуться фуражкой он не имел право в присутствии мелких полицейских чинов из местных приамурских участков. Как и везде, между ними шло ревнивое соперничество.

— Там поблизости будет, — отвечал Бакунин.

— И то. Домой охота.

В Николаевске их ждало необычное событие. Женился жандармский офицер, все население гуляло на свадьбе. Казаринова и Бакунина, разместив в гостинице в двухкомнатном номере, пригласили за свадебный стол.

«Ну, помогай Бог!» — подумал Мишель.

Он успел заметить шхуну, набирающую угля, и перебраться двумя-тремя словами с командой, ладившей снасть в шлюпке близ берега.

— Когда снимаетесь с якоря?

— Поутру, однако.

— Поздно. В два часа ночи нужно.

— В самую темень? Сколько дашь?

— Не обижу.

— Уговор.

— Не подведете?

— Уговор же.

Пока разгоряченные гости топали и кричали «Горько», он быстрым шагом вернулся в гостиницу, схватил вещи и, проходя мимо шлюпки, незаметным броском кинул их туда.

— Два часа осталось, хозяин. Уговор.

— Не обижу. Уговор.

Казаринов вертел головой, отыскивая Бакунина среди гостей.

— Ты далеко ходил? Я ж обеспокоился даже, ну.

— Курил под звездами. Такое, брат, наслаждение! Ты не куришь?

— Терпеть не могу табачного духа.

— Тогда пей вволю. Давай вместе.

В два часа ночи местный ефрейтор из береговой охраны видел, как в темноте в шхуну садился огромный мужчина в сером плаще, и тут же отчалил от берега.

Он было вскинул ружье, чтобы поднять караульную цепь солдат, но подумал, что никакой награды лично он от начальства не дожидается, зато уж наверняка пострадает от побега поднадзорного этого щеголя из столичной иркутской жандармерии.

Стоявший наготове фрегат американца Петерса тихо заскользил по черным волнам вниз по течению.

С рассветом, в четыре часа утра, Казаринов, заплетаясь ногами, вернулся в номер и заснул как убитый. Однако, в шесть он пробудился и окликнул своего подопечного.

— Михаил Александрович! Будем вставать? Или поспим еще?

Ответа не было. Казаринов вскочил, вбежал в соседнюю комнату. Постель была нетронута, вещей Бакунина не было. Не помня себя, он побежал на берег. Местный полицейский ефрейтор с насмешкой посмотрел ему вслед. Застарелая вражда полицейских чинов сработала, как бомба. Столичная иркутская штучка была посрамлена у всех на глазах.

Спасаясь от погони, пересаживаясь с корабля на корабль, Бакунин, не помня себя, уходил все дальше. Спасибо, сердце работало, как часы.

Неужели получится? Уф! Вон нагоняет шхуна. Нет, без конвоя. Уф!

Сначала погоня опаздывала на два часа, потом на три.

В самом устье Амура он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. И не верил, не верил.

— Неужели? Неужели? Получилось! Тьфу-тьфу-тьфу.

В Хакодате другой американский капитан взялся довести его до Японии. Мишель отправился к нему на корабль, и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде. Он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и только, когда гость приехал, узнал, что это — Генеральный русский консул. Скрываться было поздно, опасно, смешно: он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра адмирала Попова стояла в море и собиралась плыть к Николаевску.

— Вы не с нашими ли возвращаетесь? — спросил консул.

— Нет, — ответил государственный преступник, — я только что приехал и хочу посмотреть край.

Вместе покушавши, они разошлись *en bons amis*.

— Рад был познакомиться, — простился Генеральный консул.

На другой день Бакунин проплыл на американском фрегате мимо русской эскадры, «оставив на азиатском берегу свое честное благородное слово» (из статьи Николая Белоголового). Кроме океана опасностей больше не было.

Этот дерзкий побег наделал большого шума во всем мире. Крепче всех досталось, конечно, капитану Казаринову. При горестных раздумиях о каждой минуте своей несчастливой экспедиции с Бакуниным, каждой подробности до последней минуты общения с ним ему вдруг вспомнились слова Кукеля «ну, все равно», не предупредившего его, жандармского офицера, честно заслужившего свои погоны, о том, что Бакунин — опасный государственный преступник. Как можно было так поступить! Да такого человека сторожить надо было в четыре глаза, как положено по уставу, круглосуточно, с оружием, не отпуская ни на шаг! ... а тут — ну, все равно. И множество других подробностей, в том числе и родство Бакунина с губернатором, кинулись в глаза проревшему офицеру.

— Это вы виноваты, Ваше Превосходительство, что он убежал, — не удержался бедный капитан. — Вы сами хотели этого.

— Ты... ты мне за это ответишь, — пригрозил Кукель. — Ты еще пожалеешь о своих словах.

Это оказалась не пустой угрозой. Мало того, что бедный Казаринов был немедленно отставлен от службы, но и все его документы, продвижения, выслуги, все вплоть до военного училища с его журналами и ведомостями — все исчезло, будто не бывало. Не было такого офицера Казаринова в природе, и все тут. Поди докажи.

Разумеется, пространные объяснения на имя Корсакова написали все жандармские чины, эти бумаги в толстой папке были

отправлены курьерской почтой в Санкт-Петербург. Государственная машина вновь закричала, двинулась чуть быстрее и снова пошла по привычному бюрократическому кругу.

Лишь строгий доктор Белоголовый решительно осудил Бакунина, объявив, что его поступок ничем не извиняется, поскольку нарушение всех обязательств не может оправдываться никакими изворотами, в какие бы формы он их не облакал.

— Платить за слепое доверие такую эгоистической неблагодарностью — преступно; оставить бедную молодую женщину на произвол среди искушений, подвергнуть ответственности столько лиц, оказавших ему теплое участие — вряд ли все это вместе даст ему довольно смелости искать встречи с Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским в Париже.

Милый благородный доктор! В его груди билось сердце честного человека. Но где ему было знать, что в мировой политике его времени жестко работали понятия «сила есть право и право есть сила», когда щепки густо устлали собою пространства вокруг срубленных дубов, и что о понятии «нравственности в политике», ценой неустанной работы, созидательной и разрушительной, множества умных и совестливых голов, ценой миллионов человеческих жизней, заговорят всерьез более чем через сто лет, и да то не слишком уверенно.

Глава шестая

Пока Мишель плыл из Японии через Тихий океан на Американский континент в Сан-Франциско, и пока пробирался через тот самый континент с запада на восток к Нью-Йорку, и снова плыл через океан, Атлантический, повсюду встречая друзей то по дрезденскому восстанию, то по учебе в университете, то просто по бродячей жизни в Европе, легко занимая у них деньги с клятвенным обещанием, что Герцен из Лондона все оплатит, и пока летели его письма и телеграммы из всех означенных пунктов, приближая счастливого к заветной встрече со старыми друзьями, которые уже оповестили мир о случившемся и даже подписали договора с издателями о «Мемуарных записках» Михаила Ба-

кунина, которые тот непременно напишет, пока не иссяк интерес к его «самому длинному побегу в мире», и которые могут принести ему, нищему, целое состояние.

Глава седьмая

«Друзья, мне удалось бежать... После долгого странствия оказался я в Сан-Франциско. Всем существом стремлюсь к вам, и лишь приеду, примусь за дело, буду служить у вас по польско-славянскому вопросу. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом, а за ним явится славная, вольная Славянская Федерация...»

Получив послание в ноябре 1861 года Герцен тут же оповестил всех, кому эта весть была интересна.

... Мой дорогой господин Прудон! На этот раз берусь за перо, чтобы сообщить Вам превосходную новость. Наш друг Михаил Бакунин бежал, наконец, из Сибири. Он проделал путь по Маньчжурии, пересек Японию и отправил мне письмо из Сан-Франциско 15 октября. Он жив и здоров, и прибудет в Лондон к 1 января. Я хотел доставить себе удовольствие известить Вас об этом немедленно.

... Итак, милейший Рейхель, вот вам поклон и поцелуй от Бакунина — я получил от него письмо из Калифорнии от 15 октября. Он посылает вам дружеский привет. Это Амур его спас.

... от 15 октября. Не правда ли, милейший Тхоржецкий, что человек, положивший начало в 1847 году объединению независимых русских с польскими патриотами, этот человек, приговоренный к казни королем Саксонским, выданный им Австрии и Австрией — Николаю, погребенный с 1849 года в казематах Шлиссельбурга, в пустынях Сибири, этот человек, затерянный, безвестный, мертвый человек — Михаил Бакунин — является свободный, живой, исполненный сил, с другого берега Тихого океана, приветствуя зарю польской независимости и русской свободы.

Написав еще с десяток подобных писем, Александр Иванович отложил перо. Они сидели в его кабинете вдвоем с Огаревым над свежим оттиском одной из статьи для «Колокола».

— А что ты на это скажешь, Ник? Каков-то он сейчас, наш беспокойный соотечественник? По-прежнему ли с минуту на минуту ждет революцию, чтобы все опрокинуть вверх дном? — Герцен вздохнул и просто, по-домашнему посмотрел на друга, опершись локтями на колени. Он был уже седоват, полноват, страдал диабетом и печенью, но духом был весел и силен. — Между нами говоря, я опасаясь его приезда. Как бы он не разрушил ту хрупкую удачу, что сопутствует нашей типографии и не помешал бы «Колоколу».

Огарев со вздохом покивал головой.

— Он ведь не будет жить в этом доме?

— Нет, разумеется. Но где-то поблизости. Тургенев написал, что готов платить ему 1500 рублей серебром в год. Я считаю, что русские должны ему собирать на самое необходимое, например, 3500 франков в год. Ну и будем их собирать. Да твои 500 франков. Заглаза довольно. Надо дать знать братьям Бакуниным, чтобы выслали деньги в Лондон или Париж на имя И.С. Тургенева. Но если Иван хочет заплатить за полстолетие вперед, то этого будет мало — ни вперед, ни назад платить не надобно, а в настоящее. Пока я в Лондоне, я берусь выдавать ему по 10 liv в месяц. Пусть все партии вышлют по такой же сумме, нельзя же мне на все разрываться одному.

— Боткин тоже.

— Да. Пусть знают, что они любят послать, а я люблю получить. А то все один я оплачиваю, как король. Но главное, пусть тут же садится за «Автобиографию», предложения сыплются со всех сторон, тут пахнет нешуточными капиталами. Два смертных приговора, семь лет царской тюрьмы, побег из Сибири, да какой! — ни одному Вальтеру Скотту не снились такие приключения! Надобно сразу усадить его за письменный стол. Обеспечить себя в этом мире непросто, но это залог личной свободы и порядочной работы.

... А вот и наш герой, прямо с парохода. Огромный, толстый, беззубый, но по прежнему ясноглазый и звонкий, как серебряная гора.

— С Новым Годом! С приездом! С благополучным возвращением в мир действующих и думающих!

— Как положение? — был его первый вопрос после объятий и поцелуев.

— В Польше только демонстрации.

— А в Италии?

— Тихо.

— А в Австрии?

— Тихо.

— Ну, а в Турции?!

— Везде тихо, и ничего даже не предвидится.

Великан Бакунин растерялся

— Что же мне делать? Неужели ехать куда-нибудь в Персию и там подымать дело? Без дела я сидеть не могу. А Славянская федерация? А революция в России?

— Какая революция?

— Как это какая? Вот тебе и раз! Крестьян освободили без земли, они думают, что есть другая воля, но господа ее прячут. Вы, «Колокол», должны все знать! Вы позвали интеллигенцию «В народ!» Вот в 1863 году, когда истечет срок «временно-обязанных», она и начнется, крестьянская революция. Бунт!! Бессмысленный и беспощадный.

Герцен внимательно смотрел на него. Мишель рассмеялся.

— Что смотришь, как на воскресшего из мертвых? Я ли был худо похоронен? И вот я здесь, среди вас, и не отказался бы закусить, между прочим!

— Накрытый стол ждет тебя, Мишель. Потом пойдешь отдыхать. Для тебя мы сняли милую квартиру в ста метрах от нашего дома. Вели отнести туда твой багаж.

— Мой... что? Багаж?! — расхохотался Бакунин, разводя толстыми руками. — Все мое ношу с собой.

— Тогда за стол.

За обедом собралось человек двенадцать. Совсем взрослый молодой человек Саша Герцен, студент университета в Лозанне,

внимательно смотрел на легендарного Бакунина, которому его отец посвятил благородно-возвышенные строки в первых же номерах своих изданий. Были другие дети, Тата, Оля и малышка Лиза Огарева, девочка с огромными чистыми голубыми глазами. Был сам Огарев, его жена Наталья, и человек семь гостей, среди которых выделялся подвижный и нервный Сергей Кельсиев. Он был из «некрасовцев», христианской несогласной общины, ушедшей в Турцию, обладал беспокойным и переменчивым характером, брался за тысячу дел, жил между удачами и неудачами. Он слушал Бакунина с неистовым интересом, но был критичен и вьедлив. Гигантский аппетит Бакунина, его пот и громкий звонкий голос раздражали его.

Конечно, разговором свободно и властительно занимал собравшихся Бакунин. Речь его, слегка шепелявая от отсутствия передних зубов, текла завлекательно и вольно, картины из пережитого впечатляюще вставали перед слушателями.

— Немедленно садись за «Мемуары», Мишель. Мы сами их распечатаем, переведем на все языки. Брось все и пиши.

— Да, да, Герцен, ты прав. Надо работать! Но я привык писать на злобу дня, о себе писать противно. Уфф... наконец-то труд обеда окончен и настала воистину божественная минута!

Он достал огромную трубку и задымил, как пароход.

— На террасу, на террасу, — увлек его Герцен в дверь, открытую на свежий январский новогодний денек, похожий на русский март. — Как тебе наши морозы, сибиряк?

С первых же дней Бакунин развил бешеную деятельность. Письма, гонцы, приезжие, командировки его «бойцов» в разные части света, статьи в «Колоколе», в немецких, французских, славянских изданиях замелькали по всей Европе, заполняли все его внимание время. Сербы, хорваты, поляки толпились у него во все сутки, и когда горничная с застывшей бессонницей в глазах убирала пятую за ночь пепельницу, и приносила десятки стаканов чая и груду сахара, это считалось обычным делом. По пятнадцать-двадцать писем, целые тетради, словно в юности, писал он за один день.

Ушло письмо и жене в далекий Иркутск.

«Мой милый неоценимый друг! Я жду тебя, Антони. Не задумывайся, друг, не медли. Мы скоро, пожалуй, еще в сентябре, будем вместе. Я буду счастлив. Сердце мое по тебе умерло. Я днем и ночью вижу только тебя. Лишь только ты приедешь, мы с тобой поедem в Италию».

В других своих посланиях он требовал решительных действий, готовый сам встать впереди всех, и словно в юности, кричал, бранился, хохотал, шутил, был обаятелен и непереносим, мудрый, наивный, прозорливый и простодушный.

— Ах, Александр Иванович, — вздохнул один из гостей Герцена, когда кто-то пожаловался на непоследовательность Мишеля, — что же вы хотите? Это же «большая Лиза».

«Большая Лиза». Прозвище приросло к Бакунину.

— Скажи, Мишель, не осталось ли у тебя связей в России, чтобы вернее наладить там нашу пропаганду? — спросил однажды Огарев.

— Только жена. Я жду ее приезда. Вы все должны мне помогать в этом, тот, кто этому противен, будет врагом моим навеки! — глаза его бешено сверкнули.

— Ты хочешь, чтобы она приехала сюда сейчас? Это безумие. Ты сам еще не укрепился! Кто должен хлопотать о деньгах, о паспорте, визе?

— Тогда я ее выкраду! Родная любовь! Выкраду, выкраду! Ты понимаешь ли, Огарев, что такое любовь?

Как ни удивительно, но Антония Бакунина уже начала путь в Европу. Детская уверенность Мишеля в том, что жизнь есть нечто само собой разумеющееся, и вовсе не дается трудом рук своих, которую подметил в нем еще Руге, раз за разом, «по возможности», оправдывала себя в его судьбе! Земляк Антонии генерал Кукель выправил ей все бумаги и заплатил из казны долги ее мужа, те самые, что тот набрал, чтобы добежать до самого Лондона. Что поднялось тогда в Иркутске! Едва разнеслась весть о побеге, обманутые купцы, словно волки, набросились на молодую женщину, и генерал счел своим долгом вступить. Но путь был слишком неблизок, впереди лежали обе столицы и Прямухино.

Зато приближался 1863 год.

— Что нам делать без связей с Россией? Может быть, попробовать через священников? Они люди умные, осторожные, — настаивал Огарев.

Герцен согласился с ним без воодушевления. Он помнил этих людей и их отстраненность от мирского богопротивного дела.

— Мишель! — обратился он. — Здесь в Лондоне остановилось подворье архипастыря о. Пафнутия Коломенского. Сходи, поговори остороженько. Возможно ли нашим людям останавливаться в гостинице подворья? Это было бы весьма скрытно и безопасно. Так же поговори о Кельсиеве, ему надобно архипастырское слово.

— И в самом деле, схожу с интересом, — согласился Бакунин.

Они поехали. Кельсиев остался за воротами, чтобы быть наготове, когда позовут. Перекрестившись на изображение креста над воротами, Мишель, нагнувшись, шагнул во двор и вдруг в одном из попов узнал отца Олимия, старого знакомого еще по Пражскому восстанию. Он еще хотел употребить его тогда в дело, да руки не дошли. Ему бы промолчать в интересах своей миссии, проявить дальновидность и такт, но Мишель громко окликнул его и чуть не схватил за подрясник.

— Отец Олимий! Помнишь ли Прагу? Что же ты дремлешь? Пора за дело! — громовых голосом закричал он.

Этим он сразу насторожил тихих служителей подворья. Его повели по лестнице в строгие покои о. Пафнутия. Тяжело подымаясь по ступенькам, Бакунин вдруг запел густым басом:

— Во Иордане крещаюся тебе, Господи, ... — и с хохотом переступил через порог к о. Пафнутию.

Бесцеремонное пение священной песни было воспринято иноками как наглое кощунство. Но Бакунин не замечал ничего, видя только одного себя в этом новом для него окружении, всегда бывшем предметом его насмешек, и в эту минуту он, по обыкновению, считал именно себя интересным для всех них. «Если бог есть, значит, я — раб». А потому никакого уважения к служителям религиозного культа!

В начале разговора он попросил разрешения курить в присутствии священнослужителя, чтобы не выходить в другую комнату, и получил его,

— Ну, значит, благословил, благословил, Владыко, — развязно рассмеялся он.

И получил холодную отповедь.

— Иное дело терпеть непозволительный обычай, смотреть снисходительно, так как не находить в нем ереси, и другое дело — благословить...

В результате такого общения о. Пафнутий уклонился и от устройства приезжающих в гостиницу подворья, и от свидания с Кельсиевым. А вскоре издал архипастырское послание: «удаляться и бегати от злокозненных безбожников, гнездящихся в Лондоне».

Кельсиев молчал всю обратную дорогу. Он все слышал. Оставшись с Герценом один на один, он, наконец, горячо и резко высказал все, что понял об этом человеке, «революционере с мировым именем»

— Он все загубил своей неуважительной бабьей болтовней! Разве вы не видите, Александр Иванович, что это всего лишь тупой бунтовщик, с пустотой и непониманием вопросов. Все идеи его взяты напрокат, у первого встречного, он поет со всех голосов!

— Не совсем же так, дорогой Сережа.

— Да это мешок, в который что не положишь, то и несет, только б не мешали ему рисоваться, да и не отнимали возможности составлять бог знает с кем и бог знает для чего разные тайные общества! «Я, говорит, опытный революционер, меня учить нечего!»- ну и, разумеется, махнешь рукой, потому что, действительно, учить-то нечему. Не доверяйте ему больших дел, Александр Иванович, пусть его руководит тайными обществами, разбалтывает их тайны, что за ним также водится. Поверьте, Александр Иванович, не к добру он здесь, помяните мое слово.

— А ты сам далеко ли собрался?

— Поеду к своим, на юг, к «некрасовцам». Прощайте, Александр Иванович! Спасибо за ласку.

— В добрый час.

«Бакунин, Бакунин» — качнул головой Герцен. Опасения его начинали сбываться. Деятельность старого друга казалась ему пустой тратой сил и средств. Суета вместо работы захватила Мишеля. «Мемуары» он так и не написал, «отяжелемши», хотя предложения сыпались со всех сторон. А деньги его фонда таяли.

— Если бы во Франции было триста Бакуниных, ею невозможно было бы управлять, — вспомнились Герцену слова Косидьера. — Попробуй — ка управься с одним Бакуниным!

Но статьи, прекрасные статьи Бакунина, обращения к армии, к молодежи, широко печатались и в «Колоколе», и отдельными брошюрами, каждая их которых расходилась среди читающей России, каждая разила правительство не в бровь, а в глаз. Ни одно произведение самого Герцена не несло в себе столь разрушительной силы.

Страшный дар — глубины человеческого духа!

— Я предлагаю тебе прогулку по дальним окрестностям, Мишель, — сказал как-то Герцен. — Коляска готова. Поедем, развеемся, не одни же *дела* на свете.

— Охотно, охотно.

Но и на кожаном сидении осевшей под его тяжестью рессорной коляски Бакунин продолжал «ждать революцию».

Год 1863 приближался.

— Да почему ты считаешь его губительным для самодержавия, Мишель?

— Потому, что царизм сам губит себя подавлением, а не поощрением русской жизни. Александр Второй мог бы легко освободить народ, сделаться первым русским земским Царем-Освободителем. Созвать всенародный Земской собор! Да он ведь он не пойдет на это!

— Не пойдет.

— Значит, поднимется все крестьянство. Значит, бунт! И мы должны быть готовы на это. Мы должны встать во главе его, потому что меньшинство образованного класса — это жалкие изменники, оторвавшиеся от почвы.

— Уверяю тебя и предлагаю какое угодно пари, что царь ничего не созовет — и 1863 год пройдет преувеличенно тихо.

Они уже шли по аллеям прекрасного английского парка, одного из великолепнейших, принадлежавшего старинному замку, в котором жила одинокая старуха-барыня. Со времен Елизаветы не притрагивалась к нему рука человеческая; тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократически-монастырском удалении от мира. Было так тихо, что лани гурьбой перебегали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявши мордочку. Нигде не раздавалось ни звука.

— Смотри-ка, — Мишель потянулся огромным телом и закинул голову вверх, — словно у нас в Прямухино. Так бы лег где-нибудь под дерево и представил себя лет в двенадцать. Я мальчишкой часто убегал из дома, ночевал в лесу, в поле, на берегу в кустах-лопухах. Сначала бранили меня, потом привыкли.

— Или у нас в Васильевском, — мечтательно согласился Герцен, — Да... На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют, чем горы и море.

Некоторое время они шли молча, дыша воздухом тенистых аллей. Этот парк был недалеко от их дома, но Герцен привез сюда Мишеля, чтобы тот хоть немного опомнился от подготовки нелепого восстания в России через войну с Польшей.

Они шли медленно, два немолодых русских, оба на чужбине. Герцен был уже не столь изыскан, как в давние дни сороковых годов, когда была жива Натали, единственная женщина, которую он любил; сейчас, в конце лета 1862 года ему стукнуло пятьдесят лет, широкая залысина далеко отступила от его лба, борода и усы подстригались не слишком тщательно, были тронуты сединой, но глаза по-прежнему светились умом и добродушной лаской. Его собеседник был одет в огромного размера костюм-блузу, на львообразной голове его с широкими калмыцкими скулами живописно вились серебристые легкие кудри, также далеко открывая высокий лоб.

— Странная мысль пришла мне в голову, Мишель, — медленно говорил Александр Михайлович, помахивая тросточкой. — Заметил ли ты, что только в России можно встретить привилегированное общество и дворянство, которое стремится к револю-

ции, не имеющее другой цели, как уничтожение их собственных привилегий?

Бакунин согласно наклонил львиную голову, и промолчал.

— А вспомни нас, юных, пылких! Станкевич, Белинский, ты, ваш круг...

— И ваш с Ником, — усмехнулся Бакунин. — Сейчас бы все сравнялись возрастом.

— Пожалуй. Россия будущего, согласишься, существовала тогда исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, несмотря на все их притязания, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землю. А в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и родной Руси.

— Эти мальчики не ведали, что декабристы наши желали кое-каких свершений, с чем мы в юные годы ни за что бы не согласились, — усмехнулся Бакунин. — Я первый презрел их и по-мальчишески поддержал Пушкина в его «Клеветникам России». Я говорю о независимости Польши.

— Да, у тебя прекрасная память, Мишель. Если вспомнить Южное Общество, то оно и в самом деле почему-то хотело независимости Польше. Подумай! В то время как польская шляхта была поглощена лишь мыслью о восстановлении былого польского королевства, русские революционеры, наоборот, стремились разрушить именно свою Империю. Факт неслыханный!

Искоса взглянув на собеседник сверху вниз, Бакунин усмехнулся.

— И были правы. В России, созданной Петром Великим, все естественное извращено, все живое пожертвовано в пользу внешней государственной жизни. Русский народ носит на своих могучих плечах неуклюжую, наскоро сколоченную бюрократией Империю. После распада Империю останется Русский народ. Если отнять у России Польшу, Литву, Белоруссию и Малороссию, Финляндию, Остзейские губернии, Грузию и Кавказ — останется именно то великорусское племя, которое готово к своей исторической жизни. Мало того, что русский народ несет на сво-

их плечах каменный груз петровской бюрократии, он еще и кормит иноплеменных нахлебников, имя которым легион.

— Ядовитые мысли, — сухо вато заметил Герцен. — Я не приемлю полное распадение великой страны.

— Ты не желаешь, а вот мы пропитаем ими сначала горячую русскую молодежь, потом народ и все устои империи. Увидишь, что начнется! — лицо Бакунина стало страшно. — Революционер должен носить черта в теле и всаживать его в тело народа! Надо более бед и потрясений, чтобы добраться до накопившейся в народе ненависти. Вот где горючее для взрыва!

Герцен покосился на спутника и промолчал.

Отговорить Бакунина от его затеи не удалось. Уже осенью стал формироваться русский легион во взрывоопасной обстановке Польши, чтобы начать войну с Россией под командованием Бакунина. Главное начать, и там, в мутной водичке, можно повернуть штыки куда угодно! Уже в глубокой тайне закупалось оружие в Англии и фрахтовался пароход. Да разве возможно такую экспедицию содержать в тайне! Русское правительство через своих людей внимательно наблюдало за операциями с самого начала.

Наконец, в феврале 1863 года пароход «Ward jackson», полный оружия и поляков, отправился в путь по Северному морю. Бакунин встречал его в Стокгольме, собирая в Швеции средства для русского легиона, чтобы отправиться морем на помощь восставшей Варшаве.

Швеция встречала его как героя. Впервые Бакунин был неотразим в ореоле мученика, в его честь давались банкеты, и он говорил, говорил, за столом и на площадях, он был даже представлен брату короля. Русский великан-аристократ с двумя смертными приговорами, тюрьмой и побегом из Сибири за плечами встал в глазах обывателей персонажем из волшебной сказки.

— Мы, — кричал он голосом, подстать его росту и физической силе, — мы самые верные, самые горячие и самые преданные слуги царя, если он станет во главе реформ. Земской собор, избранный народом без различия сословий — вот наше требование!...

И подобно Ивану Александровичу Хлестакову, покачиваясь с бокалом в руке, и вспомнив, должно быть, старого друга Прудона, он произнес под восторженную овацию.

— В моей жизни нет поступка, за который мне бы пришлось краснеть!

Газеты разнесли его речь по Европе. Попала она и в Третье Отделение. И тогда в чьей-то умной ехидной голове мелькнула идея напечатать брошюрой «Исповедь» Бакунина, писанную в Петропавловской крепости на монаршьё имя. «Михаил Бакунин, сам себя изображающий» назывался этот памфлет, с приложениями клятвенных обещаний и нижайших просьб из крепости и Сибири. Это был бы конец легенды, позор на всю жизнь, но Бакунину вновь везет «по возможности». Подписанная и одобренная начальством, рукопись, тем не менее, ложится в стол. Третье Отделение не желает выставлять себя в смешном виде, мало ли как кто подумает?!

В отсутствие Бакунина на адрес Герцена пришло письмо, писанное шифрами. Враг всех конспирато-блудий, Герцен отложил его было в сторону, но Тхоржевский, случившийся тут же, сказал, что у него где-то есть бакунинская книга с «ключами».

— Тогда неси, посмотрим, что там можно начертать?

Тот принес. Герцен с Огаревым обомлели. Они листали ее и не могли опомниться.

— Смотри, Ник, да здесь в одной книжке записаны адреса всех порядочных людей в России, с отметками и подробностями. Это же беда!

— И эта тетрадь ходит по рукам! Чему ж дивиться, что все и всё знают заранее!

— И что наши лучшие люди попадают в Третье Отделение! Вот и этом письме, заполненным этим дурацким «шифром» упомянут Налбандов и Воронов, честнейшие люди! Это означает, что над ними уже нависла опасность, ее уже не упредишь!

Герцен был прав в своих выводах и предчувствиях. Морская «военная» экспедиция оказалась комедией с кровью, окончилась трагически, даже не начавшись. Ни один шведский порт не принял судно с оружием. Все всё знали и не захотели ссориться с Россией. На море разразилась буря. В переполненной лодке при

перегрузке с парохода оказалась течь. Лодка затонула. В ледяной воде погибли люди. Вся многошумная деятельность лопнула как мыльный пузырь.

Бакунин поспешил было в Лондон под крылышко Герцена, но Александр Иванович был слишком рассержен. Не в последнюю очередь его потрясло письмо Мишеля, написанное тем во время обеда под горячую руку из Швеции, «между супом и рыбою», в котором он во всем случившемся обвинил Сашу, сына Герцена, также бывшего в Швеции, да в таких выражениях, каких Герцен вообще не читывал!

Тем не менее, вернувшись, Бакунин поднял грандиозный скандал!

— Вы, — кричал он, — вы видели, что не будет удачи, что пароход не впустят ни в один порт и молчали. Вы послали меня в Стокгольм, мне пятьдесят лет, я вам не мальчишка на побегушках! Вы знали, что польское дело было устроено плохо, но что я всегда в первых рядах, и видели, и не остановили! Никто даже слова не сказал. Я бы опомнился! Не дурак же...

— Ты велик ростом, ругаешься, шумишь — вот почему тебе в глаза никто и не говорит. Ты упрекаешь, что и мы видели и не остановили. Ты, брат, стихия, лава, солону ломишь, как тебя остановить? Польское дело — не наше дело, и ты себя доконал им.

— То, что случилось, ужасная трагедия, людей уже не вернешь, Мишель, — тихо сказал Огарев. — Над ними склоняют головы и воздают почести павшим. Мир их именам. Неудачи, увы, бывают. Но нас ужаснули даже не обвинения Саши, и пустота, ненужность и призрачность всех твоих переговоров, сближений, отдалений, объяснений. Мастерски составленные тобой характеристики идут в любой роман, это было бы хорошо, если бы ты имел художественную цель...

— ... но ты воображаешь, что это «дело»! — Герцен поднялся и стал ходить по кабинету. — Я скажу тебе сейчас в глаза все, что никто, кроме нас, не говорил и не скажет тебе. Это будет неприятно, но приготовься. Мы обязаны это сделать.

Злой и настороженный, Бакунин величественно прислонился к косяку двери, открытой на террасу, и закурил.

— Правду от друзей я готов принять любую и всегда.

— Тогда слушай, Мишель, наши заключения.

Герцен помолчал, нахмурился и вздохнул.

— Мы тебя знаем уже двадцать лет. Оторванный от жизни, брошенный с молодых лет в немецкий идеализм, из которого время сделало видимость реалистического воззрения, не зная России ни до тюрьмы, ни после Сибири, но полный широких и страстных влечений к благородной деятельности, ты прожил до пятидесяти лет в мире призраков, студенческой распашки, великих стремлений и мелких недостатков. Не ты работал на прусского короля, а саксонский король и Николай — для тебя. После десятилетнего заключения ты явился тем же — теоретиком со всей неопределенностью, болтуном, неряшливым в финансах, с долею тихенького, но упорного эпикуреизма и с чесоткой революционной деятельности, которой не достает революции. Болтовней ты погубил не одного Налбандова и Воронова.

— Кроме того, Мишель, — вступил Огарев, — Ты хочешь, чтобы все было сейчас, поскорей, производишь суматоху, всех срываешь в невесть какую тревогу. Надо либо «дело» делать, либо спокойненько ничего не делать. Твои шумы и метания наделали слишком много ошибок. Ты во главе зла, Мишель, это ужасно, но ты во главе зла.

Бакунин не произнес ни слова. Ненависть вскипала и опадала в нем, он шумно дышал, но молчал, набычившись, наклонив тяжелую голову.

Герцен перевел дух и перешел к заключению, к тому, о чем они давно решили с Огаревым.

— Жаль, что ты не написал «Мемуаров», Мишель. Они принесли бы тебе состояние, и всем было бы легче. Но для тебя это не «дело»!

— А для кого написал бы я их? Сейчас все народы потеряли инстинкт революции, — огрызнулся Бакунин. — Они слишком довольны своим положением, боязнь потерять то, что они имеют, делают их смиренными и пассивными. Я бы хотел написать этику, основанную на принципах коллективизма, без философских и религиозных фраз.

Все помолчали.

— В общем, Мишель, мы должны тебе сказать... Живи, как знаешь. И попросили бы тебя уехать в Париж. Кое-какой пенсион ты еще будешь там иметь из фонда, но деньги почти ушли, ты бросался ими без всякого учета, словно пустыми бумажками.

Бакунин удивленно посмотрел на обоих проникновенными чистыми голубыми глазами и дурашливо помотал головой.

— Опять я круглый дурак перед вами. Простите меня, друзья. Я высоко ставлю вас над собою. Зачем мне уезжать в Париж?

Но Александр Иванович был неумолим. Поднадоел им Бакунин своей шумной бестолковщиной и сплетнями, которыми никогда не гнушался ни на чей счет, но удивлялся, когда на него обижались.

На него обиделись.

Потому что для сплетен и вкусных слушков, кои он так обожал, пищи было хоть отбавляй. Отношения в лондонском доме, при всей благородной и преданной совместной работе двух старых друзей, были сложны и покрыты душевными рубцами. К приезду Огарева с женой в 1856 году в Лондон Александр Герцен, мужчина в расцвете лет, вдовел уже пятый год. «Ищите женщину! — вздохнули бы французы, увидев грустные глаза поэта Огарева менее чем через год их жизни в особняке. Да, все верно. Маленькая Лиза Огарева, родившаяся через два года, была дочерью Герцена.

— Алексанр Иуваноувич, — с английским акцентом называла отца маленькая голубоглазая Лиза.

Потом один за другим родились еще два младенца, умершие тотчас после рождения. Каково все это! Правда, и у Николая Огарева тоже появилась было местная гражданская жена Мери, но для тончайшей натуры поэта все это было не в подъем. Тяжко, гнетно. И, по русскому обыкновению, он потихонечку лечил свою душу маленькими горькими рюмочками, одну за другой. И постепенно из поэта Николая Огарева превращался в добряка Агу, любившего и прощавшего всех ближних своих.

Дела Герцена с «Колоколом» тоже пошли на спад. Авторитет самого издателя был высок, как никогда, но давние опасения от приезда Бакунина сбылись, будто в плохом сне. Издав чужие «польские» звуки, предмет бакунинских увлечений, «Колокол»

неприятно удивил своих поклонников и стал неуклонно терять подписчиков.

Тяжела рука михайлова.

Бакунин уехал. Теперь областью его интересов стала Италия и весь юг Европы, народы которых нравились ему темпераментом и склонностью к уличным вспышкам и потасовкам. Здесь «его бешеная энергия и дикий взгляд» оказались как раз впору, здесь дела его пошли в гору.

К тому же приехала Антония. Одним добрым утром она очутилась по ошибке в Париже у Ивана Тургенева. Он, не зная адреса ее сбежавшего из Лондона супруга, пристроил ее куда-то на короткое время, но вскоре получил от Бакунина громовую телеграмму:

— Жена-то моя!

Супруги встретились в итальянской Швейцарии. С самыми радужными надеждами вошла молодая женщина в свою новую жизнь. Увидела тесноту и многолюдие, горы табака на подобие фуражу на столе, грязные стаканы под столом, убогость, бедность и считанные монетки в кармане, все поняла и беспомощно оглянулась по сторонам.

Итальянский адвокат Карло Гамбуцци стал ее утешителем. От него родились трое ее детей. Сам Бакунин детей не имел и иметь не мог. Со стороны казалось, что к молодой жене он относился как к дочери, к детишкам как к внучатам, или любовался ею с теплым сердцем, как любят на очаровательную домашнюю кошечку с ее милыми котятами, к которым не имеют никакого отношения. Во всяком случае, никаких ссор с милой Антоной никогда замечено не было.

Вот ведь как сумел вывернуться, в отличие от Огарева, Бакунин в точно таком же «треугольнике», и даже «приобрел», не теряя лица, благодушия и благоразумия. «Воплощенная мощь духа» несла его вперед, над мелочами и неприятностями быта. Идея панславизма была оставлена. Подымающаяся сила европейского пролетариата обратила на себя его внимание.

Анархия, безгосударственность, полная свобода личности — провозгласил он на своих знаменах. Прудона, властителя анархизма в глазах Европы, Мишель считал своим учеником и со

смехом отмечал свои идеи в его сочинениях. Сам он писал почти непрерывно, голова работала словно вулкан, извергавший хулу и проклятия существующему миропорядку. Опасные и прекрасные статьи его, воззвания к русской армии, молодежи, студенчеству словно выстреливались из-под его пера. Это было посильнее самого Герцена с его устаревающим «Колоколом». Можно представить досаду царя Александра Второго! Бакунина печатали на всех языках. Имя его становится известным. А как он умел убеждать, кричать, увлекать, писать письма десятками в день и сутками общаться со своими «бойцами» — это известно. Бакунин помолодел, он вновь попал «в свою природу». Развод с Герценом пошел на пользу. По всей Италии, Испании, Греции стала расползаться сеть его тайных обществ и тайных организаций, которые Бакунин пестовал, как росточки, и которые, объединившись, в один прекрасный день, сделали бы взрывной переворот в Европе! Вот шуму-то было бы!

Из каких порывов, из каких раскаленных глубин воображения черпал он свои видения? Не став ничьим последователем, он выбрал путь отрицания теории вообще, ему грезился стихийный и полный переворот всего миропорядка. Разумеется, его следовало готовить. Отсюда и возникали Международные тайные общества освобождения человека. «Свобода, равенство, братство» — ах, как знакомы эти слова любому европейцу! А вот и новенькое, свеженькое, все из вулканизирующего умственного потока неутомного Бакунина.

«Уничтожение служения божеству. Свобода есть абсолютное право. Исключение принципа авторитета и государства. Государство — это канцелярия для нужд народа. Национальная независимость есть национальное право. Отмена всех прав наследования. Создание фонда общественного воспитания. Трудовые армии. Создание Соединенных Штатов Европы. Работать, чтобы жить! Свободный брак. Изолированная революция отдельного народа была бы безумием. Если вы услышите, что говорят от имени народа: «Он хочет,» будьте уверены, что за этими словами стоит узурпатор: человек или партия».

Вот и «Шкала счастья», предел мечтаний лично Михаила Александровича, составленная его рукой.

1. смерть за свободу.
2. любовь и дружба.
3. наука и искусство.
4. курение.
5. выпивка.
6. еда.
7. сон.

Бакунин во всеуслышание, на всю Европу, запил свой анархистский запой, и оказался в нем столь заразителен и привлекателен, что Карл Маркс, обеспокоенный разрастанием тайных бакунинских организаций как раз там, где у Интернационала не было своих секций, посетил его впервые после шестнадцати лет.

Они встретились в теплом ноябре на севере Италии, два служителя бродячего Призрака, который по-прежнему не находил себе пристанища. В открытом кафе с видом на синее-синее Средиземное море, с его дальними судами, лодками, теплым ветром, дышавшим по временам запахом рыбы от ближнего рынка, им удалось поговорить, почти не переходя грань ругани и старых распрей.

Оба они давно вступили во вторую половину жизни, и прожили свое в борьбе и глубоких душевных невзгодах. У Маркса умерли три маленьких сына, зато прекрасно росли умненькие красавицы-дочери. Пышная растительность на его лице и голове побилась сединою, но в глазах по-прежнему светился ум и непрекаемая властность. Однако, с Бакуниным он был серьезен и мягок: слишком силен был соперник.

— Почему ты разошелся с Герценом? — спросил Маркс.

Мишель вздохнул.

— Да, действительно, между нами не существует уже никакого союза. Одно лишь старинное человеческое знакомство да кое-какие статьи для его типографии. Я поставил первым условием освобождение, то есть экономическое, социальное и политическое, — русских и не-русских народов, заключенных в пределах русской империи, радикальным уничтожением этого царства. Герцену это показалось чересчур сильно, и мы расстались.

Маркс смотрел на собеседника. Огромный, с серебристой копной вьющихся волос над высоким лбом, беззубый, он излучал настолько явственное обаяние «народного вождя», что становились понятными его разительные успехи среди простого люда.

— Но ты же понимаешь, что тайные общества — это не тактика, это игра и детство. Революция — это железное сплочение, дисциплина и диктатура пролетариата.

— Ха! — хмыкнул Бакунин и мягкими голубыми глазами словно облил насмешкой своего визави. — Если пролетариат будет господствующим сословием, то над кем он станет господствовать?

— Покуда существуют и другие классы, — суховаато ответил Маркс, слегка стукнув по столу смуглым кулаком, — он должен применить насилие, так как насилие есть средство для управления. В дальнейшем процесс преобразования должен быть насильственно ускорен.

— Ну, а крестьянская чернь будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом?

— Без сомнения. Либо крестьянин станет препятствовать и приведет к крушению всякую рабочую революцию, либо пролетариат в качестве правительства должен принять меры для улучшения положения крестьянства, — Маркс отпил из бокала светлого молодого вина и словно поставил точку в предварительном разговоре.

Они помолчали.

— Я готов пригласить тебя, Бакунин, в свое Международное общество рабочих, в Интернационал. Вместе с твоими организациями. Относительно участия твоего в совете и в руководстве можно поговорить после получения твоего принципиального согласия.

В том 1864 году Интернационал, выпестованный Марксом, уже набирал силу, но не имел еще того влияния, которым он нальется года через два. И потому и Бакунину, отвергавшему всяческую власть над собою, совсем не резон было сесть под деспотическую длань старого недруга, тем более, что сам он лелеял мечту о своем собственном «Альянсе» либо «Лиге свободы и ми-

ра», где именно он станет во главе, полномостный и «всенепокорнейший».

Они расстались. Старое не поминалось, как будто исчезло, но удивительно, что где-то вновь и вновь стало мелькать, будто Бакунин — агент Третьего отделения.

На ближайшей встрече с Энгельсом Маркс рассказал Фридриху о посещении Бакунина.

— Я недавно опять увидел его впервые после шестнадцати лет. Должен сказать, что он мне понравился, и лучше прежнего. В общем, он один из немногих людей, которого по прошествии шестнадцати лет я с удовольствием нашел ушедшим не назад, и вперед. Это мощный соперник.

— О, да, — рассмеялся Энгельс, уже видевший Мишеля где-то в Женеве. — Он силен. Ха-ха-ха, согласись, что выглядит он, как Минотавр. Сибирь, пузо и молодая полька сделали из Бакунина быка.

Известность Бакунина росла, но жить было негде, а деньги в фонде его собственного имени водились редкие и случайные. Поразительная нищета и бездомность стареющего человека напоминала студенческие времена. Как встарь, Мишель даже взялся было за перевод «Капитала» на русский язык, забрал аванс, но *дела* было много, а деньги утекали сквозь пальцы.

А вдруг все изменилось. Поклонник Бакунина, молодой итальянец Кафиеро, женатый на русской женщине Олимпиаде Кутузовой, получил большое наследство. Исполненный благородный чувств к Santa maestro, как называли в Италии Михаила Бакунина, он предложил построить для него в чудесном местечке близ Локарно дачу. Имя ее, «Ла Бароната», звучало как музыка!

— Во-первых, дорогой учитель, вы будете скрыты в ней от посторонних глаз и ничто не помешает вам работать, — восторженно смотрел в глаза Мишеля худой и жилистый Кафиеро, — а во-вторых...

— Понимаю, — сказал Бакунин. — Ты желал бы превратить «Ла-Баронату» в центр, где могли бы останавливаться наши люди, и...

— ... и в подвалах ее держать оружие на случай восстания. Вокруг будет сад и забор, в верхних комнатах будет проживать

ваше семейство, мы с женой тоже найдем себе место, а все остальное будет для *дела*.

Бедный Кафиеро! Он и представить себе не мог, в какую дыру бросает свои деньги, доверяясь Бакунину! Архитектор, подрядчики, рабочие — все набивали карманы деньгами, которые никто не считал. Не было даже начальной сметы! Тем не менее, домик воздвигся. Среди строительного мусора расхаживал довольный Бакунин, наслаждаясь кваканием лягушек в глубоких позеленевших ямах.

— Как в Прямухино! Антося, милая, верь, что здесь будет такой же райский уголок, тенистый сад, каскад прудов и журчащий прохладный ручеек, — мечтал он вместе с нею, не удосужившись посвятить ее в тайну неожиданно свалившегося на них сокровища.

Антония была уверена, что дача строится именно для нее, для ее великого мужа, и какие-то Кафиеро здесь не более, как временные подрядчики.

Но окончанию работ, отделке дома, посадкам деревьев, прудам, ручейкам и заборам не было видно ни конца, ни края, а деньги, между делом, таяли. В ход шли уже не проценты с капитала, а основная сумма, что, конечно же, не сулило ничего хорошего.

Зато удалось собрать в Женеве в конце 1867 года депутатов «Лиги мира и свободы»! Бакунин, исполин с львиной головой, громовым металлическим голосом подстать его физическим данным, выступал каждый день.. Его программа — долой великие и могучие государства во имя славы человека, обнаруживающего себя в науках, мирном благоденствии, справедливом труде и свободе, которые процветают не в мощных, военизированных, готовых сцепиться друг с другом монархиях, а в небольших национальных образованиях вроде Португалии. Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, существование Бога логически связано с самоотречением человека. Бог существует, значит, человек — раб.

Народу приходило и толкалось множество. Среди ораторов выступал, конечно, и Карл Маркс. Но не был услышан. Его речь о диктатуре пролетариата и железной дисциплине отпугнула бла-

городную публику. Бакунин мог торжествовать. Анархизм и свобода собственной личности льнули к сердцам присутствовавших слушателей теплее и ближе, чем яростные тиски диктатуры.

На одном из заседаний среди интересующихся оказался и Федор Достоевский, лишь недавно прибывший с каторги и поселений. С любопытством взглянул он «сибирского беглеца» Бакунина, поразился его внешности, прослушал его речь, но в дальнейшем следил за программой только по газетам.

— Я в жизнь мою не только не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, — говорил он своей Аннушке, молодой жене, — но и не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Все было глупо: и то, как собрались, и то, как дело повели, и как разрешили. Начали с предложения вотировать, что не нужно больших монархий и все поделить на маленькие и так далее... Глупость, глупость, фу, какая глупость!

«Лига мира и свободы», созванная для предотвращения Франко-Прусской войны, и в самом деле оказалась рыхлым вялым образованием буржуазного толка. Она, конечно, высветила Бакунина всему миру, но опорой для него стать не смогла. Буржуа отвергли больше половины его решительных пунктов, особенно антирелигиозные и уравнивательные.

Тогда он создал Альянс и Тайный Альянс. Тайные братства понимали его с полуслова. Кого они привлекали, эти братства, и как? В первую очередь, ясное дело, шла бедняцкая молодежь, сапожники, наборщики, рабочие, всегда начиненные злостью и завистью к богатым, всегда со сжатыми кулаками. Не гнушался Мишель, как его называли везде, и бродягами, полупреступниками, этими, по идее Вейтлинга, сверхэнергичными антиобщественными элементами.

Но встречались и другие люди.

Тогда начиналась игра. Если Бакунин нуждался в человеке, он превращался в непреодолимого обольстителя... Тонкая и благодушная веселость, хороший тон и вкус, французское остроумие действовали на человека, словно головокружительное опьянение. Перед ним был настоящий барин, образованный человек, утонченный интеллигент, читавший на зубок любимых авторов, напе-

вавший мелодии, увертюры. Ласковый, как овечка, он обволакивал сердце стремлением к ответной благодарности.

— Мы будем братья. Когда у вас будут деньги — вы мне, а я — вам.

И некоторое время в его фонд сочилось средства новообращенного. А между тем, в кафе на одного себя он тратил, как на двадцать человек. И всегда был в центре. Громадная чашка чая соответствовала его пищеварительной потребности. Всеподавление, неизъяснимое очаровывание, губительные для мыслящего человека, несли по его желанию эти светло-голубые большие, по-детски доверчивые и открытые глаза и серебряные кудрявые волосы, окружавшие высокий лоб. Но главное, слово его, ученое, обильное и остроумное.

Однажды близ него, за соседним столиком оказался профессор философии. Бакунин насторожился. Он смотрел на него так, словно хотел околдовать своим взглядом. Речь будто случайно зашла о Шопенгауэре.

— О Шопенгауэре? — провозгласил Бакунин, обращая взор на соседний столик, — вот кто может сказать о Шопенгауэре.

Они разговорились.

— Вы не масон? — таинственно спросил Бакунин.

— Нет, у меня отвращение к тайным обществам.

— Отчего же?

— Мне претит следовать догме одного человека, — ответил тот, чувствуя, что с ним уже что-то происходит и пытаюсь удалиться от этого человека.

— Ну, так вы наш, — сказал Бакунин.

— Нет, — воспротивился профессор, — я хочу оставаться свободным. Идти за другими, не зная куда — это не мое.

Но было уже поздно. Бакунин был так красноречив, так умен даже для ученого, что легко взял его за душу, перевернул, зажег ее, убедил в необходимости насильственных мер против государства.

Великий змий окружил его с этой минуты своими фатальными кольцами. Странное возбуждение владело профессором всю ночь, он без сна расхаживал по комнате, посылал проклятие всей прошлой жизни, отказался от службы, от профессуры, и... с

головой в бакунинское «дело». А нашел... нашел полное безделье, пустоту, сбор пожертвований для себя и других таких же нищих. При том, что каждый из них хотел себе чина — советника ли, председателя, занимаясь пустяками вроде еженедельной смены шифра.

Зато статьи и толстые брошюры распространялись по Европе тысячными тиражами. Гонораров Бакунин не брал.

Как проходили его дни? В комнате его всегда толпились десятки людей. Он еще спал, а кто-то уже скрипел на стуле, дожидаясь его пробуждения.

— Бакунин, вы спите?

— Да, черт возьми!

Он тяжело, со стоном подымал по частям огромное тело и долго плескался за занавеской. Там стояли кбзлы, покрытые досками и тощим тюфяком, лавка с тазом для умывания. Одежду он снова надевал ту же, в которой спал, хранившую пятна трапез за несколько последних лет.

Потом выходил в комнату и начинался бесконечный разговор, курение, чай, и в перерывах писание острых, всегда злободневных статей.

— Бакунин, почему вы не написали мемуары?

— Начинал. Скучно писать о себе.

— А вы бы написали о своих друзьях. О Белинском, например, о нем сейчас много толкуют.

— Белинский — это неумытый реалист по темпераменту и по натуре.

— А правду говорят, что в Дрездене вы сожгли все красивые здания и выставили на расстрел произведения Рафаэля?

— Я не понимаю, почему здания нужно беречь больше людей? А насчет картин никогда такого приказа не давал, но посоветовал немцам поставить Мадонну Рафаэля и послать глашатая к начальникам прусских войск с заявлением, что если они станут стрелять по народу, то погубят великое произведение бессмертного художника.

— А если бы пришлось защищаться от русских войск?

— Ну, брат, нет. Немец — человек цивилизованный, а русский человек — дикарь, он и не в Рафаэля станет стрелять, а в

самую как есть Божью Матерь, если начальство прикажет. Против русского войска с казаками грешно пользоваться такими средствами — и народа не защитишь, а Рафаэля погубишь. Вообще, меня всегда соблазняла мысль умереть с оружием в руках, но пришлось отступить. В Кенигштейне я просил, чтобы меня расстреляли, ну, а в австрийской тюрьме я просто-напросто отрицал, что принимал участие в восстании. И вскоре убедился, что меня считают агентом Николая I.

Странное впечатление производили на непосвященных посетителей обитель супругов. Во время скромных совместных обедов можно было иногда видеть в приотворенную дверь роскошно убранную комнату с богатой мебелью и тонким бельем, всегда готовую к приезду Карло Гамбуцци, *del'amico della Vasupina*. Прелестны были и детишки. Особенно любил Бакунин младшую девочку. «Бомба» называл он ее.

Тем временем, политическое продвижение тайный братств и Альянсов приостановилось. План чудовищного размаха — организовать социальную революцию с помощью тайного всемирного союза революционеров разных стран и наций, и возвыситься над всеми, не срабатывал, несмотря на гонцов и сотни писем Бакунина. Зато на подъеме был Интернационал, сплоченный и деятельный, любимое детище Карла Маркса. На него-то и обратил внимание Бакунин.

— Я давно не знаю другого общества, кроме рабочих, — написал он Марксу, — Я делаю теперь то дело, которое ты начал более двадцати лет назад. Моим отечеством будет теперь Интернационал, одним из главных основателей которого являешься ты. Следовательно, дорогой друг, ты видишь, что я — твой ученик и горжусь этим.

Несмотря, с опаской, как когда-то Белинский в журнал «Москвитянин» и Герцен в «Колокол», впустил-таки в 1868 году Карл Маркс к себе в свой «Интернационал» Михаила Бакунина. А тот протащил с собой все свои *тайные и сверхтайные, и совершенно секретные* братства и образования для захвата власти внутри «Интернационала». Борьба за направление, за рули руководства началась с первого же дня. Могучий «Интернационал» зашатался.

Анархическая стихия и диктатура пролетариата никак не сплавлялись в единое направление.

Словно в восточной притче о том, как «Морской змей утащил девушку, и, попав во власть ее духа, взбесился», Международное товарищество рабочих» стало терять ясный ум и погрузилось в пучину ссор, дрызг и раздора, любимую обстановку Бакунина.

А что же Россия? Огромная Российская Империя, гроза и защита европейских монархов, — неужели безучастно взирала она на волнения народов Запада, рождение новых мыслей, веяний, устремлений?

Конечно, нет. Весь европейский опыт деятельно переплавлялся в национальной плавильне, и выдавал такие находки, от которых Европа с ужасом хваталась за голову.

Интересно проследить поведение русских сопротивленцев — бунтарей, государственных преступников, революционеров.

Разин, Пугачев... Разве каялись они перед царями, просили помилования? Никогда. А перед народом, на лобном месте, каялись на все четыре стороны, просили прощения за погубленные души. И разбойнички помельче умели ответ держать, будучи схвачены да повязаны!

Зато на процессе декабристов, например, почти все руководители движения в показаниях своих, очных ставках, письмах к царю раскаивались и оговаривали друг друга с такой откровенностью, которая больше подходила под определение «моральная катастрофа», чем, как это называли некоторые, «верноподданническая поза». В чем тут дело? Обаяние власти? Несомненно. Оно пленяло дворян с самого детства, к тому же, сами офицеры, они предстояли своим старшим начальникам по званию и самому главнокомандующему — Царю!

Покаялся перед царем и Бакунин, покаялись, после долгих упирательств, Петрашевский и Спешнев

— От декабристов до петрашевцев все линияли, — со вздохом заключил Герцен, помятуя собственные «объяснительные».

— Мы были сильны в области мысли, но в столкновениях с властью являли шаткость и несостоятельность.

— И я, — делился Иван Тургенев, участник «процесса 32-х», — когда читал показания и объяснения своих друзей, часто слышал в них тот «заячий крик», который так хорошо знаком нам, охотникам.

Клич Герцена «В народ!» был услышан. Сотни и тысячи чистых русских юношей понесли в деревню грамотность и начала социального просвещения. «Колокол» звал крестьян к сопротивлению, но после 1863 года начинающие «народники» перенесли страшное разочарование, народного восстания не произошло, кое-какие стычки вспыхнули на окраинах Империи в Белоруссии, Литве, Польше и все. Волна пошла на убыль, задавленная гнетом царизма.

Разве что Некрасов вопиял в пустынном отчаянии:

Ты проснешься ль, исполненный сил?..

Зато Его Превосходительство генерал-губернатор Салтыков-Щедрин напоминал всем «стучавшимся и недостучавшимся», что «вся суть человеческой мудрости — в прекрасном слове «со временем».

Однако, уже Н.Г. Чернышевский с товарищами ушел на каторгу нераскаянным, поразив своим мужеством всех, кто присутствовал на его гражданской казни. Ему бросали цветы.

— Я ни в тридцатых, ни в сороковых годах не помню ничего подобного, — склонился перед его образом Герцен.

Вскоре русские революционеры-разночинцы стали согласовывать правила поведения при арестах и не только не отвечать на вопросы судей, но и судить самих судей в самом зале заседаний. Обаяние власти для них не существовало, они быстро усваивали все необходимые ступеньки вроде бунтов, заговоров, террора, тайных обществ.

— Сопротивление только въелось глубже и дальше пустило корни, — отметил Герцен в одном из последних номеров «Колокола».

Это было время всеобщего подъема во всех областях. В науках, литературе, культуре, мореходстве, обустройстве заводами и железными дорогами. Не дремали и общественные деятели.

Прямого выхода на Россию ни у Герцена, ни у Бакунина не было. Их печатные труды, брошюры, оттиски зачитывались до дыр в горячих молодых руках, молодежь мечтала о соединении с европейским опытом. Люди ехали к Герцену, готовые встать в ряды борцов за свободу народа.

Но Александр Иванович уже и не взялся бы руководить молодыми. Он устал. Ему уже не верилось ни в крестьян, ни в этих странных русских «пролетариев». Разочарованный, он мечтал о тихой жизни в Женеве, куда переехали все для того, чтобы отдать Лизу в учебное заведение, подлечить нервнобольную Тату, жить, занимаясь литературной журналистикой и, по-возможности, снимать боли в печени. Полу-пьяненький Ага жил при них, и кроличьими красными глазами следил за своей неразведенной женой Натальей Тучковой-Огаревой.

Зато Бакунин не отказался бы. Россия! Это вам не какая-нибудь Болонья! Опрокину, все опрокину!

На ловца и зверь бежит.

Был светлый весенний день 1869 года, когда к нему в Женеву, где он также пристроился на время неподалеку от Герцена, приехал молодой человек из России. Сергей Нечаев. Невысокий, скромный, 1847 года рождения, сын крепостного, потом учитель, вольнослушатель университета. По его словам, ему случайно, с большими трудностями удалось бежать из Петропавловской крепости. Он прибыл с целью найти поддержку своей организации «Народная расправа», которая имела целью свержение в России царского самодержавия. Ни больше, ни меньше, только так.

Бакунин был в восхищении. Нечаев понравился ему с первой минуты, энергии в этом новобранце хватило бы сто чертей сразу. «Тигренок»- окрестил Бакунин этого смугловатого паренька, черные глаза которого горели непримиримым огнем фанатика. И сразу увидел в нем и восходящую звезду русской революции, и своего преемника.

— Как вы работаете?

Тот отвечал быстро, не задумываясь, по-владимирски напирая на «о».

— Мы действуем в строгой конспирации, каждый член организации знает лишь четырех человек из своей пятерки. Мы имеем ячейки в среде студенческой молодежи обеих столиц, в армии, в мужицкой среде, интеллигенции, хотя в последней не много.

— Кому подчиняется ваша организация?

— Над всем стоит «Комитет».

На радостях Мишель потащил «маленького» к Герцену, но на того Нечаев не произвел благоприятного впечатления, хотя и сослался на Ткачева, известного руководителя «Земли и воли», которая заглохла сама по себе.

— Если вы действительно существуете как организация, то обратитесь как полагается — письменно, по всей форме: с вашим «Уставом» и «Программой», если же вы, молодой человек, пришли от себя лично, то устремления ваши похвальны, но мы навряд ли можем быть вам полезны.

Их содействия искали и ранее, но выстрел Каракозова раздавил всех. На суде «ишутинцы», к которым принадлежал стрелявший как двоюродный брат Ишутина, еще каялись и оговаривали своих, все, кроме Каракозова. Тем не менее, даже в «Интернационале», к немалому удивлению Маркса, уже образовалась «русская секция»

От Герцена они ушли ни с чем. Бакунин махнул рукой на осторожность и доверился новичку, что называется, со всеми потрохами.

— Что тебе от меня нужно для того, чтобы развернуть «дело» в России?

— Во-первых, ваше имя, Михаил Александрович. Оно пользуется известностью и уважением. Поэтому сотрудничество с вами, доверенность от вас, ваши бланки, ваша печать, желательно с оттиском Интернационала, обращение ко всем слоям общества, брошюры, листовки, воззвания и программа действий, разработанная с вашим опытом и участием, будут для нас неоценимы.

— Печать «Интернационала», говоришь. А знаешь ли ты, что такое Интернационал? — таинственно спросил Бакунин.

Нечаев настороженно посмотрел на него.

— Что?

— Это — воплощение Сатаны, это культ Сатаны, вечного мятежника, первого мыслителя во Вселенной. Вам надо поближе свести с ним знакомство, современный Сатана — в неукротимости бунтов, это — революционный пролетариат, после каждого поражения восстающий вновь с непобедимой силой. Сам Прудон в минуты революционного просветления провозглашал анархию и поклонялся Сатане.

У Нечаева захватило дух. Он знал, он предчувствовал это!

— Вот оно как, — пораженно произнес он. — Значит, все можно?

— Все можно! Ты в свои годы уже читаешь в подлинниках французских философов и не ведаешь, что члены Конвента имели дьявола в теле, и им удавалось всадить его в тело нации. Для революции нужна война, тогда легче всадить черта в тело рабочих масс.

— А как этого достигнуть?

— Очень просто. Надо более бед и сильнейших потрясений, надо мутить и распространяться, чтобы быть готовым ко дню пробуждения дьявола. Камня на камне не останется, когда все это начнется.

— Я готов.

И они взялись. Они затеяли ужасную игру, мистификацию, на которую, как на удочку, стали ловить самых чистых и неопытных. Бакунин явно заигрался. Он даже дал расписку, что отдает себя в распоряжение Комитета. Беззубое старчество и молодое изуверство посеяли неслыханные семена. Они сочинили «Катехизис революционера», чтение которого бросает в дрожь обыкновенного человека.

Вот образцы этой бесчеловечной фантазии, изложенной корявым слогом Сергея Нечаева, да к тому же по-бакунински зашифрованные от собственных сподвижников, чтобы не испугать и не оттолкнуть их раньше времени, раньше того, как все будут повязаны пролитой кровью.

Революционер — это обреченный человек, у которого нет интересов, дел, собственности, даже имени. Есть одна страсть — революция. У него нет связи с гражданским порядком, законами, приличиями, нравственностью этого мира. Он беспощадный враг мирской науки, кроме науки разрушения. Для разрушения этого поганого строя он изучает науку и характеры людей. Он презирает общее мнение, он суров для себя и других, потому что он обречен на пытки. Он ненавидит всех, он не останавливается перед уничтожением любого. Поганое общество он разделяет на пять категорий.

1. Обреченные на смерть.

2. Временно даруется жизнь, чтобы зверскими поступками они довели народ до бунта.

3. Высокоставленные скоты, которых нужно пугать, овладеть их тайнами и сделать рабами.

4. Лицемеры, чьими руками мутить государство.

5. Доктринеры. Их толкать и тянуть к бесславной гибели.

6. Женщины.

а. пустые, бездушные, как 3 и 4 у мужчин.

б. горячие и преданные, но без нашего понимания, как мужчины 5.

в. наши — наша драгоценность.

Когда товарищ в беде, в тюрьме — смотреть, есть ли польза от его вызволения?

Цель — полнейшее освобождение и счастье народа, т.е. чернорабочего люда, развитие тех зол и бед, которые понудят к восстанию.

Революция — уничтожение государственности, истребление государственных традиций и классов в России. Потом власть будет. А сейчас — разрушение полное и страшное.

Соединение с разбойниками, проститутками.

Предлагается использовать яд, топор, веревку.

Студентам предлагается бросать университеты, в русской армии воспитывать солдат и офицеров в том же направлении. И т. д.

Нагруженный прокламациями, Нечаев отбыл в Россию. Бакунин попался на удочку самым позорным образом. За «тигренок» не было никакого Комитета, никакой организации, но он обладал железной волей, которая сама есть сила, и всеми теми качествами, которые отразились в его «Катехизисе».

Снабженный поддельным мандатом «от самого Бакунина», документами, пустыми бланками с печатью Интернационала, он принялся быстро сколачивать свои пятерки в студенческой среде обеих столиц, среди рабочих, даже офицерства. Имя апостола анархизма Михаила Бакунина действовало на горячую молодежь, уже готовую к восприятию новых мыслей о свободе и всеобщем равенстве.

О самом Сергее Нечаеве знали мало. Он не выделял себя. Отмечали его ум, горячие глаза, но даже те, у кого он бывал часто, видели в нем русского парня, пообтесавшегося в городе, его владимирское «о», да мальчишеское деревенское озорство, когда в бане он плеснул на Прыжова холодной водой и хохотал, хохотал.

... замечали необычайную энергию, когда для сна ему хватало получаса езды на извозчике, а спящим по-настоящему его не видел никто ... и железную дисциплину, которой он, словно цепями, сковал свои «пятерки», да страсть к розыгрышам, когда из пролетки извозчика при виде знакомых вдруг бросал на снег записку.

— «Меня везут в Петропавловскую крепость».

... и даже молодую неопытность перед женщинами, когда жену своего друга Успенского из той же «пятерки», что и Прыжов, женщину на последнем месяце беременности, затеял командировать в Европу.

— Знаете ли вы французские и немецкие языки, чтобы доехать в Женеву к Герцену и Огареву?

— Знаю.

— Можете поехать?

— Могу. Ой, нет, не могу.

— Что это значит, то могу, то не могу? Странные бывают люди! Вообразят перед собой стену и останавливаются, когда никакой стены нет.

— Нет, есть стена.

— Тогда скажите просто. Не ожидал от вас.

Молодая женщина рассмеялась.

— Да что вы хотите, чтобы я родила дорогой, в вагоне? Разве вы не видите, в каком я положении?

— Да, действительно, стена, простите. Я не сообразил этого.

Очень скоро в его организации было уже более трехсот-четырёхсот человек. Всеми стоял всеведающий «Комитет», которого никто никогда не видел.

— Кто этот «Комитет»? — задумался студент Петровской Академии Иванов. — Ты, что ли, этот «Комитет».

— При чем тут я? — нахмурился Нечаев.

Но догадка студента стоила Иванову жизни. Члены его «пятерки», повязанные, словно веревками, страхом перед Нечаевым, назначили сбор на берегу тихого пруда Петровской Академии, и когда стемнело, неумело удушили его прямо на берегу, причем, при сопротивлении Иванов так вцепился зубами в пальцы Нечаева, что изуродовал их на всю жизнь.

Полиция нашла тело на следующий же день. Нечаев скрылся за границу. Начались аресты.

Узнав, что «Маленькому» удалось уйти, Бакунин на радостях подпрыгнул так, что «чуть не пробил потолок старой своей головою».

Процесс «нечаевцев» стал первым в России многолюдным политическим процессом, на котором подавляющее большинство подсудимых выступило, с точки зрения революционной этики, безусловно. Выяснилось, что чистая молодежь шла за Нечаевым единственно с целью посвятить себя делу освобождения народа, то есть «из прекрасных, преблагородных» (как сказал на процессе адвокат В.Д. Спасович) побуждений. «Катехизис революционера» вообще не читался в организации именно потому, что «произвел бы самое гадкое впечатление». Процесс не утопил подсудимых в нечаевской грязи, а, напротив, смыл с них эту грязь.

И все же десятки людей попали в тюрьмы, на каторгу.

А для наших шутников в богоспасаемой Женеве чем хуже, тем лучше. Не довольствуясь произведенным впечатлением, они

принялись рассылать открытой почтой письма всем порядочным людям России, навлекая полицейское преследованием на целые семьи. Один полковник, жену которого арестовали, застрелился, ко многим людям пришла беда.

— Остановите Бакунина! — посыпались письма-требования в Женеву.

Но Герцена к тому времени уже не было, а старенький Ага, пьяненький и слабый, уже не мог оказать никакого сопротивления. Он полностью попал под руку Бакунина.

Как они ждали революцию! Осенью 1869года, весной 1870 года! Случайно ли, что в далеком Симбирске, на Волге родился в апреле один мальчик... ?

Возвращаться в Россию Нечаеву было невозможно. Денег на жизнь не хватало. Зато жила молодая девушка Тата Герцена, богатая наследница. Сергей решил попытать счастья здесь. Он стал бывать у них под зорким наблюдением Тучковой-Огаревой.

— Что это у вас какие пальцы на руке? — спросила Тата и нервно передернулась. — Уж не следы ли это зубов того Иванова, которого вы убили? Мы читали все отчеты о процессе.

Присутствовавшая в комнате Тучкова — Огарева поднялась с места.

— Я советую вам, молодой человек, не бывать больше в нашем доме, — проводила она его к дверям

— А мы запретим печатать сочинения необдуманые, но талантливые этого тунеядца Герцена, а если семья его будет продолжать, станем принимать решительные меры, — пригрозил он.

После этого предприимчивый Нечаев принялся шантажировать Бакунина украденными у него письмами. Но Бакунин, «Матрена», как называли его за глаза молодчики Нечаева, был беден, как всегда. И тогда они сколотили разбойничью шайку и стали обирать туристов на горных тропинках Швейцарии. Это был выход по-русски!

За дело взялась полиция. Нечаев был пойман, посажен в тюрьму Цюриха.

— Михаил Александрович, есть верный способ освободить Нечаева, — обратился к Бакунину Замфир Ралли, один из моло-

дых русских-молдаван, которые во множестве кружились вокруг мэтра в эти годы. — Нужны только деньги.

— Вот и надо посмотреть, где эти деньги принесут больше пользы, — назидательно проворчал тот. — Сейчас они нужны для *дела* в другом месте.

Казалось, Бакунин старался забыть о Нечаеве, о «тигрёнке», в котором будто бы ошибся. Об этом высказана глубочайшая мысль, в которую страшновато заглядывать: Бакунин боялся в Нечаеве самого себя.

Воистину, глубины духа есть страшный дар!

Арестованный был передан российскому правосудию. Схваченного Сергея Нечаева везли в Петропавловскую крепость в позорной повозке с надписью «УБИЙЦА» под грохот барабанов, заглушавших его крик.

— Да здравствует Земский собор!

Старушки крестились.

— О соборе каком-то все печалуется, сердешный.

Случившийся тут же мастеровой тихонько спросил у студентов, что это значит? Ему объяснили. Он сразу сосредоточился, глянул вниз, перекрестился и исчез в толпе.

На следствии Нечаева били, не давая слова вымолвить, в суде он заявил, что не желает давать никаких показаний, и сидел спиной к судейскому столу. После оглашения приговора сказал.

— Шемякин суд!

А когда выводили из зала, крикнул:

— Да здравствует Земский Собор! Долой деспотизм!

В Алексеевском равелине Нечаев писал кровью на стене заявления-протесты, а шефу жандармов Потапову, который, явившись, нагрубил ему и пригрозил телесным наказанием, дал пощечину. После этого его заковали в ручные и ножные кандалы, соединенные такой короткой цепью, что разогнуться было невозможно. Руки и ноги покрылись язвами.

И в этом положении, скрюченный, как горбун, он распропагандировал солдат охраны на свой побег. Еще не было ни одного случая, чтобы из Алексеевского равелина кто-то убежал. И сорвалось-то случайно, просто солдат охраны передал записку Нечаева не адресату лично, а его квартирной хозяйке.

Солдат судили. Все они держали себя молодцами, с большим достоинством, и когда прокурором было высказано предположение, что Нечаев действовал подкупом, все горячо запротестовали.

— Какой тут подкуп, — раздались голоса, — номер пятый — наш орел, это такой человек, за которого без всякого подкупа мы готовы были идти в огонь и воду.

Номер пятый. Не в нем ли сидел и Бакунин в свое время?

Сам царь был удивлен этим процессом, его многолюдием и даже участием в нем женщин.

— Очень странные люди. В них есть нечто рыцарское, — отозвался о «нечаевцах» и Нечаеве Александр II. Охота за ним самим у террористов шла непрерывно, срываясь по пустякам в пятый, седьмой, девятый раз, угроза смерти постоянно дышала ему и в лицо, и в затылок. — Странные, странные люди.

Нечаева он приказал запереть пожизненно в самом гнилом из крепостных казематов. Гноить их всех без пощады! Довольно с него выпорхнувшего на волю Бакунина, да и Герцена с его «Колоколом».

«Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада!»...

Нечаев погиб через несколько лет от цинги и водянки. Незадолго перед смертью друзья передали ему план побега.

— Средства есть, — сообщали они. — Деньги или для царевубийства или для твоего спасения. Или-или. Выбирай.

— Конечно, для царевубийства. Это принесет больше пользы общему делу, — ответил Сергей Нечаев.

Франко-прусская война разразилась в 1870 году. Немцы рвались к Парижу. Военные поражения французов следовали одно за другим. Народ восстал. Пламя Парижской коммуны охватило столицу, спасая ее от нашествия. Поднялись и другие города.

11 сентября Бакунин появился в Лионе. Наконец-то действие, а не полемика! Народное восстание во время войны — вот спасение с целью разрушения государства! Лихорадочная деятельность, революционное желание в поседелом борце омолоди-

ло его, он вновь был в своем элементе, рев восстания бодрил его дух! Город был разбит на кварталы, в каждом свой революционный комитет. На митинге он объявил о том, что все офицеры, получившие чины от прежней власти, разжалованы, начальников следует выбирать, что в городе создан революционный Конвент, а в других городах создаются Комитеты общественного спасения. Бакунин рвется идти на помощь осажденному и восставшему Парижу!

На красной бумаге вывешивались на стенах его распоряжения.

1. Административная и правительственная машина государства отменяется ввиду ее беспомощности.

2. Все учреждения и суды уничтожаются и заменяются народными судами.

3. Уплата налогов и ипотек прекращается. Налоги заменяются контрибуцией с богатых классов. В заключение на всех прокламациях стояли призывы:

— Вдохновленные всеми ужасами опасности... К оружию, граждане!

Он арестовал всех офицеров и коменданта, но видел, что рабочий народ его не поддержал. В скором времени он сам оказался арестованным и запертым в маленькой комнатушке. Как обычно, он был готов к расстрелу, готов был и застрелиться, как готов был к этому всю жизнь!

В конце концов в сломанную дверь просунулся длинный нос его сподвижника.

— Бакунин, вы тут? Скорее, скорее!

Они бежали через Марсель. Там он еще пытался пропагандировать, но уже разочаровался в буржуазии, сдавшей город федералам. Затем морем в Италию, в Локарно, на «Ла Баронату»

— Я поехал, чтобы сражаться и умереть с вами, — написал он друзьям по горячим следам, — а покинул Лион с глубокой грустью и мрачными предчувствиями. Что будет с Францией? Прощай, свобода, прощай, социализм, прощай, народная правда и торжество гуманизма. Ну, не будем больше говорить об этом. Моя совесть подсказывает мне, что я исполнил свой долг до кон-

ца. Мои лионские друзья также знают это, а до остального мне нет дела.

Вскоре Лионский суд приговорил его заочно к пожизненному заключению. Которому?

Здесь, на даче, он стал писать замечательные статьи о пролетариате.

Но опоздал.

Плутни в «Интернационале», «нечаевское» дело, неудача в Лионе и множество прегрешений, допущенных в свирепой журнальной расправе с Марксом, а главное, разрушительные происки его людей, дали повод для решительных действий. Гаагский конгресс «Интернационала», созванный в 1871 году специально для изгнания Бакунина из организации, принял соответствующее решение. Бакунин отлучен, побит камнями, изнан из всех советов. Он, но не «тайная братия». Наверное, поэтому через год развалился и сам «Интернационал I»

Тяжела рука михаилова!

А «Ла Бароната», приют анархитов-революционеров, все строилась. Уже было ясно, что денег не хватит, что доверчивый Кафиеро беззащитно ограблен строителями и почти разорен, и уже начались ссоры.

Вызванная телеграммой к родным в Россию, в Иркутск, Антония с детьми отбыла на два года, уверенная, что в итальянской Швейцарии у нее имеется прекрасный дом.

Бакунин перебрался на время в Женеву.

Привычно вызывая внимание, ровной, легкой и свободной походкой двигался он по улицам в свите из французов, испанцев, русских и сербов, вызывая волнение, точно большой океанский корабль. Его последователи и противники враждовали за место близ него. Дамы готовили ему еду, обшивали, занимали для него деньги. Свободная прекрасная речь его на всех языках, а в конце по-русски, вызывала подобострастное восхищение. О Дрездене, о Сибири, о великих друзьях молодости он рассказывал живо, с подробностями, которые не всегда следовало упоминать. О себе же говорил только приятное, а на дерзкие вопросы отвечал руганью.

Везде он был негласным центром, и, как деспот, не терпел противоречий.

— Вы разрешите мне закурить? — обращался он к самой хорошенькой женщине.

— Ах, конечно, курите, Мишель!

— А почему вы у меня не спросили разрешения? — обижалась другая дама.

— Вот еще! Кажется, я к вам не обращался. Я положительно не могу видеть, как женщина пьет вино и курит!

— Но я не пью и не курю, даже дыма табачного не переношу.

— Все равно.

Исполинский рост и ожирение, калмыцкая внешность, женская улыбка, никогда не сменяемое платье — все прошло для него, все источало неизъяснимое очарование, все работало на образ народного вождя.

— Бакунин, вам следует почиститься

— Я не желаю чиститься! — бешеным взглядом посмотрел он. — Кто это тут возле меня, такой чистенький гав...чек?

Восторженные студентки лелеяли его, заботились о его здравии.

— Михаил Александрович, при ожирении нельзя есть макароны с маслом, пить кофе, водку с ликером и варить фрукты в жженке. Поберегите себя.

— Э, нет, матушки мои. Болезнь должна идти своим путем и выйти из тела.

Наконец, через два года жена сообщила о своем возвращении. Карло Гамбуцци выехал навстречу. Бакунин готовил было гнездышко для любимой женщины на Ла Баронате, но услышал, он не имеет на дачу никакого права. Он-то знал об этом, да как-то не верил, закрывал уши, привык к месту, зато для Антонии это был удар. Можно представить, что за крик учинила она всем обитателям дома, который она считала своим! А чего-чего наслушался сам Мишель... К тому же у него, по обыкновению, не осталось ни копейки денег. Кое-как, с помощью Гамбуцци, удалось пристроить семью на несколько дней. А дальше?

Бакунин пережил ужасную ночь. Он сидел в комнате за столом, перед ним лежали часы и револьвер. Он следил за стрелкой. Ровно в четыре часа утра должен прогреметь выстрел, положив конец всем его унижениям, неудачам, страданиям. Ровно в четыре...

Но судьба по-прежнему благоволила ему. «Еще не в этот раз», — как говорят французы... Без четверти четыре приехал голец Сильвио с тремястами франков в фонд Бакунина. Он привез новость. Болонья на грани восстания! Болонья, Болонья ждет минуты, когда можно явиться вождем и пророком! Туда, туда! Вихрь революции вновь дышит в его старое лицо!

— Это будет моим политическим завещанием! Умереть с оружием в руках — самая прекрасная моя мечта!

Они поскакали.

Но войска и полиция опередили их. С помощью переговоров и обещаний властям удалось не только успокоить бунтовщиков, но даже разоружить их и распустить по домам. Всех, кроме зачинщиков, с которых был отдельный спрос.

И снова вздумал стреляться Бакунин, но его удержал хозяин, приютивший его. Тихо побрел восвояси *Santa maestro*, переодетый священником, с дорожным посохом в одной руке и корзиной с яйцами в другой. Сильвио принужден был прятаться в телеге под ворохом сена.

Все. Карьера окончена.

Но судьба снова подмигнула ему. В ответ на его давние просьбы братья продали, наконец, рощу, и выслали «противнику наследственного права» документы, по которым банк ссудил его деньгами. В 1874, на шестидесятом году жизни, у Мишеля появилась, наконец, собственная крыша над головой в местечке Лугано и кое-какие средства для безбедного существования.

...Тишина, детские голоса, кваканье лягушек в ямах. Старый лев на покое. Огромный, могучий, тяжелый. Глаза сверкающие, быстро меняющие выражение, вспыхивали огнем и грозными молниями, а по временам освещались чисто женской улыбкой. Сапоги, панталоны, накидка — все хранили на себе следы грязи пережитых зим и лет, также как и запущенная борода могла слу-

жить обеденным меню прошедшей недели. При всем том это была внешность настоящего барина.

В Лугано он вставал в восемь часов и уходил на театральную площадь читать в кафе газеты, писать письма. В два часа пополудни уходил домой, в четыре ложился, бросался в одежде и сапогах на тощий тюфячок, покрывавший все те же козлы. К восьми вечера вставал и шел в гостиную, где Антония угощала чаем своих друзей. Вмешивался в разговор, раскрывал чары своего ума и очаровывал слушателей в течение всего вечера.

— Мишель, а ведь смерть страшна даже для тех, кто не верит в ад, не так ли?

— Смерть? Она мне улыбается, очень улыбается. Сегодня по дороге я выплюнул остаток последнего своего зуба... ха-ха-ха.

— Чему ж вы смеетесь?

— А тому, что еще одна частичка моего Я исчезла, — отвечал он с гордым и верховным презрением к смерти. — У меня была сестра. Умирая, она сказала мне: «Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться»... Неправда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?

— Вы продолжаете писать, но в революцию, скажите честно, Мишель, уже не верите?

— Пожалуй. Довольно с меня политики и революционных предприятий, я потерял вкус к ним, я достаточно стар, чтобы уйти в отставку. Вы видели революцию вблизи? Я видел. Это очень противно вблизи. В революции, скажу я вам, три четверти фантазии и только четверть действительности. Революция — род опьянения, но революционер должен быть трезвенником.

— Несмотря на вашу «отставку», Карл Маркс по-прежнему не оставляет вас в покое. Откуда такая вражда?

— Да пускай. Злостно преследуя и систематически клеветая на меня, эти господа меня обожествляют. Вы же знаете, как меня называют здесь, в Италии. То-то. Но я... какое дело мне. Я ищу мое прежнее «Я» с помощью тихого созерцания. И хотя Шеллинг велик по-прежнему, бытие бытийствует само по себе, и еще никто не перепрыгнул из логики в природу духа.

— Мой муж, — вставляла словечко Антония, — все тот же, что и был. Временами он принимает вид серьезного человека, но

остается неисправимым ребенком. Я уверена, что если новая стычка, бунт или восстание позовут его, он помчится, как на праздник.

— Нет, Антосенька, нет и нет, — отвечал Мишель. — Новое дело требует свежих молодых сил. Поэтому я и подал в отставку, не дожидаясь, чтобы какой-нибудь дерзкий Жиль-Блаз не сказал мне:» *Pas d'homelies, Monsieur!*» (Без поучений, сударь!) Я проведу остаток дней моих в созерцании. Не в праздном, а, напротив, умственно очень действенном. Одна из страстей, владеющих мною в данное время, это беспримерная любознательность. Раз вынужденный признать, что зло торжествует, и что я не в силах помешать ему, я принялся изучать его эволюцию с почти научной, совершенно объективной страстью. Какие актеры, какая сцена!

— Значит, вам теперь безразлично, что будет с нами, Бакунин, со всем человечеством?

— Бедное человечество! Совершенно очевидно, что выйти из этой клоаки оно сможет только с помощью колоссальной социальной революции. Одна надежда: всемирная война. Эти гигантские военные государства рано или поздно должны будут уничтожить и пожрать друг друга.

Он посмотрел на присутствующего тут же русского гостя по фамилии Зайцев. Тому пора было уезжать и он давно сидел, как на иголках, не решаясь прервать речь мэтра.

— Ах, милый, пойдем, пойдем, ведь тебе недосуг, ты спешишь.

Они прошли в другую комнату. Бакунин внимательно высчитал по путеводителю количество денег, необходимых для путешествия, и потребовал, чтобы Зайцев показал ему свои копейки.

— Ну, право, Михаил Александрович, мне неловко. Я остановлюсь в Богемии, там у меня есть приятель, у которого я смогу взять денег, сколько мне понадобится!

— Ну-ну, рассказывай, — возразил Бакунин.

Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, отворил и, сопя, отсчитал тридцать с лишним франков.

— Вот, теперь хватит.

— Хорошо, по приезде в Россию я вышлю непременно.

Но Бакунин сопел и, глядя на него, улыбался.

— Кому, мне вышлешь? Это я даю не свои деньги.

— Кому же их перечислить, в таком случае?

— Большой же ты собственник. Да отдай их на русские дела, если уже непременно хочешь отдать.

... После позднего ухода гостей Бакунин работал до рассвета, потом опять бросался на топчан до восьми утра, не снимая ни сапог, ни панталон из-за болей в почках, печени, сердце.

В начале лета 1876 года Антония с тремя детьми уехала в Неаполь к морю и к Гамбуцци. Бакунин, оставшись один, взялся было за дело. Конечно, ему хотелось «маленького Прямухино», память о возделанном рае которого грела его сердце всю жизнь. Вести из родного гнезда шли разные, ровесники понемногу уходили, умерла Татьяна, подросло новое поколение, мало говорившее сердцу. Но дом, но сад, пруды и аллеи, Осуга, природная и «поэтическая», сочиненная отцом... о, как понимал, почитал он сейчас своего отца, и по-прежнему мучительно, словно в одиннадцать лет, не принимал мать. Но прочь, прочь!

Фруктовые деревья уже стояли в рядок, зеленел кустарник, пышно цвели посаженные Антонией местные яркие цветы. В нескольких ямах по-прежнему жили лягушки. Упершись руками в толстые колени, Мишель с трудом наклонился посмотреть на пучеглазых квакушек, и вдруг чуть не свалился прямо к ним. Поскорей сделал шаг-другой в сторону и встал, расставив ноги для устойчивости.

— Michele! — к нему спешил итальянец-чернорабочий, единственный, оставшийся с ним.

— Да, милый, проводи меня в дом, что-то мне неможется.

Вечером они выехали из Лугано. Мишель направлялся в Берн, в клинику доктора Фогта, старинного своего друга.

Дорогой он молчал, не позволяя боли вынудить его на крик.

— Я приехал к тебе умирать, — объявил он Фогту.

Тот осмотрел и обслушал его, покачивая крупной лысой головой мыслителя от медицины.

— Прежде всего, друг мой, тебе нужно вести более упорядоченную жизнь.

— Ба! Я всегда жил беспорядочно, и про меня скажут, что в порядке умер. Маша. — обратился он к Марии Рейхель, которая вместе с мужем пришла его навестить, — Машенька, свари мне гречневой каши. Вот что мне сейчас хочется.

И Мария Каспаровна отправилась искать гречку по всему городу. Едва нашла, сварила по-русски, пышную, с маслом.

— Вот каша — другое дело. Спасибо, родная.

— Мишель, — сказал Рейхель, — мы приглашаем тебя к себе на чашку чая. Это недалеко, ты знаешь.

Ему трудно было сидеть, он стоял, прислонившись к железной печке, опершись на стол тяжелыми локтями, и слушал игру на фортепиано своего неизменного друга, точно в вечность вперивши туманный свой безжизненный взгляд.

— Все пройдет, мир погибнет, но Девятая Симфония останется... А ты играй, играй, мой милый, ты же знаешь, что перед вечностью все едино.

Прошло еще несколько дней. Бакунин умирал с полным сознанием самого себя. До самой кончины его беседы сохраняли юношескую живость.

— Мне уже ничего не нужно, моя песенка спета. Вот каша — это другое дело.

Умер он тихо, без притворства. За полчаса до смерти поговорил о чем-то с сиделкой, и едва она вышла, испустил дух.

Было очень жарко. Тело поторопились предать земле.

... Два могильщика стояли с заступами в руках и, воткнув их, переговаривались.

— Не часто приходится рыть такие глубокие могилы, но эта вышла так глубока, что в ней, кажется, может успокоится и великий бунтарь.

— В жизнь свою не видел такого большого гроба, — посмотрел другой на дроги с телом Бакунина.

— И устали же лошади на такой жаре, — сказал его товарищ. — А кто же за ними? Все коммунары?

Жена на похороны не успела. В истерике, с цветами, в трауре, она появилась потом. Через год она обвенчалась с Гамбуцци.

Зато у Фогта вышла неловкая заминка с необходимым протоколом о личности умершего. Полицейский никак не мог взять в толк, чем занимался усопший.

— Да вы мне лучше скажите, чем и как он зарабатывал свой хлеб?

— Сдается мне, — неуверенно произнес знаменитый профессор, — что он обладал виллой в итальянской Швейцарии.

Полисмен просиял и поспешно записал в свою книжку.

— Мишель Бакунин, рантье.

В Лугано весть пришла без всяких приготовлений.

— Michele e morto, — произнес кто-то в кафе, где по обыкновению, сидело немало народу.

И какое потрясающее впечатление произвели эти слова! Плакали не одни бакунисты, плакали швейцарцы, один кинулся на землю, бил ногами по полу, как ребенок, и плакал навзрыд. От этого дня осталось смутное впечатление катаклизма. Рушились какие-то великие надежды, личность Бакунина выросла до сверхъестественных размеров. Куда бы не размела жизнь тех, кто сидел тогда в комнате, у каждого билось сердце гордого, свобододлюбивого, независимого человека, ненавидевшего всякий род стадного рабства.

Вечный борец и протестант, Бакунин, кажется, действительно, воспринял в свою душу нечто от Аввакума, Разина и Пугачева.

Заключение

... Когда-то Герцен, размышляя о нечеловеческой энергии и широкой мечтательности молодого Бакунина, заметил, что тот, должно быть, далеко опередил свое время и что силы его остались не востребованными.

Но мы... мы промолчим.

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ ПОТОМСТВЕННОГО ДВОРЯНИНА, ПЕРВОГО РУССКОГО АНАРХИСТА МИХАИЛА БАКУНИНА

роман-биография 1

Оглавление

Пролог	2
Глава первая	18
Глава вторая	70
Глава третья.....	106
Глава четвертая.....	162
Глава пятая	201
Глава шестая	246
Глава седьмая.....	247
Заключение	291

АСТРА

«ИЗВЕРГ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА,
ИЛИ
ЖИЗНЬ ПОТОМСТВЕННОГО ДВОРЯНИНА,
ПЕРВОГО РУССКОГО АНАРХИСТА
МИХАИЛА БАКУНИНА»

роман-биография

Собрание сочинений в шести книгах

Книга третья

АСТРА. ИЗВЕРГ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ИЛИ ЖИЗНЬ ПОТОМСТВЕННОГО
ДВОРЯНИНА, ПЕРВОГО РУССКОГО АНАРХИСТА МИХАИЛА БАКУНИ-
НА — М.: «Издательство «БПП»», 2009.— 293 с.

ISBN 978-5-901746-07-3



©АСТРА, 2009

© Издательство «БПП», 2009